

Николай Брешко-Брешковский

Ремесло сатаны



Николай Брешко-Брешковский
Ремесло сатаны

«Public Domain»

1916

Брешко-Брешковский Н. Н.

Ремесло сатаны / Н. Н. Брешко-Брешковский — «Public Domain»,
1916

Острюжетный исторический роман «Ремесло сатаны» посвящен операциям русской разведки и международных разведывательных служб в годы, предшествующие первой мировой войне и во время войны.

© Брешко-Брешковский Н. Н., 1916

© Public Domain, 1916

Содержание

Часть первая	6
1. Загадочный аббат	6
2. Солдаты великой армии	10
3. «Институт красоты»	14
4. Беспокойный жилец	18
5. Аббат Манега не теряет времени	22
6. На берегах «Голубого Дуная»	26
7. Паутинка плетется	29
8. Австрийский посланник	32
9. У сербского престолонаследника	35
10. Исповедь загорского	39
11. Что предлагал Юнгшиллер	43
12. Дом свиданий	47
13. Первые подозрения	50
14. Грезы банкира	54
15. Перед грозой	58
16. Король Лузиньян	62
17. Бандит в болгарском мундире	66
18. Величие – где ты?	70
19. Высокопревосходительный сводник	74
20. Первые раскаты	78
21. В конторе мадам Альфонсин	82
22. Разлука	86
23. «Содержанка» банкира	90
24. Ошеломляющее открытие	94
25. Явился в полк	98
26. Первый крест	102
Часть вторая	105
1. В когтях аббата Манеги	105
2. Участие барона Хеллера	109
3. «Человек без костей»	113
4. Величавое и унижительное	117
5. Дима горский преуспевает	121
6. Западня	125
7. Вокруг «истребителей»	129
8. В последний момент	134
9. В баронском замке	138
10. Армянский крез	142
11. Анекдоты банкира и анекдотический сановник	145
12. Дорогому капиталу!..	149
13. Бегство	153
14. Она умерла...	156
15. Соперница	160
16. Женщина на букву «С»	164
17. За кардинальскую шапку	168
18. «Нови лицо»	172

19. Латышская Диана	176
20. Посрамленный Калиостро	180
21. Консул республики Никарагуа и его армия	183
22. «Ассириец»	188
Часть третья	191
1. В штабе дивизии	191
2. «Маскарад»	195
3. Положение становится серьезным	198
4. На приеме у сановника	201
5. «Профессиональный обольститель»	204
6. Носитель «Золотого руна»	207
7. Клуб миллионеров	210
8. Удар	213
9. Жена изменница и саркофаг Аписа	216
10. И там и здесь	220
11. Под дулом браунинга	223
12. Пленник старого замка	227
13. Все вместе	230
14. В «Марсельском банке»	234
15. Развенчанная «герцогиня»	238
16. Он уже здесь	241
17. Зачумленная	244
18. Кто такой Урош?	247
19. Наконец-то	250
20. С узлом на спине	252
21. В саркофаге Аписа	255
22. Суета сует	258
23. К новой жизни	261

Николай Брешко-Брешковский

Ремесло сатаны

Современный злободневный роман в трех частях

Часть первая

1. Загадочный аббат

Аббат Алоис Манега как-то вдруг, совсем неожиданно, появился на петербургском горизонте.

Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на невских берегах, желанный гость в «салонах». Его видят на Морской и Набережной. О нем говорят, и даже очень.

Он был едва ли не наиболее модным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина и – первое время, когда он был внове, – на гитариста Амичи.

Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный, обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать мятущиеся, обуреваемые сомнением души?

В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное...

Уметь молчать красноречиво это – своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве.

В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед, в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного «броска». Миг, и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался... Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ, вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие.

Дамы спрашивали:

– Монсеньор, – они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы, – но ведь, кажется, католические священники усов не носят? Не принято?

– У нас принято, – снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега.

«У нас» это значило – в Австрии.

Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкою, маленькие уши, плотно прижатые к черепу...

Зачем он приехал в Петербург?

Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления. Говорили другие. Вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком.

Приписывали ему какую-то секретную миссию. Его называли человеком, близким к ватиканским сферам. Утверждалось, что он – правая рука влиятельного князя церкви, кардинала Мерри-Дель-Валь.

Аббат Манега не разлучался с четками, янтарными, крупными. Такие четки носят мусульмане Ближнего Востока.

Аббат холеными белыми пальцами своими медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку «зерна».

Он гулял по городу в сопровождении своей «тени». Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегою, Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой – яркой, почти сказочной – под северным небом, среди шумной кипени Морской и Невского с их европейской толпой и зеркальными витринами...

Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер – громадный «кольт» и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла (юбочка) пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные, белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносими туфлями дополняли внешность аббатской «тени».

– Это он для рекламы привез с собой оперного албанца, – говорили относившиеся скептически к Манега.

– Это романтично и в этом есть «кашэ», – говорили дамы, заинтригованные Манегою.

Сам он объяснял так:

– Я два года был миссионером в Албании, проповедуя слово Божие среди мусульман. Этот Керим – один из «обращенных». Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик...

«Добрый католик» имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный. Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще, аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного, с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались.

Манега имел успех у дам. Определенный успех. Для женщины есть что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре.

Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе, – право, самая злая сплетня опускала в бессилии руки, невольно прикусив острый, ядовитый язычок.

Манега далек был от желания разыгрывать из себя оболстителя и донжуана в сутане, правда, сидевшей на нем, как хорошо пригнанный мундир кавалериста.

Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в девятом уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви.

Двухлетняя миссия в диких балканских горах и дебрях, миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, – потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, – была для него искусом, который он выдержал с честью.

Слушая его, дамы восклицали:

– Подвижник!.. Аскет!

Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в щегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках.

Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову.

К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку «синеокой Барб».

В самом деле, княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжной, хорошей древнетатарской породы. С материнской же – текла в ее жилах купеческая кровь. Покойный князь Дмитрий женитьбой на замоскворецких миллионах поправил свои по всем швам трещавшие дела.

От отца княжна Варвара наследовала тонко и тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными, трепещущими ноздрями. Руки – белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями-миндалинами – она тоже получила от отца. Все остальное: и рост, и волосы, пышные, густые, – все это было уже материнским благословением.

Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов – и завидных женихов – сватался угол непопчатый.

У себя на Фонтанке синеокая княжна Барб жила наездом, урывками, девять или десять месяцев в году скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги. Ездили на верблюдах, спали в пустыне, под звездами африканского неба, в шатрах. Сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов.

Но в Петербурге жизнь синеокой Барб была, как говорят, без сучка без задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя и, зная свою склонность к полноте, придерживалась темных, гладких платьев.

Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной среди китайских ваз, старинных картин в потускневших рамках и светлой людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходящими в головы грифов, княжна – в черном платье. Это скрадывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское.

В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом, зажигает теплые, трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами.

– Вы скоро уезжаете, аббат?

– Через две, самое позднее – три недели я должен быть в Риме.

– Должны?

– Меня зовут дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить... иначе...

– Иначе? – подхватила Барб.

Манега, спохватившись, закусил губы.

– Может что-нибудь случиться? – с тревогой спросила княжна.

Он улыбнулся. В оскале зубов, сверкающих, крупных, было что-то хищное. Скошенный лоб Манеги и плотно прижатые к черепу уши делали эту улыбку похожей на улыбку тигра.

Она вдруг погасла. Неподвижный и строгий, почти вдохновенный был Манега.

– Кто знает, как развернутся события? Никто не знает! Один только Бог. Но, во всяком случае, я советую спешить. И если вы, княжна, явитесь в Рим неделю спустя вслед за мною, вы скорее обрадуете его святейшество своим переходом на лоно католической церкви.

– Это было давно моей заветной мечтой... А теперь, благодаря вам...

Большие синие глаза смотрели на Манегу. В этом взгляде были и экстаз, и молитвенное обожание, и самая земная влюбленность к этому «кавалеристу» в черной траурной сутане.

Княжна вспыхнула румянцем. Вся горела. Затрепетали тонкие ноздри. Вздрагивая, поднимались и опускались темные веки. Тяжело дышать, как в душный день перед грозой.

Синеокая Барб стояла на коленях, ловила его руки. Аббат не отнимал их. Упала на ковер шпилька, другая. Распружинившись, волною, тяжелой и плотной, упали волосы...

Гибким кошачьим движением аббат схватил густую прядь этих волос и, скользя пальцами все выше и выше, стиснул их до боли у самого затылка и властно, со зверским выражением, притянул к себе голову княжны. На ресницах ее дрожали крупные слезы. Послушно приоткрылись губы. Другой рукой Манега взял белый полный подбородок и, надавливая ладонью горло, целовал княжну в губы, долго Целовал... Пока сам не оторвался. Княжна в каком-то истерическом забытьи опустила на ковер и, как Магдалина, закрыв волосами лицо, осталась неподвижной. И только чуть вздрагивали плечи.

Манега побледнел. Горели на щеках два алых пятна. И улыбнулся. Так улыбается, досыта полакомившись человечинной, тигр с окровавленной пастью и с капельками крови на седых «усах».

Манега вернулся к себе в «Семирамис»-отель, напоминающий мрачным фасадом своим гранитный замок.

Обеденное время. Сквозь стеклянные двери доносила тягучие, ноющие звуки румынских скрипок.

Международная толпа нарядным человеческим месивом наполняла обширный вестибюль.

Манега подошел к монументальному, «аршин проглотившему» блондину-портье, расшитому галунами. Аббата и человека с аккуратно подстриженной светлой бородкой в кепи с позументами разделял прилавок, покрытый стеклянной доской. Темные глаза Манеги встретились с холодными, светлыми глазами портье.

– Вы подниметесь ко мне, – тихо сказал по-немецки Алоис Манега.

– Слушаю, господин аббат, – так же тихо и так же по-немецки ответил портье, брезгливо отмахиваясь от лепетавшего ему что-то мальчика в красной рубашке и в шапочке с павлиньим пером.

Манега занимал дорогой номер из двух комнат с ванной. Стук в дверь. Вошел портье.

Хозяин и гость обменялись рукопожатием.

– Я в вашем распоряжении, господин аббат.

– Садитесь, ротмистр Гарднер. Садитесь, курите, вот сигары. Нам есть о чем поговорить. Адольф, главный портье «Семирамис»-отеля, опустился в кресло.

2. Солдаты великой армии

Откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги в лакированных туфельках, играя тупыми по моде кончиками из аббат молвил:

– Итак, дорогой ротмистр, вы, – нас никто, надеюсь, в подслушивает? – вы со своим паспортом гражданина свободной Гельвеции будете как за каменной стеной. Можно сказать наперед, как бы ни сложилось общее положение Швейцария останется нейтральной. Что же касается меня, в то время, как вы здесь будете нужны более, чем когда бы то ни было, я возьму на себя Рим. Вечный город обещает самом недалеком будущем сделаться интереснейшим политическим центром.

– Господин аббат говорит с такой уверенностью, словно события уже назрели.

– Натурально, милый ротмистр, события назрели! И еще как! Днем я был в посольствах и здесь, на Морской, и на Сергиевской. Люди, что называется, сидят на чемоданах...

– Странно, – задумчиво произнес ротмистр Гарднер, поглаживая светлую бороду свою, – никаких предупреждений, все тихо, мирно...

– Перед грозой всегда и солнце светит, и душно, и овладевает сонливостью, а потом вдруг все небо заволакивается тучами, сверкает молния, и... вы, надеюсь, понимаете, ротмистр, мое фигуральное сравнение?

– Понимаю, господин аббат. Я готов ко всему, я солдат моего императора и, что бы ни случилось, твердо буду стоять на своем посту. Сколько я вижу, слышу, сколько телеграмм проходит через мои руки! Здесь в этих галунах портье в вестибюле «Семирамиса» я принесу гораздо больше пользы своему отечеству, чем если бы командовал эскадрой и даже целым полком, при этом оказывая славные, доблестные подвиги. Я к вашим услугам, господин аббат, что вы хотели мне сказать?

– У вас хорошая память?

– Я вдвойне обладаю «профессиональной памятью». Вы могли убедиться.

– Отлично! По крайней мере, не надо записывать. Запись должна быть под черепом, – это самое надежное. Итак, во-первых, добудьте эту каналю Дегеррарди... Я приказываю немедленно же явиться ко мне. Два дня пропадает. Забулдыга, пьяница, бабник, но отличный агент, силен, каторжная совесть и невероятный наглец. Незаменим на маленькие дела. Я его немедленно командую в Сербию. Там, в Белграде, он поступит в распоряжение милейшего полковника Августа Кнора, щеголяющего такой же самой униформой, как и почтенный коллега его – ротмистр Гарднер. Затем дальше, вы имеете понятия о некоей мадам Карнац, директрисе, или просто содержательнице «института красоты»?

– Слышал. Где-то на Конюшенной?

– Наведите о мадам Карнац самые точные справки, – предложил аббат Гарднеру. – Она может быть нам очень полезна. Я не думаю, чтобы она являла собою закованную в броню добродетель. Содержательница института красоты это – что-то близкое содержательнице «института без Древних языков». В лучшем случае – отставная содержанка, в худшем – особа с весьма и весьма темным прошлым. Повторяю, эта особа необходима. У нее реставрируют свою увядающую молодость многие светские дамы, жены людей с видным положением. Кстати, узнайте, бывает ли там госпожа Лихолетьева? Затем у этой Карнац имеется сожигатель, субъект с внешностью типичного фокусника. Говорят, определенно уголовная фигура. Но своим ремеслом он защищен, как еж иглами или черепаха роговым панцирем. Этот шарлатан позирует на маленького современного Калиостро. Он возвращает пожилым и старым дамам не только вторую или третью, но даже первую молодость. Где-то за границей он постиг следующий секрет: препарируют кролика, берут какую-то пленку и свежую, теплую, влажную от крови натягивают, на дряблое морщинистое лицо. Как это делается технически, я не знаю, но, словом, в результате

кожа лица обновляется, как у девушки. Этой кроличьей пленки хватает на месяц. Затем – следующая операция в таком же роде.

В холодных, светлых глазах ротмистра Гарднера отразилось удивление.

– В первый раз слышу! Но это колоссально, господин аббат! Пирамидально. Однако неужели это правда?

– Правда! – скрепил Манега. – Этот шарлатан в большом фаворе у тех вельможных старушенций, которым он возвращает их первую молодость. Вы понимаете, такая интимность, такая постоянная зависимость от искусных пальцев господина с внешностью фокусника, – все это располагает к излишней откровенности. Человек ловкий, – а в ловкости этого проходимца я не сомневаюсь, – сумеет всегда выудить то, чего мы пожелаем. Войдите с этой достойной парочкой в соглашение. Заинтересуйте их материально. Вы доставите мне на самых ближайших днях точный список всех дам, пользующихся услугами «института красоты». Я знаю тем более, что там обдeldываются делишки, ничего общего с наведением красоты не имеющие, включительно до сводничества. Я не пожалею денег, пообещайте аванс. Если они пойдут навстречу нам, в чем я ни сколько не сомневаюсь, я выпишу предварительный чек на пару тысяч. Дальнейшая плата будет зависеть от их работы. «Институт» я поручаю всецело вам. Жду список и очень хотелось бы увидеть в нем имя Лихолетьевой.

– Есть, господин аббат! Все будет сделано, – коротко по-военному, дернул вниз головой ротмистр Гарднер. – Имеете еще что-нибудь приказать?

– Мой милый ротмистр, я ничего не приказываю, я советую, направляю, обращаю ваше внимание. Мы с вами солдаты великой армии германизма, и каждый из нас служит ей по-своему. Вы, вторым окончивший академию генерального штаба, служите в этой ливрее, ваш покорный слуга – в сутане аббата. А сколько еще переодеваний, маскарадов, которым позавидовал бы любой сыщик или трансформатор? Но я не задержу вас, вы сидите как на иголках, да и вправду, ваше отсутствие могут заметить. Как это странно: здесь вы со мной близкий, свой, без маски, а там, внизу – сотни болванов, ничего не подозревающих, распекают вас, тычут свои карточки, серебряную мелочь, требуют корреспонденцию. А ведь набегает, сознайтесь, помимо двойного жалованья, – из посольства и генерального штаба? Сколько еще наберется чаевых?

– В месяц рублей около трехсот, – произнес эту цифру с видимым удовольствием ротмистр Гарднер.

– Ну, вот, не буду вас задерживать. Последняя моя просьба, – дайте телефонный звонок Шацкому и барону Шене фон Шенгауз. Впрочем, нет, не надо... Этот барон с девичьей мордочкой сам забежит ко мне попозже. Столько дел, голова идет кругом, того и гляди все перепутаешь!

– А между тем память у господина аббата колоссальная, я убеждался в этом неоднократно. Помнить все, не записывая, так помнить! В особенности, принимая во внимание тот рассеянный светский образ жизни, который ведет здесь господин аббат...

– Ах, как все это надоело, Гарднер!.. Эти завтраки, обеды, вечера, ужины. Но в интересах дела необходимо везде бывать, все слышать и все видеть. На меня зовут гостей, как на заезжего шпагоглотателя. Пусть! Я смеюсь в душе. Но зато какой драгоценный материал собираю этак походя, случайно, как говорится, кончиком уха. Из этих цветных камешков составляется великолепная сложная мозаика.

Портье Адольф, швейцарский гражданин, оставил не без сожаления в пепельнице добрую половину ароматной сигары. Но не дымить же ею на весь коридор и в вестибюле! Портье должен знать свое место...

Гарднер вытянулся, щелкнул каблуками.

– Имею честь кланяться, господин аббат!

Он уже двинулся к дверям, но, вспомнив что-то, вынул из бокового кармана «униформы» несколько визитных карточек.

– Совсем забыл! Нес господину аббату сегодняшних визитеров и чуть не забыл. На редкость блестящие визитеры – графы, князья, камергеры и даже один министр.

Аббат, небрежно читая на карточках звучно-внушительные имена визитеров, отбрасывал их. Но вот наименее громкое из них, – стояло всего-навсего Михаил Григорьевич Айзенштадт, – привлекло его внимание. Он усмехнулся язвительно в свои надушенные кавалерийские усы. Задержал в пальцах карточку.

– Айзенштадт! Вы знаете этого гуся?

– Еще бы, господин аббат! Одни называют его крупным мошенником, другие – не менее крупным финансистом.

– Я думаю, он – то и другое в одинаковой степени. Но, во всяком случае, этот Айзенштадт жонглирует миллионами. Дней десять назад он устраивал в мою честь обед. После обеда, тонкого, с обилием хороших вин, с лакеями в гетрах и аксельбантах, – сам он, впрочем, был и остался «мовешкой», засовывая в глотку чуть ли не половину ножа и без умолку болтая с набитым пищею ртом, – он увел меня, вернее, утащил в свой кабинет и атаковал с места, прижав к письменному столу своим животом и обдавая не совсем приятным дыханием.

– Монсеньор, – они все здесь произвели меня в кардинала, – монсеньор, вы можете мне устроить, я знаю, что вы можете, титул папского графа? Графа двора его святейшества? Я мог бы внести на благотворительные дела Ватикана довольно крупную сумму.

– Что вы называете крупной суммой?

– Ну, триста тысяч рублей... рублей, не франков!

– Это уже солидный фундамент для монумента будущему графу двора его святейшества... Но какую вы исповедуете религию? – продолжал свой рассказ аббат.

– Православную.

– Православную? Это гораздо хуже! Его святейшество жалуется милостями своими исключительно католиков.

Мой Айзенштадт сделал кислую гримасу и в досаде начал рвать ногти.

– Ах, монсеньор, как вы меня огорчили, как вы меня огорчили! Но не могу же я принимать католичество?!

– Почему? В России объявлена свобода вероисповеданий.

– А я все-таки не могу. Во-первых, неудобно. Моя звезда разгорается. Меня уже знают в сферах. А затем... затем, я уже был католиком.

– Тем логичнее вернуться опять на лоно вашей первоначальной церкви.

– Увы, монсеньор, это не моя первоначальная религия. Я до католика был лютеранином. Не думайте, пожалуйста, что действовал из корысти. Я ломал свои убеждения с болью... Но неужели так-таки никакой надежды? А если я округлю пожертвование до полумиллиона? Лишних двести тысяч за право остаться тем, что я есть! И наконец, если нельзя получить графа, то нельзя ли маркиза или даже барона? Я помирился бы на худой конец на бароне.

– Трудно, господин Айзенштадт. Постараюсь, но ничего не обещаю. Трудно!.. Больше шансов получить звание камергера двора его святейшества.

– Хорошо! Давайте мне камергера. Давайте! – вцепился обеими руками в мою сутану маленький, взъерошенный финансист. Я думаю, у этого человека никогда нет времени привести в порядок свои волосы.

Я соображал, он же меня теребил, не давая покоя.

– А ваш мундир камергерский красив? Много золота? Много красного? Есть ключи? Главное, ключи!

Я успокоил его обилием золота, красного цвета и двумя ключами.

Он выписал чековую книжку.

– Аванс, монсеньор, получите аванс. Половина вперед. Он выписал чек на двести пятьдесят тысяч. Я думаю, что мне удастся одеть эту нелепую фигуру в камергерский мундир. Надо

будет только изобрести особые заслуги по отношению к святейшему престолу. Хотя... хотя без малого полтора миллиона франков, увеличивших казну Ватикана, – это уже сама по себе заслуга!.. До свидания, ротмистр, отыщите этого беспутного Дегеррарди.

Оставшись один, аббат, довольный итогами дня и в особенности «обращением» княжны Басакиной, обращением, на которое возлагал большие надежды, вытянулся с торжествующей улыбкой всем гибким и упругим телом, напоминая резвящегося хищника. И хищно скрючились в воздухе пальцы, словно хватая кого-то невидимого за горло.

Затем, позвонив лакею и потребовав обед к себе в номер, Манега сел писать деловое письмо. Завтра курьер австро-венгерского посольства едет в Вену. Вместе с дипломатической корреспонденцией он захватит и письмо аббата, письмо, которое ни в коем случае нельзя доверить почте.

Аббат успел пообедать, успел кончить и запечатать письмо. Успел выкурить сигару.

Кто-то стукнул в дверь дважды концом трости.

– Войдите, барон, – ответил, не глядя, Манега.

Барон Шене фон Шенгауз оказался молодым, бритым щеголем в лакированных ботинках с песочными гетрами и в монокле. Женоподобный, приторно улыбающийся, пахнувший чем-то пряным, слегка припудренный, он приблизился к аббату вихляющей, кокетливой походкой. И сначала поцеловал протянутую руку, а потом они поцеловались в губы.

3. «Институт красоты»

Мадам Альфонсин Карнац терпеть не могла шумные, кричащие вывески.

– Фи, это дурной тон! Вывеска привлекает внимание тех, кому она вовсе не интересна и, наоборот, может отпугнуть именно тех, кто нуждается в чудодейственной помощи мадам Карнац, в ее лаборатории красоты и вечной молодости.

Многих дам тянет на Конюшенную, в этот подъезд с черной стеклянной табличкой, на которой выведено белой эмалью: «Институт красоты».

Многих... Но в этих посещениях привкус чего-то, даже не объяснишь толком – чего, но, во всяком случае, чего-то немножко запретного, немножко стыдного.

И хотя дамы общества знают друг про друга, что каждая из них бывает у мадам Карнац, но при себе лично даже самые близкие приятельницы, делившие одних и тех же любовников, даже они боялись проговориться.

Самое болезненное место женщины – ее внешность. И конечно, прежде всего хочется: пусть думают все, что она хороша и свежа от Господа Бога, а не от ухищрений мадам Альфонсин и целого парфюмерного магазина косметиков!

Мадам Карнац, эта полная, кругленькая женщина с крашеными волосами, казавшаяся тридцативосьмилетней, несмотря на все пятьдесят, умела держать язык за зубами.

– Мой профессией обязывает меня держать чужой секре, я вроде священник, или доктор, или адвокат.

Напрасно некоторые, изнемогая, умирая от любопытства, доискивались у мадам Альфонсин, – бывает ли у нее та или другая дама?

– Ma très chère мадам Альфонсин, скажите: лечится у вас княгиня Олонецкая? Ну, что вам стоит? Ведь я же знаю, что да! Это вы ее снабдили резиновым корсетом-панцирем для сохранения талии? Говорят, она спит в нем, – это правда?

В ответ плутовская улыбка.

– Я ничего не знаю! Мои клиентки взяли с меня слово, я им давал ма пароль доннер, абсолютни тайна, и когда меня спрашивают, биваете ли ви у меня, мадам Таричеев, я отвечай то же самый.

– И прекрасно делаете! Боже сохрани проговориться.

– Алор... Я очень рада, что ви так говорит, очинь рада! Же сюи тре контант. Я буду всегда держать ваш секре и никогда не видам чужой!..

Особенно добивались у этой особы, дурно говорящей на всех языках, кроме немецкого, бывает ли у нее Лихолетьева...

– Мы знаем, отлично знаем, что ей за сорок. А на вид – не более тридцати. Сознайтесь, мадам Альфонсин, она «делает у вас лицо»?

Сквозь непроницаемость сфинкса полная, кругленькая женщина улыбкой и глазами говорила:

«Может, и бывает, а может, и нет, а только вы ничего от меня не узнаете».

На самом же деле мадам Карнац не имела удовольствия считать Лихолетьеву своей клиенткой, а между тем была бы очень, очень рада. Клиентка, хоть и не особенно родовитая, но с таким завидным положением, сразу дала бы «тон» всему заведению. Тем более такую, как Лихолетьева, не спрячешь. Стоит ей однажды появиться в «институте», хотя бы самым незаметным образом, тотчас же весть об этом разнесется в обществе. Духи, которые мадам Карнац продает за двенадцать рублей флакон вместо обычной семирублевой цены магазинов, Альфонсинка будет продавать за пятнадцать и дороже. И будут платить, сами же распуская под шумок, что Лихолетьева душиется именно этими самыми и покупает их исключительно у Альфонсинки.

Рабочий день начинался в «институте» с одиннадцати утра. Съезжались дамы, заранее по телефону выговорившие себе то или другое время. Входили торопливо, нервничая, если долго не отпирали дверь. Еще увидит кто-нибудь! Предпочиталась густая вуаль. Совсем, как если бы они шли в дом свиданий.

Квартира глубокая, и никто не знал, как далеко простираются комнаты и что в них, ибо никто – из непосвященных, по крайней мере, – дальше «конторы» и двух маленьких гостиных не проникал. В этих гостиных с мягкой будуарной мебелью и множеством драпировок, глушивших всякий звук, ожидали клиентки своей очереди.

Обладавшая несомненным стратегическим талантом Альфонсинка рассаживала так их, что они пребывали в единственном числе, нисколько не подозревая за соседней дверью не только знакомых, а даже близких подруг, от которых нет никаких тайн. Никаких, за исключением одного – визитов на Конюшенную.

Мадам Карнац на каждом шагу подчеркивала, что ее клиентки – исключительно дамы из общества.

– Я строго держу мой мезон. Сначала ко мне пробовали приходиться кокоты и содержанки, ле фам антретеню. У них много деньги, они предлагали хороши гонорар. Но я отказывала им пар принцип, я не хочу, чтобы на мой энститю говорили плехо. Я женщина воспитани, деликатни, я умею корректно отказать без оскорбления самолюбий.

«Институт красоты» заключался в большой, светлой комнате, почти без мебели. Вернее, это была «специальная» мебель. Раздвижные кресла для полулежачих поз и с механизмом, поддерживающим голову. Какие-то диковинные, сверкающие металлическими частями приборы для электрического массажа, паровых ванн и еще чего-то. Прямая, твердая, покрытая белоснежной простыней кушетка предназначалась для ручного массажа. Альфонсинка держала двух опытных массажисток, высоких и сильных, с льняными волосами девушек, уроженок Швеции. Массажистки довольно часто менялись.

С негодованием оскорбленной добродетели заявляла мадам Карнац своим клиенткам, что «Петербург есть сами развратни город». Стоит появиться хорошенькой женщине как на ее пути к честному труду встают всякие соблазны и в конце концов, она поступает на содержание.

Трудно сказать, где кончалась у мадам Карнац действительная польза, ею приносимая клиенткам, и где начиналась область уже настоящего шарлатанства. Большинство кремов и мазей, которые она по дорогой цене всучала и навязывала наиболее тароватым и ухаживающим за собою дамам, если и не приносили вреда коже, то и пользы от них не было никакой.

Самое ремесло Альфонсинки требовало бойкого «очковтирательства». Спрашивают ее: – Можно, чтобы у меня грудь уменьшилась или, наоборот, увеличилась?..

Ответ непременно должен быть утвердительным, иначе пропадет всякая вера в магическое всемогущество «института красоты».

И вот Альфонсинка, смотря по желанию пациентки, начинает «уменьшать» или «увеличивать» ее грудь с помощью неизменного массажа, или тех резиновых корсетов, что приписывались будуарной сплетней княгине Олонецкой.

Были в ходу гуттаперчевые маски для сохранения свежести лица. Пропитанные каким-то клейким веществом, надевались они как плотный растягивающийся бинт на все лицо, и самая красивая женщина превращалась в страшилище в коричневой маске.

Но какая же роль в этом заведении господина с внешностью фокусника, по словам аббата Манеги – «маленького, современного Калиостро»?

Это был маг и чародей. Это был жрец, знавший гораздо больше, чем Альфонсинка со своими скандинавского происхождения массажистками, вместе взятыми.

Этот курчавый, с пышными, как смоль черными бакенами брюнет в паспорте звался Седухом – имя, в высшей степени отзывающее экзотикою левантийских и греческих берегов.

Седух может быть фальшивомонетчиком, контрабандистом, пиратом, словом – человеком профессии, далеко не поощряемой судебно-полицейскими властями.

Попробуйте определить национальность человека, называющегося Седухом! Грек – не грек, левантинец – не левантинец, армянин – не армянин, турок – не турок, но, во всяком разе, несомненно что-то восточное и восточное с привкусом авантюризма.

Но какое кому дело, как кто прописан в участке? Эта «интимная» сторона вряд ли кого касается.

На визитных карточках и среди своих вельможных и влиятельных пациенток Седух значился Горацием Антонелли.

Синьор Горацио Антонелли.

Он говорил по-итальянски в такой же мере, как мадам Альфонсин – по-французски.

– Я долго жил на Востоке и успел основательно позабыть родной язык, – пояснял синьор Горацио тем, кто заговаривал с ним по-итальянски.

Аббат Манега получил о нем верные сведения. Синьор Горацио действительно оперировал – и удачно, отдать ему справедливость, – кроличьими пленками, покрывая дряблую морщинистую кожу тоненьким слоем молодой, свежей, которая в несколько дней срасталась совершенно с лицом. Это была мучительная операция. Синьор Горацио тончайшей золотой иглой пришивал к старой коже новую. Шов проходил вдоль всего лба у самых волос и, спускаясь к вискам мимо ушей, соединялся на нижней части подбородка.

Молодой кожи хватало на месяц, а затем – новая операция, новые швы и двое-трое безвыходных суток в лежачем положении в совершенно темной комнате...

Где, когда и у кого постиг синьор Антонелли свое чудодейственное искусство возвращать отжившим старухам молодость лица, – этого никто не знал. Сам же Антонелли, как истый авгур, не любил распространяться на эту тему.

Он преуспевал. Текло к нему золото пригоршнями, и чего же больше?..

Работать он мог бы отдельно от Альфонсинки, – тем более, что работа его производилась, ввиду ее сложности и длительности, на дому у клиенток, – но Горацио предпочитал общую фирму с мадам Карнац. Была ли у них общая постель? Вероятно, ибо и ссорились, и мирились, и попрекали они друг друга, как только могут это делать любовники.

У синьора Горацио, благодаря его исключительной профессии, завелись и побочные доходы. В этом проходимце, неизвестно откуда появившемся, заискивали элегантные чиновники, губернаторы, финансисты, банкиры. Через своих: сановных старух Антонелли проводил концессии, устраивал дела, выхлопывал чины, «декорации».

Это он наладил было совсем почти Айзенштадту действительного статского. Но если генеральский чин и прошел мимо самого носа шустрого и бойкого финансиста, – в этом виноват был сам Айзенштадт, скомпрометировавший себя в недобрый час, едва ли не за день до утверждения какой-то не совсем чистоплотной аферой. В крупном масштабе это называется аферой, в мелком же – просто мошенничеством.

Рабочий день кончился. Уже сумерками ушла последняя пациентка, болтливая барынька, унесшая рублей на семьдесят всякой всячины в матовых баночках, в граненых флаконах, в корбочках, в металлических трубочках.

Мадам Карнац и синьор Горацио обедали за круглыш столом. На пороге выросла гладко причесанная старая дева – конторщица. За сорок рублей в месяц она записывала клиенток, выдавала квитанции, вела все торговые книги «дома».

– Мадам Альфонсин, я могу уйти?

– Можете, можете, – наливая себе и жгучему бакенбардисту красного вина, ответила мадам Альфонсин.

Задрезжал с парадной звонок. Горничная впустила кого-то, вернулась.

– Прием кончился, кто там еще? – нахмурился брюнет.

– Какая-то дама спрашивает вас, барыня!..

– Вот еще, не дадут спокойно скушать обед! Просите контора.

Мадам Альфонсин в темно-коричневом бархатном платье шариком выкатилась в «контору». Перед нею была скромно одетая, вся в черном, пожилая некрасивая особа.

– Можно у вас записаться на завтра?

– Вам?

– Нет, не мне, – улыбнулась дама, показав довольно неискусные вставные зубы, – я пришла от госпожи Лихолетевой.

– О, конечно, конечно! – просияла Карнац. – Когда ее высокопревосходительству будет угодно, я всегда счастлив видеть у себя экселлянс. На который час?

– В половине двенадцатого они могут приехать.

– Я будить ждаль ровно польчаса двенадцатый.

4. Беспокойный жилец

С тех пор, как Дегеррарди-Кончаловский обосновался здесь, житья не было всем окружающим соседям. Да и не одним соседям. Он успел терроризировать не только «свой» коридор, но весть об этом легендарном жильце и отголоски его шумного поведения долетали в соседние этажи – вниз и вверх.

В гостинице, даже не первойклассной, такой субъект был бы немислим в «несокращенном виде». Ему предложили бы:

– Или ведите себя иначе, или с Богом – скатертью дорожка!..

Но в меблированных комнатах с их более скромной и терпеливой публикой – иные нравы. «Свободе личности» дается простор иногда прямо-таки неограниченный.

Возвращаясь глубокой ночью, – а возвращался он в это время сплошь да рядом, и к тому же еще не один, а в обществе какой-нибудь пестро одетой, нарумяненной особы, – он стучал немилосердно каблуками, напевая и насвистывая, что взбредется.

Валялся он у себя в постели до полудня, а то и позже. Иногда с вечера приказывал разбудить себя утром. Но не успевала горничная, согласно инструкциям, постучавшись, открыть дверь, как в нее, брошенный меткой и сильной рукою, летел сапог и, перекликаясь по всем закоулкам, кидая соседей в дрожь, несло зычное:

– Вон! Спать человеку не даешь, мерзавка!..

Он истреблял невероятное количество папирос. Прислуга то и дело должна была бегать в лавочку. И, Боже упаси, замешкаться!..

Этот жилец-бич звонил до тех пор, нажимая кнопку, не открываясь, наполняя все и вся длительным, бесконечным дребезжанием, пока не мчались к нему со всех ног горничные, коридорные, телефонный мальчик и даже разгоряченная плитою кухарка. Кухарка, потому что в меблированных комнатах желающие могли получать обед.

Раз на один из таких «бенефисов» явился управляющий конторою и начал довольно резко выговаривать беспокойному жильцу, грозя выселением.

В ответ – пара здоровенных лап, – одна украшена у запястья татуированным якорем, – сгребла дерзкого управляющего в охапку, и, еле вырвавшись из этих тисков, бедняга Ахиллесом быстроногим пустился через весь коридор, сквозь строй смятенных, боязливо жавшихся к порогам своих комнат жильцов.

А вслед ему несло:

– Каналья, мазурик! Я тебя научу, как делать замечания порядочным людям! С шушерой привык иметь дело! В двадцать четыре часа закрою тебе твой клоповник!

Это магическое на Руси «в двадцать четыре часа» произвело соответственное впечатление.

Управляющий – многосемейный отставной канцелярский служитель сиротского суда или мещанской управы, во всяком случае, одного из этих архаических учреждений – махнул рукою.

– Бог с ним! Пускай делает что хочет. Пускай бегут жильцы! Искалечит еще, поди, на старости лет! И кто его знает, может быть, и впрямь сила! Коли так грозит, значит, в своем полном праве.

Управляющий конторою преисполнился к обидчику своему тихой, затаенной ненавистью. Бессильной ненавистью маленького человека. Он раскрывал домовую книгу, читал и не верил глазам.

– Штурман дальнего плавания! Только и всего?! Неужели? Птичка-невеличка, а вот подите ж...

И бедняга в мешковатом, старомодном сюртуке, с плохо выбритой, застарелой канцелярской физиономией ломал свою немудреную голову, доискиваясь, не скрывается ли за этим «штурманом дальнего плавания» какой-нибудь «подвох»?..

Вообще, голова эта многого не могла вместить. В самом деле, штурман дальнего плавания, а держит себя, ну, как, по крайней мере, генерал-губернатор. А 59-й номер черным по белому прописан, уж чего яснее: «Галеацо да Лузиньян, король Иерусалимский и Кипрский». Сомнений никаких. Документы в порядке, все честь честью. Король! Все его королевство – десять шагов длины и восемь ширины. Да и за это платит не совсем аккуратно. Хочешь не хочешь, напоминать приходится. Король! А соблюдает себя тихо и мирно. Никогда от него никаких неприятностей...

Да, жизнь какая, прости Господи, такая неразбериха на каждом шагу – ногу сломаешь...

«Гроза» коридора и соседних этажей, потому что он заглядывал и вверх и вниз в чайной пикантных знакомств и встреч, именовалась Генрихом Альбертовичем Дегеррарди. Когда-то он был действительно штурманом дальнего плавания. Маленький якорь на левой руке – неизгладимое клеймо былой скитальческой профессии. Но от нее теперь ничего не осталось. Ничего, кроме твердой, очень твердой поступи вразвалку, именно такой, словно Генрих Альбертович всегда и везде чувствует под собой качающуюся зыбкую палубу тех пароходов, которые украшал в былое время своей блистательной особой.

Дегеррарди франтил. Щегольство дешевого, дурного тона. Яркие галстуки, клетчатые костюмы. Цилиндр, сдвинутый залихватски набекрень.

И внешность – яркая до неприличия! Естественный румянец алой густотой своей походил на грим. Да и все лицо казалось тщательно загримированным. Буйные, растрепанные усища казались наклеенными. Густая шапка темных волос, ни дать ни взять – парик с пробором посередине. Глаза – карие, наглые, казались чужими, фальшивыми, взятыми напрокат с другого лица.

Поздним утром, выкурив в постели десяток-другой папирос и выпив стакан крепкого чая, Генрих Альбертович уходил на весь день. Возвращался поздно, а то и совсем не возвращался.

Он имел успех среди женщин, для которых любовь – уличное ремесло. Он приводил их. Они сами являлись к нему по утрам, когда он валялся на кровати. В этих случаях горничные и коридорные, кроме папирос, таскали еще и пиво из портерной, находившейся внизу, в этом же самом доме.

Из мужчин частым посетителем Генриха Альбертовича был худой, с костистым лицом, безусый и безбородый блондин в форме болгарского кавалериста с погонами подпоручика. Назывался он Шацким. Этот Шацкий немилосердно бряцал по лестнице длинным палашом в металлических ножнах. На темно-голубой груди поношенного мундира – парочка боевых болгарских орденов.

Молодой человек без определенных занятий, Шацкий поехал на первую балканскую войну добровольцем. Говорили, что во время осады Адрианополя Шацкий пьянствовал, играл не совсем чисто в карты и генерал Иванов хотел его выслать.

А сам Шацкий, вернувшись, говорил другое. По его словам, он принимал деятельное участие в боях, в кавалерийских разведках. Вошел в Адрианополь первым вместе с эскадронам полковника Марколева, и в результате – чин болгарского подпоручика и два ордена. Генерал Иванов собственноручно перед фронтом полка украсил ими грудь отважного русского добровольца.

Улыбаясь, Шацкий напоминал вытянутый обглоданный череп. Длинные зубы, криво тесня друг друга, беспорядочно гнездились в бледных и вялых деснах золотушного молодого человека.

Шацкий, подобно Генриху Альбертовичу, являл столь же странной, сколь же подозрительной особой своей такую же беззаботную фигуру. Ни службы, ни дела, ни хоть бы тени, по

крайней мере, видимых занятий каких-нибудь... А, между тем и тот и другой были всегда при деньгах, чуть ли не ежедневно оставляя десятки рублей в трактирах и шантанах.

Дегеррарди, убедившись, что здесь, в этих комнатах, ему сам черт не брат, распоясался окончательно. С папиросой в зубах, руки в карманах, слонялся он по своим и чужим коридорам, устраивая форменную облаву на тех женщин, которые имели счастье или несчастье пригляднуться ему...

Так называемых «веселых барышень» было немного. Преобладали труженицы, холостячки, служившие в конторах, банках, ломбардах, крупных магазинах.

Ко всем Генрих Альбертович применял один и тот же шаблонный метод, в духе штабных писарей-сердцеедов.

– Сударыня, вы очаровательны! Вы покорили меня своими глазами. Можно к вам зайти на чашку чая?

С веселыми девицами без предрассудков легче было столкнуться. Но у порядочных женщин ему не везло. Разухабистый вид этого яркого, «загримированного» молодца отпугивал даже тех, которые не избегают случайных встреч, если мужчина приятен и внушает доверие. Одни, молча, с каменным лицом спешили пройти мимо Генриха Альбертовича, другие посылали ему «дурака» и «нахала», третьи грозились пожаловаться управляющему и даже полиции.

Но с него – как с гуся вода. Этот человек не боялся полиции. По крайней мере, его видели дружески беседующим у подъезда с местным околоточным и помощником пристава.

Особенно приглянулась Генриху Альбертовичу стройная барышня с богатейшим узлом светло-пепельных волос и серо-голубыми, «васильковыми» глазами. Во всем – в манере одеваться, скромно, почти бедно и в то же время с хорошо воспитанным вкусом, в какой-то неуловимой строгости хрупкого, изящного облика, в мелочах, в умении носить голову, в красивой узкой ручке – угадывалась девушка, знавшая другие времена и случайно попавшая в эти комнаты. В том, как она говорила с прислугой и как, в свою очередь, прислуга отвечала ей, чувствовалось дворянское дитя хорошего общества, с самых ранних лет возвращенное гувернантками.

И фамилию девушка носила, записанную в бархатную книгу. Был один из Забугиных сокольничим при Василии Темном. А Вера Забугина, оставшись круглой сиротой, да фце грабительски обобранная тем, кто был ближе всех ей – родной сестрой Анной, – служит в технической конторе за пятьдесят рублей в месяц, живет в меблированных комнатах на Вознесенском, и такая каналья, прошедшая огонь и воду, и медные трубы, как Генрих Альбертович, не дает ей проходу.

Он подстерегает ее в коридоре, на улице, дежурит у подъезда, норовя перехватить ее в пять часов после службы.

Это преследование отравляло существование девушке. Она пожаловалась Загорскому. Дмитрий Владимирович Загорский жил в этих самых комнатах. Он знаком был раньше с Верой Клавдиевной. Они встречались в обществе. Она только что вернулась в Петербург из Парижа, где воспитывалась в монастыре «Sacré-Coeur», а он был гвардейским кавалеристом, жившим широко и блестяще. Его звали в свете «великолепным Горским», – сокращенное от Загорский.

И вот, не прошло и четырех лет, они встретились в длинном казарменном коридоре меблированных комнат «Северное сияние».

Оставшаяся позади катастрофа наложила на Загорского отпечаток. Немного постарел, немного осунулся, в углах рта появились скорбные складки. Высокий и бритый, с легкой, подвижной, спортсменской фигурой, недавний гвардеец все же был еще интересен. Он умел носить штатское, как носят немногие мужчины. Сохранил былую, немного надменную уверенность в себе и, по уцелевшей привычке, так непринужденно владел моноклем – на зависть любому дипломату.

Выслушав девушку, в голосе которой дрожали слезы обиды и гнева, он спокойно молвил с учтивым поклоном:

– Вера Клавдиевна, это животное больше не будет к вам приставать.

Он объяснился с Дегеррарди. «Объяснение» было короткое, на площадке лестницы.

– Послушайте, вы, – обратился Загорский к Генриху Альбертовичу своим грассирующим баритоном, – если вы посмеете преследовать мою знакомую, оскорбить ее словом или даже взглядом – я разделаюсь с вами по-своему.

– Хотел бы я знать... – начал хорохориться Дегеррарди, покручивая ус.

– Я вас пристрелю! Так и знайте!

И, круто повернувшись, Загорский оставил Дегеррарди в состоянии редкого для этого наглеца обалдения.

Генрих Альбертович сразу почувствовал, что это не пустая угроза. Надо было видеть лицо Загорского. Штурман дальнего плавания сделался по отношению к Вере Клавдиевне тише воды ниже травы, да и вообще присмирел.

5. Аббат Манега не теряет времени

– Хотите чаю, барон?..

– Мерси, дорогой аббат, я ничего не хочу, ничего... – томно потягиваясь и откидываясь на спинку дивана, жеманно, усталым голосом тянул барон. – Хотя... пожалуй, выпил бы стакан теплого, кипяченого молока... это полезно для горла... Это смягчает...

Аббат нажал кнопку.

– Вы получите ваше молоко, барон. В ящике сигары, – курите. Впрочем, вы, кажется, не курите?

– Да, я не курю, – поводя головой, словно охорашиваясь у воображаемого зеркала, ответил Шене фон Шенгауз, – курить это – грубо. И потом пахнет от тебя табаком. Я люблю, когда пахнет от мужчин, в этом есть сила, есть пол! Но от меня самого – не хочу, не хочу! – с капризной гримасой отмахивался барон обеими руками, холеными, женственными, в перстнях.

Явился итальянец лакей, ответил почтительно-одобрительным кивком на слова Манеги, по-итальянски заказавшего принести стакан теплого кипяченого молока, и вышел так же бесшумно и чинно, как и явился.

– Что нового? – спросил аббат.

– Ничего. Сегодня обедал у Корчагиных. Большой открытый дом, хорошо кормят, но, кажется, я перестану бывать. Чересчур смешанное общество, люди моего круга и тут же какие-то полупочтенные... Бог их знает, кто и что... Какой-то певец, какой-то земский начальник... Вообразите, господин аббат, я с ужасом наблюдал, как он ест... Неопрятная борода. Вообще... Нет, я стою твердо за кастовое начало. Каста – прежде всего.

– Были интересные люди, интересные разговоры?

– Ничуть! Говорили какие-то глупости. Корчагины уже на отлете... Даже мебель в чехлах. Собираются на курорты. Сам Корчагин едет полоскать свой желудок в Карлсбад. Его жена – в Гамбург. Что-то скучно на немецких курортах... Я сам немец с головы до ног по крови, убеждениям и симпатиям, но не люблю наших курортов. Я люблю солнце, юг... Забраться куда-нибудь в Сорренто. Смуглые, стройные, гибкие мальчишки. Знаете, господин аббат, мы собирались – это было на Капри, в одной пещере, на берегу моря. Искусственный грот, сооруженный Артуром Круппом. И вот мы возродили античность, да, да, античность!.. Свет луны, факелы, вино... Мы изображали сатиров, у каждого были такие меховые панталоны, и мы гонялись за юными вакхами... Прелестные мальчишки в леопардовых шкурах, на головах венки... Надо уметь развлекаться, создавать новые формы... Ах, милый аббат, сколько воспоминаний!.. Как было весело... Бритое, припудренное личико растянулось в улыбку, и веселящийся молодой человек провел языком по губам, искусно тронутым кармином. Сверкнули белые, влажные зубы...

Манега не слышал. Он думал другое. Он спросил:

– Много русских отправится к нам в Австрию и Германию на курорты?

– Как?.. Да... Да... Много, очень много, – не сразу ответил вспугнутый, удивленный неожиданным вопросом барон. – Десятки тысяч, а может быть, и больше.

Дрогнули усы аббата. В глазах что-то вспыхнуло и погасло.

– Что говорят у вас в департаменте?

– Мой приятель граф Эберлинг получил назначение на Балканы первым секретарем миссии... Да, Бирючев... Ах, этот Бирючев... Какие он сегодня смешные анекдоты рассказывал! Вообще, он комик, такой милый буффон. Когда был назначен Сребдольский министром, этот... ведь вы знаете он дружил с покойным Эренталем, он никогда не расстаётся с моноклем, чуть ли не спит с ним. Когда его назначили, этот Бирючев бегал по департаменту, вставив серебряный полтинник в глаз... Это было адски забавно!..

Аббат строго посмотрел на барона, и тот невольно съезжился под этим властным приказывающим, взглядом.

– Барон, вы только что сказали, что вы немец с ног до головы! Недостаточно одних слов, необходимы дела, факты, поступки... Если вы узнаете что-нибудь интересное и полезное для серединных империй, вы должны сообщить либо мне, пока я здесь, либо тем, кого я вам укажу. В политике нет ни большого, ни малого, в политике все важно. Вы обещаете?

– Естественно, обещаю. Разве можно отказать вам в чем-нибудь, милый аббат? И наконец, я так высоко ценю императора Вильгельма. В таком случае... да, вспомнил... Я никакого значения не придавал, но теперь, после ваших слов... Может быть, это интересно? Сегодня обедал у Корчагиных один чудак... Фамилия довольно плебейская – Корещенко. Из купцов, миллионер, одевается, как сапожник. По профессии, кажется, инженер, инженер-дилетант. Учился в Нанси и еще где-то. Он работает, – он рассказывал, – над какими-то новыми «истребителями». Это – лодки, понимаете, лодки необыкновенной скорости. Там пушки и еще что-то... Говорил, что от его «истребителей» не спасется ни одна субмарина. И там есть радиотелеграф...

Аббат укоризненно покачал головой.

– Барон, вы – ходячее легкомыслие. Вы вспомнили какого-то дурака, неумеющего есть, и забыли сказать об истребителях. Как фамилия этого миллионера?

– Корещенко.

– Довольно! Все остальное я узнаю сам. А вот и ваше молоко.

Барон Шене фон Шенгауз выпил «свое» молоко, посидел еще минут пять и, каким-то изнемогающим голосом жалуясь на усталость, поспешил откланяться, поцеловав у Манеги руку.

Видимо, это было взаимное удовольствие. Аббат не спешил отдернуть свою руку, а молодой человек усердно скользил губами по суставам отменно вымытых, надушенных пальцев...

Аббат долго писал после ухода своего гостя.

Утром, аббат еще сидел в ванне, ворвался с громким стуком Генрих Альбертович Дегергарди. Манега, свежий и бодрый, вышел к нему в мохнатом купальном халате.

– Господин аббат, имею честь явиться! По вашему приказанию я чуть свет был поднят на ноги...

– Вы все тот же? Вламываетесь, как лошадь. Где вы пропадаете?..

– Каюсь, господин аббат. Дела романического свойства...

– У вас нет чувства меры. Вас все тянет в грязь. Почему вы живете в каких-то меблированных комнатах, когда могли бы жить в приличной гостинице?..

– Там я себя гораздо свободнее чувствую. В гостинице, например, нельзя, во-первых, приводить женщин, а во-вторых...

– Я не желаю знать никаких ваших «во-вторых». Сообщаю к вашему сведению, что вы на днях едете в Сербию.

– Так скоро! А я думал здесь пробыть...

– Не думайте! Роскошь думать за вас предоставьте другим. Ваше дело – повиноваться. Даю вам поручение, которое надо исполнить сегодня же. Запишите фамилию: Корещенко. Узнайте о нем все подробности, вкусы, привычки, образ жизни. Он занят работой над какими-то новыми истребителями. Узнайте, на каком заводе, как и что? В зависимости от ваших сведений будем действовать. Я вызову к себе инженера Неймана, велю ему проникнуть, буде это удастся, в технический секрет господина Корещенко. На вас же нельзя положиться, хотя вы и бывший моряк.

– Господин аббат прав. Я по технической части слабоват. Перезабыл, да и никогда не был силен. Вот по части баб – здесь я профессор...

Манега поморщился.

– Так и несет от вас каким-то грязным кабачком внешне приличным.

– Господин аббат, требуйте с каждого человека не больше того, что он может дать. Я воспитывался не в аристократическом колледже...

– При чем здесь воспитание? Нужен такт, а его у вас нет. А будь он – вы пошли бы значительно дальше с вашей энергией и с вашим нахальством.

– Господин аббат упорно не желает признавать мои таланты.

– У вас нет наблюдательности, нет хорошо воспитанной памяти. И то и другое необходимо в вашем ремесле. Вот пока мне принесут кофе, я вам сделаю маленький экзамен. Сколько времени вы живете в ваших меблированных комнатах?

– Два с половиной месяца.

– Время большое. Успели вы присмотреться к соседним жильцам и выделить среди общей массы тех, кто действительно чем-нибудь выделяется?

– Господин аббат, я не пропустил ни одной смазливенькой мордочки...

Манега, скрестив руки, остановился перед Генрихом Альбертовичем.

– Послушайте, ваше хамство не имеет границ! Или вы перемените свой тон, или я вышвырну вас! Велю позвать моего албанца Керима, и он спустит вас с лестницы... Но тогда уже будет поздно. Тогда вы уже навсегда влипнете в трущобную грязь, откуда вас вытянула графиня Пэкано...

Дегеррарди струсил. Сквозь свой естественный «грим» побледнел.

– Господин аббат, я очень извиняюсь. Я действительно большая скотина, болван и дурак! Вы извольте спрашивать меня, я буду отвечать серьезно, без всякого балагана. Во-первых, там у нас живет король Кипрский.

– Что такое? – гневно сдвинул брови Манега. – Вы опять начинаете паясничать?

– Честное слово, господин аббат, клянусь вам всем для меня святым, – говорю правду! Собственными глазами видел в домовоей книге: «Галеацо ди Лузиньян, король Иерусалимский и Кипрский».

– Вы его видели?

– Как вас, господин аббат. Этаким высокий, величавый старик, только ножки у него пошаливают. Подагра, что ли. Видимо, пожил на своем веку и немало хороших вин...

– Это возможно, – согласился Манега, – насколько я припоминаю историю Кипра, сначала там была византийская династия Комненов, а с 1191 года по 1489 – Лузиньянская. Затем сместили ее турки. Но по международному соглашению Лузиньяны, утратив свое право на трон, именовались, однако же, королями и титул переходил к старшему в роде.

– Господин аббат, у вас феноменальная память! – с искренним изумлением вырвалось у Дегеррарди. Так помнить все цифры, даты – ведь это же... это же черт знает что!..

– Этот Галеацо Лузиньян – последний в роде, – продолжал Манега, обращаясь больше к себе, чем к собеседнику, – я слышал о нем и читал. В Париже во время третьей империи он блистал в придворных кругах, считаясь одним из красивейших мужчин в Европе. А теперь – злая ирония судьбы – нищета, меблированные комнаты. Это ужасно! И тем ужасней, что это настоящее «королевское величество». Дегеррарди, вы мне покажете Лузиньяна, короля Иерусалимского и Кипрского. Почему знать, он может пригодиться. Если... если не поспешит уйти на тот свет. Как на вид, еще крепок?

– На вид, – ничего, только ножки пошаливают, как я уже имел честь докладывать господину аббату.

Помолчав, Манега спросил:

– А еще?

– Еще, по-моему, любопытный тип, – некий Загорский. У меня чуть не вышло с ним столкновение из-за одной хорошенькой... извиняюсь, господин аббат, извиняюсь, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Этот самый Загорский служил в гвардии, в одном из самых

дорогих полков, но случилась одна темная история, – вы, вероятно, помните нашумевший процесс о наследственных миллионах князя Обнинского?

– Помню. Сравнительно еще недавно! Этим процессом сильно интересовались при дворе его святейшества. И фамилию припоминаю: этот Загорский был одним из главных претендентов. Открылась подложность завещания. Загорского судили, и теперь он – лишенный прав. Что он делает?

– Служит, господин аббат. Получает рублей триста в месяц в каком-то частном банке, где, благодаря знанию иностранных языков, ведет заграничную корреспонденцию.

– Если не ошибаюсь, он даже окончил академию генерального штаба? Мне говорил о нем кардинал Сфорца. На этого Загорского надо обратить особенное внимание. Его охотно приняли бы в австрийскую армию. Несомненно, этот человек преисполнен горечи и злобы к тем кругам, в которых он сверкал. Они его вышвырнули, отвернулись, и, по-моему, это весьма благоприятная почва для «перекидного мостика». Как русский офицер и к тому же еще образованный, даровитый, много знающий, он был бы весьма и весьма полезен своими сведениями нашему генеральному штабу. Об этом надо подумать. Я не задерживаю вас, Дегеррарди... Ступайте и займитесь Корещенкой. Кстати, отыщите внизу Керима, а если его нет внизу, он в своей комнате. Комнаты для прислуги, – шестой этаж в самый конец. Пусть явится ко мне.

– Будет исполнено, господин аббат.

Дегеррарди мялся на месте.

– Вы не уходите?..

– Господин аббат, нельзя ли маленькое вспомоществование, я поиздержался.

– Сколько?

– Рублей пятьдесят... можно?

– Вы широко живете. Вы и так забрали вперед жалованье. Обратитесь к портье Адольфу, он вам выдаст пятьдесят рублей. Но чтобы впредь этих «авансов» не было!

– Последний раз, господин аббат, честное слово...

6. На берегах «Голубого Дуная»

Старый, колесный с выцветшей, облупившейся окраской пароход бегал через Дунай от сербского Белграда к венгерскому Землину. Землин – это по сербохорватски, у венгерцев и швабов он – Земун.

Желтый и мутный – (венцы зовут его голубым почему-то) – быстротечный Дунай раскинулся здесь широко, очень широко, словно желая как только можно дальше разобщить обе такие враждебные друг другу страны. Громадную «лоскутную», разноязычную монархию Габсбургов – с маленькой, сильной своим единством славянской Сербией.

Ах, эта Сербия! Такая крохотная, такая гордая, колючая, она всегда ошетиливается, как только делали хоть малейшую попытку дотянуться к ней жадные, клейкие щупальцы гигантского мозаичного австро-венгерского спрута.

Покинувши низкий плоский берег тихого, чистенького Землина, пароход пересекал Дунай по направлению к Белграду. Вот она раскинулась на крутом холме, сербская престольница! Сверкают под майским солнцем золоченые шлемы церквей. Хаотическим амфитеатром спускаются к берегу дома и лачуги. Длинное здание таможни. Бритый, плечистый пассажир в легоньком пальто «клош» и с желтым чемоданом в руке узнал таможню и темный закопченный вокзал. Он не был здесь около трех лет. С начала первой балканской войны не был.

Переменились времена. В то время «безработный», голодным, щелкающим зубами волком скитался он по грязным «кафанам», и две-три кэбабчаты (рубленое мясо в форме тоненьких сосисок, прожаренное на углях), стоившие пятнадцать сантимов, были для него лукулловским пиршеством. А теперь, – теперь он одет с иголочки, сыт и пьян, бумажник его набит банковыми билетами, а кошелек – новеньким золотом с профилем императора Франца-Иосифа. Есть и двадцатифранковики с галльским «петухом» и даже русские монеты в пять и десять рублей.

Он был самым «элегантным» пассажиром на палубе. Кругом – все простой люд: рабочие, женщины, ездившие в Землин кто покупать, кто продавать, матросы с выжженными солнцем грубыми обветренными лицами. Слышалась сербская речь вперемешку с венгерской и немецкой. Певучий, тоже сербский говор крепких светловолосых хорватов...

Ближе и ближе берег. Направо – металлическим белым, висящим в воздухе кружевом перекинулся над Саввою железнодорожный мост. Влево – вплотную к самому крутому берегу, мощными липами своими в цвету, – доносится ветром их сладкий, медвяный аромат, – подошел городской сад Калэмагден. Еще левее – массивными стенами, башнями, казематами и бастионами раскинулась древняя крепость. Такая древняя, что помнила дунайские легионы римлян. А потом ею много веков владели сначала венгерцы, затем и турки, и всего лишь сорок с чем-то лет развеивается над нею трехцветный сербский флаг.

Бритый господин в сером клоше и такой же серой каскетке первым сошел на берег, встретив на пути своем полицейского чиновника в синем мундире со жгутами на плечах и в синей фуражке с малиновым околышем. Ему надо предъявить паспорт. Чиновник медленно прочел вслух:

- Дворянин Виктор Иванович Кончаловский.
- С Петрограда путешествуете (едете)? – спросил малиновый околыш, приветливо улыбаясь.
- Из Петрограда за Београд, – ответил по-сербски господин, по паспорту Кончаловский.
- Какое ваше занятие (занятие)?
- Руски дописник (журналист).

Этим кончились все формальности вступления русского журналиста на сербскую территорию. Сев тут же на пристани в извозчиный экипаж, Виктор Иванович Кончаловский прика-

зал везти себя в гостиницу «Москва» – лучший в городе «хотел», большое четырехэтажное здание в стиле модерн, красующееся в самом центре Белграда на улице князя Михаила.

В светлом, ярко залитом солнцем вестибюле сидел за своей конторкою, углубившись в чтение газеты, в новеньком ливрейном сюртуке и в кепи, обшитом галуном, портье, главный портье Симо Радонич. Такой солидный портье – по-сербски «портир», – хоть сейчас в любой первоклассный европейский отель. Все на нем с иголочки, блестят пуговицы, галуны, сверкает ослепительно воротничок. Отливающий синевою подбородок чисто-начисто выбрит. Черные, густые, короткие баки сообщают благообразному лицу что-то бюрократическое и в то же время военное. По крайней мере, именно такие баки с пробритым подбородком носили австрийские офицеры в восьмидесятых годах и раньше, «гримируясь» под своего императора.

Симо Радонич вот уже четвертый год занимал должность главного портье в отеле «Москва». Приехал он из Австрии с паспортом загребского хорвата. Приехал и благодаря знанию иностранных языков и протекции тогдашнего австро-венгерского посланника Форгача устроился в «Москве» записывать приезжающих в книгу постояльцев заведовать корреспонденцией, объясняться с публикою и визитерами, словом, делать все, что полагается делать хорошему портье хорошего «дома».

Кроме Симо Радонича, важно углубленного в газету, никого не было в вестибюле, если не считать дремавшего в углу мальчика шассера в куцей с тремя рядами круглых маленьких пуговиц курточке. Зазвенела стеклянная дверь. Шассер бросился отнимать у Кончаловского желтый чемодан. Портье не спеша поднял свои темные, острые глаза.

– Есть свободная комната? Да только получше.

Портье бросил косой взгляд на черную доску, испещренную густыми рядами фамилий. Кое-где были только просветы.

– Сорок девятый свободен, третий этаж, шесть динаров.

– Великолепно, шесть динаров – плевое дело! А вас, портье, зовут Радонич?

– Да, это я, – согласился портье. – А как вас, господин, записать?

– Моя фамилия Кончаловский.

Радонич и приезжий смотрели друг на друга. В глазах и в лице портье отразилась мелькнувшей тенью какая-то непередаваемая игра, – и снова это был бесстрастный, отлично вышколенный слуга хорошего «дома».

– Соболаговолите, господин, подняться. К вашим услугам лифт, а через минуту я сам поднимусь взглянуть, удобно ли вам? И если нет, я переведу вас в тридцать четвертый, этажом всего-навсего ниже и одним динаром только дороже.

– В обратной пропорции, – усмехнулся Кончаловский, – валяйте, валяйте! Ну, малый, живо тащи меня наверх. Одна здесь нога, другая там!..

Номер оказался просторной квадратной комнатой с мебелью в новом стиле, сплошь в светлых тонах. Балкон выходил на Савву и железнодорожный мост. Там, за рекою, убегал беспредельный луговой равниною венгерский берег. Глаз тонул Бог знает в каких далях! Кончаловский решил, что за комнату, да еще и с таким живописным видом в придачу – шесть франков дешевле грибов.

Не снимая пальто, он закурил папиросу. Мальчик шассер поставил на раздвижные «козлы» чемодан и ушел. Вслед за ним горничная, молодая чешка, вся в темном, в белом чепце, явилась со свежими полотенцами, тяжелым кувшином с водой и тоже ушла. Кончаловский, подмигнув ей вслед, остался один. Весь бритый, даже с выбритой головой, он, однако, не походил ни на актера, ни на дипломата – плечистый, оумяный, с нагло-вызывающим взглядом больших карих глаз.

Стук. Не дожидаясь ответа, вошел портье. Он плотно закрыл за собой дверь и первый протянул Кончаловскому руку:

– Я очень рад вас видеть, господин Дегеррарди, – молвил он осторожным шепотом.

– Взаимно, господин полковник. Вот я приехал и весь в вашем распоряжении!..

– Да, я уже придумал для вас кое-что. Но как вы изменились, как вы изменились! Положительно с трудом узнал вас. Куда девались эти пышные черные волосы, эти буйные, чересчур буйные усы? Но это хорошо, что вы оголились. Во-первых, если даже меня взяло сомнение, то уж наверное вас никто не узнает из тех, кто имел бы основание помнить. Тем более, признаться, вы не оставили по себе здесь особенно приятных воспоминаний... А во-вторых, так гораздо приличней, корректней, у вас была слишком яркая, беспокойная «маска». Она больше к лицу забубённому штурману, скандалисту портовых кабачков.

– Скандалисту, а не журналисту, – подхватил Дегеррарди, именуя себя Кончаловским. – Хотя, надо вам сказать, господин полковник, я с большим сожалением сбрил свои усы – мою красу и гордость.

– Да, журналист должен быть человеком интернациональной складки. Кстати, какой русской газеты корреспондентом решили вы назваться?

– От московского «Русского слова».

– Недурно, пусть будет так. И тем удобней, что в данное время представителя «Русского слова» нет не только в Белграде, но и во всей Сербии. Однако мы продолжим нашу беседу не здесь. Вечерами я хожу гулять после обеда на Калэмагден. Там есть одинокая скамеечка у самого обрыва. Оттуда чудесная панорама на Дунай и Земун. Ровно в девять вечера я буду вас ждать у этой скамеечки. До скорого свидания.

– Чудесно, а до вечера я постараюсь убить время, приволокнусь на улице за какой-нибудь этакой черноокой сербкой.

– Господин Дегеррарди, вы приехали сюда не убивать время, а извлекать из него возможно большую пользу для дела! – наставительно заметил портье. – Я вам рекомендую привести себя в порядок и, облачившись в визитку, сходить в австро-венгерскую миссию – это на Крунской улице, и представиться посланнику барону Гизлю. Я скажу по телефону ему. Он вас немедленно примет.

– А что я должен ему сказать?

– Ничего! Будет говорить он, а вы будете слушать внимательно. Наверное, поинтересуется вашими петроградскими впечатлениями. Расскажите барону про аббата Манегу. Итак, до вечера...

– До вечера, господин полковник.

Портье ушел, а Дегеррарди-Кончаловский, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», занялся своим туалетом.

Спустя минут сорок в визитке и мягкой фетровой шляпе он спустился вниз. Портье, окинув его критическим взором, одобрительно молча кивнул головой.

7. Паутинка плетется

И вот он опять в Белграде!

Очутившись на улице, Кончаловский еще раз сопоставил свое пребывание в сербской столице – тогда, во время войны – с теперешним. Была суровая, дьявольски холодная осень. Лил неделями дождь. Белград заволакивался влажным, как пар, туманом. Зуб на зуб не попадая, он, Генрих Альбертович Дегеррарди, шеголял без пальто в собачьем лаем подбитой легонькой штурманской куртке. Было трудно и дорого жить. Во всем, решительно во всем чувствовалось неимоверное напряжение маленькой страны, бросившей самое существование свое на карту во имя освободительного, кровавого поединка с турками, что из века в век угнетали косовских и македонских сербов.

А теперь ослепительно сияет горячее майское солнце. Белград и вся страна отдыхают после трех победных героических войн. Отдыхают в мирной, созидательной работе.

Вот шагает в ногу, мощно отбивая такт, батальон пехоты в походном снаряжении, совершивший учебную прогулку в Топчидер. В серых «капах» (мягких головных уборах) и таких же серых мундирах, с винтовками, молодые, рослые, как на подбор, четко шагают вардарцы. Это сербы, призванные под знамена короля Петра из недавно освобожденных македонских округов. Одушевлением горят их лица... Звонко несется дружная хоровая песня о том, как они вызволят своих босно-герцеговинских братьев из-под швабской неволи. Поют солдаты, поют офицеры, поет великан тамбурмажор, выступающий с булавой впереди всей колонны.

– А ведь черти, ей-Богу, черти! – похвалил Кончаловский вардарцев.

Рядом с «Москвою» – табачный магазин. Зашел, купил гаванскую сигару, в целый динар. Закурил, любезничая с хорошенькой, смуглой продавщицей, вгоняя ее в краску забористыми, отдающими набережной экзотического порта комплиментами.

К этому барону Гизлю он успеет. Крунская улица в двух шагах. Надо пошататься, выкурить сигару... Вот витрина придворного фотографа. Глядит через стекло король Петр, бритый, седоусый, в круглой барашковой шапке с султаном. Его сыновья, престолонаследник Александр и королевич Георгий. Величавый старец с окладистой бородою премьер-министр Пашич. Вот и сам Пашич, – легок на помине; возвращается из министерства в тяжелом громоздком экипаже. Горожане любят своего дядю Николу и низко ему кланяются. В ответ Пашич приподнимает свой старосветский цилиндр. Что-то глубоко демократическое, патриархальное в этом обмене приветствий между народом и главой правительства. Чувствуется нерушимая взаимно доверчивая связь. Да как и не быть ей?... Он, Пашич, такой же сын простого селяка-земледельца, как и все сербы. Сам хлебнул горя не мало. На ногах сохранились еще следы кандалов, в которые он, брошенный при Милане в клоповник-тюрьму, был закован. А все потому, что был противником австрофильской политики своего короля, видя будущее Сербии только в тесном единении с Великой Россией...

Вот и к девяти часам время подходит. Дегеррарди успел побывать у барона Гизля, успел вздремнуть часок-другой, пообедать на открытом воздухе, в пивнице «Руски царь» и пешком, дымя сигарой, уже сумерками держал свой путь на Калэмегдан.

В душистых аллеях слышен в густом полумраке говор гуляющей публики. Двигутся группами, парами. Сидят на скамейках. Юноши в синих мундирах и красных штанах спешат на трамвай, чтоб успеть к себе в Топчидер – в военную школу.

Ближе к берегу – веет прохладой. Вокруг деревянного киоска сидят за столиками офицеры, штатские, дамы, пьют кофе, прохлаждаются мороженым. Кончаловский, миновав киоск, направляется к выдвинувшемуся мыску. Здесь никого нет, пустынно. Силуэт одинокой фигуры на скамейке. Пальто, черный котелок. Это портье Симо Радонич, он же полковник австрийского генерального штаба Август Кнор.

Любуется, а может быть, и не любуется волшебной панорамой. Внизу разметалась широкая гладь Дуная. Свистят, мелькая цветными огоньками, пароходы. Насунился дремлющий островок с блокаузом венгерских «финансов» (пограничной стражи). А на том берегу – весь в трепетных огнях – Землин. В туманной дымке тает бегущая равниной до самых Карпат Австро-Венгрия, для «блага» которой полковник Август Кнор уже четыре года не снимает своей лакейской одежды.

– Это вы?

– Я! Жду вас около пяти минут. Садитесь! Лучший способ, чтобы вас не подслушали, говорить на открытом месте. Были вы у барона Гизля?

– Был, минут двадцать пять продержал. А ведь роскошно живет, каналья!

– Господин Дегеррарди, вы продолжаете оставаться все тем же *mauvais sujet*, каким я знал вас. Пора оставить и прежний тон, и прежние манеры, иначе вы навредите и самому себе, и делу, которому служите. Разве можно так говорить о дипломатическом представителе, посланнике великой державы?

– Но ведь я только вам сказал, я же не повторю этого при чужих, – оправдывался Дегеррарди, как школьник.

– Все равно. Даже наедине с самим собой надо корректировать каждый свой шаг. Это дисциплина, школа...

– Ну хорошо, хорошо, не буду больше!

Невольно умолкли под впечатлением покоя, тишины и необъятного величественного простора. Гудела пароходная сирена, доносился откуда-то собачий лай, по мосту гроыхал мчащийся поезд, мелькая освещенными окнами.

А дали, глубокие, задунайские, бегущие к горизонту, манили тонуций в их глубине взгляд...

Полковник снял шляпу, коснулся ладонью напомаженного пробора, закурил папиросу и молвил:

– Завтра вы возьмете вечерний поезд. Цель вашей поездки – курорт Врнячке-Банье, где отдыхает в настоящее время престолонаследник Александр. До Крушеваца без пересадки, а оттуда идет узкоколейная ветвь. Потом три километра на лошадях, и вы – на курорте. Познакомьтесь с личным секретарем принца господином Еленичем и попросите, чтоб он вас представил его высочеству, как сотрудника одной из влиятельнейших русских газет. Королевич скромн, избегает интервьюеров, но я думаю, что для вас он, пожалуй, сделает исключение. Он воспитывался в Петербурге, в Пажеском корпусе, и все связанное с Россией ему близко и дорого. Эта русофильская политика Карагеоргиевичей и навлекла на них справедливый гнев Австрии. Увы, это не Обреновичи! С теми нам было куда лучше столкнуться.

– Он говорит по-русски?

– Нелепый вопрос! Ведь не по-немецки же преподают в Пажеском корпусе!

– Да, но мог забыть.

– Слушайте, не перебивая: потому-то я выбрал вас, чтоб вы могли говорить с ним по-русски. Вы скажете, что приехали со специальной миссией интервьюировать его. Удастся или не удастся интервью – это неважно. Главное вот: прикинувшись горячо симпатизирующим южным славянам, начните разговор на тему, что через две-три недели, мол, предстоят генеральные маневры в Боснии под верховным руководством эрцгерцога Франца-Фердинанда. Вы же беретесь организовать покушение на эрцгерцога, зная его ненависть к сербам, и только спрашиваете благословения королевича на этот «акт». Поняли?

– Понял-то я понял отлично, а только он меня выгонит вон вместе с моим предложением.

– Этим, вероятно, и кончится. Что ж, пусть он вас выгонит.

– Вам хорошо говорить, а мое самолюбие?

– Самолюбие свое спрячете в карман, господин Дегеррарди. Подумаешь! Человек, получающий такой гонорар, как вы, должен обладать резиновым носом, способным выдерживать какие угодно щелчки! Мне в данном случае важно скомпрометировать наследника сербского престола... – Август Кнор осмотрелся, понизив голос до чуть уловимого шепота. – Судьба эрцгерцога бесповоротно решена уже в Берлине и Будапеште. И вот когда «это» случится, австрийские газеты поднимут громовой, негодующий шум, обвиняя во всем Сербию и Карагеоргиевичей. И тогда-то мы напечатаем повсюду статьи, что русский, именно русский корреспондент предлагал королевичу организовать покушение и это было встречено благосклонно...

– Позвольте! Ведь будут опровержения?

– Будут! Но мы настолько подготовим общественное мнение в Австрии и в Германии, что опровержениям никто не поверит, а если и найдутся скептики, они из патриотизма сделают вид, что не верят. Мне нужен самый факт посещения вами курорта, где имеет в данный момент пребывание Александр. Теперь поняли?

– Теперь понял! Это, черт побери, занятная штука! На всю Европу скандал. Честное слово, такой скандалище!

И субъект, который, по мнению Кнора, должен обладать резиновым носом, усмехнулся, потирая большие, сильные, красные руки...

– Вы неисправимый буффон, Дегеррарди! На все смотрите с точки зрения буффонады. Политика вещь серьезная, и с нею нельзя особенно фамильярничать. Предупреждаю, возьмите себя в руки и там на курорте постарайтесь держаться возможно приличнее и корректнее, а то, чего доброго, вместо того, чтобы скомпрометировать королевича, вы скомпрометируете сами себя с первых же слов. И он говорить не захочет с вами.

– Не бойтесь, господин полковник, лицом в грязь не ударю! В случае необходимости я умею держать фасон. Как-никак я бывший министр полиции Албанского княжества.

– Будем надеяться! А теперь, бывший министр, – проваливайте, я хочу побыть один...

Дегеррарди ушел. Кнор, закулив новую папиросу, глядел туда через Дунай, где горел синими, красными и желтыми огоньками Землин. Австрийский полковник размышлял о будущем, самом недалеком будущем... Пройдет месяц-другой, и как-то развернутся события? Во всяком случае, уже наверно он, Август Кнор, не будет наслаждаться теплым летним вечером, сидя на этой скамеечке...

«Мы накануне великих событий», – подумал австриец, именно этими словами подумал.

Было тихо, совсем тихо. Вставал над рекою молочный туман.

8. Австрийский посланник

Август Кнор весьма часто бывал у своего друга барона Гизля в австро-венгерском посольстве. Для этих визитов, опасливых и с осторожной оглядкой, – не заметил бы кто, – он предпочитал сумерки. Незаменимое время. Одетый в штатское, проскальзывал он вечерами на Крунскую улицу и, убедившись, что никто не следит за ним, спешил юркнуть в подъезд.

Сегодня, проделав то же самое, Август Крон очутился с глазу на глаз с бароном Гизлем в его большом и мрачном, таком внушительном кабинете. На окнах плотно спущены глухие шторы, и с улицы не заподозрит никто, в голову не придет никому, что кабинет освещен.

На стенах висели арматуры восточного оружия – шлемы, ятаганы, кривые сабли, мушкетеры в насечках с длинными стволами. Гизль начинал свою дипломатическую карьеру в Константинополе, откуда и вывез всю эту экзотику, покрытую ржавчиной, пылью веков, и на этом основании еще более дорожую, понятную любительскому глазу.

Сам Гизль был человеком в высшей степени мирный, глубоко штатский. Он никогда не охотился и вряд ли приходилось ему стрелять, в цель хотя бы. Но кто знал близко этого пухлого, румяного дипломата с мягкой, вкрадчивой жестикуляцией и какой-то обволакивающей собеседника манерой говорить, смотреть, улыбаться, тот не сомневался, что барон Гизль, при своем далеко невоинственном облике, являет собой весьма и весьма опасного противника. Когда его темные иезуитские глаза начинали бегать, – а бегали они как-то особенно, словно рысь, мечущаяся в клетке, – его собеседнику, даже обладателю крепких нервов, становилось жутко.

Барон Гизль, подобно предшественнику своему по Белграду Форгачу, типичный австрийский дипломат меттерниховской школы, давшей целый ряд поколений чиновников министерства иностранных дел. Словно сфабрикованные по одному и тому же раз и навсегда утвержденному образцу, лишённые всяких принципов, неряшливые морально, эти господа не брезговали ничем, только б все пускаемые в ход средства способствовали одному – укреплению габсбургской короны, шатающейся на голом черепе Франца-Иосифа.

Провокация, шпионаж, похищение важных бумаг, фабрикация фальшивых документов и, когда надо, убийство, чужими, конечно, руками, – все это пускалось в ход, только б результаты получились благоприятные, только б ослабить Россию, ту же затянуть петлю над подъярменными славянами да проглотить и уничтожить ненавистную Сербию.

На диване с высокой спинкою, в полумраке, дымя, сигарами, полулежали барон Гизль и полковник Август Кнор.

– Ну что, мой дорогой, не надоела ли еще вам ваша ливрея? – коснулся барон мягкой ладонью ноги своего собеседника.

И хотя они были друзья-приятели, сообщники самые тесные, и прикосновение это было, вне всяких сомнений, благожелательное, однако же Кнор ощутил какую-то странную неловкость. Словно рука Гизля оставила свой след – влипчивый, неприятный, физически неприятный...

– Эта ливрея, – мечтательно произнес Кнор, – сколько ценных сведений получил благодаря ее милости ваш покорный слуга! Сколько телеграмм и писем прошло сквозь мои руки, сколько интересных вещей я подслушал, прикинув ухом к замочной скважине номера, где два или три болтуна чувствовали себя в полной недосыгаемости. Ах, эта ливрея... Потом я сохранию ее как воспоминание, как реликвию... Четыре года вечно притворяться, носить маску и в конце концов играть лакейскую роль, – это чего-нибудь да стоит! А риск? Тебя ежеминутно могут выследить, схватить, бросить в клоповник. Это не то, что вы, бронированный своей экстерриториальностью. Вам любая проказа сойдет с рук, потому, что над вашим домом развевается имперский флаг.

– Скоро этот флаг будет спущен, – загадочно молвил барон.

– И флаг будет спущен, и вы уедете, а я останусь. Я последним уйду со своего поста.
– Итак, боснийские маневры будут, – продолжал Кнор, – могилой для наследного эрцгерцога... Нельзя так бравировать, нельзя так попирать священные традиции Габсбургского дома.
– Слишком вооружил он против себя венские придворные круги. Впрочем, и не только венские.

– Да, его терпеть не могут, – подхватил Кнор.

– Еще бы! Одна мысль, что какая-то ничтожная чешка, подумаешь, Хотек!.. взойдет на престол Габсбургов, на престол священной Римской империи, – одна эта мысль кидает всех и в жар, и в холод. Надо сразу покончить с этим вопросом, теперь или никогда.

– Конечно, теперь. Налажен весь механизм, уже завербованы два юных серба – Гаврилович и Принцип. К сожалению, наши австрийские, не из королевства. Им внушили, что они должны пожертвовать собой во имя великосербской идеи. Но вы представляете себе, милый барон, как мы скомпрометируем Сербию? Все шестьдесят пять миллионов австро-венгерского народа поднимут вопль, потребуют от армии, чтобы она стерла с лица земли эту дерзкую революционную Сербию. Какие перспективы!

– Какие перспективы! – повторил Гизль. – Россия не даст на растерзание Сербию, – война с Россией! Наша славная конница через шесть недель с момента перехода границы будет поить своих лошадей в Днепре, затем Киев и двинется дальше. А в это время союзники наши, германцы, займут Петербург, Москву и отбросят к Уралу, а может быть, и за самый Урал полчища этих варваров. Скажите, разве это не будет величественно?

– Ого, это уже чистейший романтизм! – воскликнул полковник.

– Ничуть, мой друг, это простой логический вывод. Русская армия дезорганизована, не имеет мощной артиллерии и, – это самое главное, – по нашим агентурным сведениям, – настроена революционно... Однако не будем гадать о будущем, хотя бы самом недалеком, а вернемся к настоящему. Вы послали этого наглеца к Александру?

– Вчера уехал. Маленький королевич может и не принять его, но для нас важен факт посещения сербского престолонаследника русским, именно – русским корреспондентом. На этой канве наша печать сумеет вышить какие угодно великолепные узоры. В Будапеште и Вене у меня будет мобилизовано несколько бойких перьев, я дам сигнал, и они, как хищные птицы, накинутся как на Сербию, так и на самый королевский дом.

– Последнее важнее всего, – скрепил Гизль. – Эти Карагеоргиевичи надоели нам со своей русофильской политикой! Довольно, пора их смести! Надо основательно забрызгать их той кровью, которая будет пролита... Чтоб никогда не отмывлись. Намеки, инсинуации... Можно будет вспомнить судьбу Обреновичей, Александра и Драги. Словом... Что вы хотите сказать, мой дорогой полковник?

– Я хочу спросить, барон, как нам в дальнейшем использовать эту каналю Дегеррарди.

– Он когда вернется?

– Завтра.

– Немедленно же надо будет командировать его назад, в Россию. Необходимо, чтобы он устроил инспекторский объезд наших колонистов в Люблинской и Волынской губерниях. Вообще мы теперь особенно нуждаемся в опытных и ловких агентах. Нет ли у вас еще когонибудь на, примете?

– Предлагает свои услуги Милорад Райцевич.

Гизль поморщился.

– Прохвост!

– А чего же вы хотите, господин посланник? Агентов с кристальными душами не существует в природе. И на кой вам черт агенты с кристальными душами?

– Вы правы, но репутация у этого проходимца кроата очень уж скандальная, каждый серб считает его темной тварью.

– Но в России, например, он будет очень полезен. Русские легковверны. Он прикинется сербом и станет играть на славянских симпатиях. Но вот что, барон, у него есть брат Милослав Райцевич, две капли воды королевич Георгий. И вот именно это самое разительное сходство дало моей фантазии толчок в смысле некоторых весьма остроумных комбинаций.

– Разве такое сходство? – оживился Гизль, опять коснувшись мягкой ладонью колена своего собеседника и опять вызвав этим у Кнора физически неприятное ощущение.

– Вылитый двойник! Близнецы, да и только. Но вот вам наглядная иллюстрация. Это было года четыре назад, как только я приехал в Белград. Георгий, тогда еще престолонаследник, проходил курс унтер-офицерской школы. А в военном училище в Топчидере был на старшем курсе этот же самый Милослав Райцевич. Это – моих рук дело, я выписал его из Загреба, он прикинулся беглецом, приговоренным к тюрьме за свои великосербские идеи, был принят с распростертыми объятиями и зачислен в военное училище. Через него я все время был в курсе образа мыслей как учеников, так и преподавателей. После аннексии Боснии и Герцеговины настроение военной партии в Сербии особенно интересовало меня. Этот самый Райцевич был лентяй и лодырь. И вот он выдумал прокатиться в Обреновац. Приезжает. Городишко всполошился. Еще бы, наследник престола инкогнито пожаловал. Все власти встретили его с почетом, закатали ему парадный обед. Он принял это как должное и тарелками уплетал дунайскую икру.

– Это прелестно, это прелестно! – тоненьким смешком заливался барон Гизль. – Совсем как в оперетке. Чем же кончилась эта буффонада?

– Кончилась полнейшим фиаско. Я не могу в точности сказать, как это вышло, но уже к концу обеда подлог обнаружился, и свергнутый с пьедестала двойник королевича Георгия был выгнан с позором. Ему таки порядком наколотили шею.

– Этот субъект пригодится нам.

– Я же вам говорю, тем более, что с годами сходство нисколько не уменьшилось...

Однако, ого, уже одиннадцатый час, мне пора.

– Вас никто не видел?

– Никто.

– Смотрите же. Напоследок рекомендую особенную осторожность.

– Да, напоследок, потому что дни наши здесь, в этом грязном сербском захолустье, в особенности ваши, барон, – сочтены... До свидания...

– До свидания, полковник.

Кнор ушел так же крадучись, как и пришел. Пуста и тиха была Крунская улица.

9. У сербского престолонаследника

Этот живописный уголок называли «Сербской Тосканой». Город местоположением своим в котловине напоминал Флоренцию. А кругом пологими скатами зеленых лесистых волн подступали невысокие, но и не малые горы. Солнце играло на них мягкими переливами, то и дело меняя очертания и цвет. Густыми толпами дубов и буков покрыты эти горы от самого чела до подножия.

Шоссейные и проселочные дороги шли меж тучных лугов и полей, и хотя май лишь только начинался, уже полным, тяжелеющим колосом наливалась высокая, пышная сербская пшеница.

На курорте с его двумя-тремя улицами, скромными «хотелами» и пансионатами в лучшей части парка, на двухэтажной вилле, поднимавшейся на пригорке, – называлась она вилла «Агнеса», – жил сербский престолонаследник, Александр. Жил тихо, скромно, и только рослые, щеголеватые солдаты королевской гвардии в зеленых с белыми шнурами венгерках и медвежьих шапках, посменно дежурившие у железной калитки, напоминали, что виллу «Агнесу» занимает будущий монарх Сербии.

Семь часов, а солнце уже высоко поднялось и брызнуло снопом красно-золотистых лучей в спальню королевича, и зажглась радугою бриллиантовая корона плоского золотого портсигара, лежавшего на маленьком ночном столике. Александр без пенсне казался еще моложе своих двадцати четырех лет.

Он быстро вскочил упругим движением человека, не любящего долго нежиться в постели, и на цыпочках, ступая босыми ногами по навощенным доскам пола, распахнул окно. Ярче хлынул поток лучей утреннего солнца, наполняя комнату сладким, густым ароматом цветущих лип и акаций. Благоухают каштаны в своем белом подвенечном убранстве, а там, далеко за парком, среди простора и воли, – синеют горы. Свои, такие родные и близкие горы любимой Сербии...

Бритый, степенный Божо в серой куртке вошел с громадным тяжелым кувшином, как лед, холодной ключевой воды. Через десять минут готов был весь туалет, и Александр, с влажными черными волосами, в светло-кофейном пехотном мундире с полковничьими погонами, с медалью Милоша Обидича, которую повесил ему на грудь отец за Кумановскую победу, занялся утренней почтой. Газеты – сербские, русские, французские, казенные пакеты. В первую голову – простые письма бедных людей на серой и грубой бумаге в таких же конвертах, заадресованные рукою, привычной больше к тяжелой работе, чем к писанию. Это – просьбы о денежной и всякой иной помощи тем, кого недавняя балканская война сделала несчастными, осиротевшими.

На каждом письме Александр отмечал синим карандашом: «Выдать столько-то, назначить ежегодную пенсию, определить детей на мой счет в школу»... Все эти письма он заклеил в один большой конверт, надписав: «Еленичу для исполнения».

К восьми часам утра в парке уже началась жизнь. Офицеры и солдаты с бледно-восковыми лицами, изнуренные длительными тяжелыми ранами, прогуливались медленно по усыпаным гравием дорожкам, выпив целебной воды, возвращающей здоровье и силы.

У павильона собралось несколько деревенских сельяков, морщинистых, крепких, в овчинных безрукавках шерстью наружу и в высоких бараньих шапках. Они сами явились и сыновей привели посмотреть на «своего королевича» Александра, отвоевавшего им Старую Сербию и Македонию.

Вот он появился, королевич, вместе со своим адъютантом, высоким и плотным усатым майором.

Селяки, подталкивая вперед сыновей, сняли свои теплые шапки. Александр обошел их, каждого обласкал приветливым словом. И вышло это у него естественно, просто, без всякого битья на популярность. Александр не «сниходил» к ним, как, например, Фердинанд Кобургский, что, презирая своих болгар, как грязных скотов, белой выхоленной рукой в дорогих перстнях брал на базарной площади «тютюн» из мужицкой табачницы. Он совал мужику золотой, а потом брезгливо обтирал свою руку одеколоном...

Совсем другое – Александр. Он чувствовал живую, тесную связь с этими селяками из под Крушеваца, Сталача, Ужицы. Он – правнук славного Карагеоргия, вышедшего из их же среды. Счастье этих селяков – было его собственным счастьем.

Из аллеи показался секретарь Еленич, в котелке и сером пальто.

– Ваше высочество, приехал корреспондент одной большой русской газеты.

– Здесь я отдыхаю... Но раз это русский корреспондент, я не могу его не принять. Где он?

– В парке. Ждет вашего ответа.

– Представьте мне его во время прогулки.

Еленич двинулся в глубину парка, где на скамейке, в тени могучего каштана поджидал его бритый, самодовольный Генрих Альбертович Дегеррарди.

Дегеррарди, явившийся на курорт Врнячке-Банье под личиной корреспондента большой московской газеты Кончаловского интервьюировать сербского престолонаследника, был далеко не новым лицом на Балканах. Да и вообще трепало и носило его по белу свету настоящим «перекати-поле».

Сын итальянца из Южного Тироля и австриячки из Вены, он родился в Одессе. Там протекло его детство, там окончил он мореходные классы штурманов дальнего плавания.

Так началась его карьера. Он кочевал из одного пароходного общества в другое. То сопровождая гигантские грузовики Добровольного флота на Дальний Восток, то щеголяя в белой парусине на палубе комфортабельного пассажирского парохода, бегающего из Одессы в Константинополь и дальше в Александрию, Порт-Саид, Салоники, Пирей...

Красивый нагло-южной красотой брюнет с черными усами и румяным лицом, Генрих Альбертович имел успех у скучающих, одиноких, да и не только одиноких путешественниц. Он знал себе цену, и белый холст вместе с белой фуражкой и белыми замшевыми туфлями эффектно подчеркивали всю его молодевагу, расцветенную природой-матушкой фигурой.

Но случился однажды грех: у туристки, уже не молодой дамы, супруги видного сановника пропали из каюты бриллианты. И надо же так, что эти драгоценности во время повального обыска найдены были у Генриха Альбертовича! А матросы видели, как выходил он глубокой ночью из генеральшиной каюты...

Скандал! Замять дело – замяли, но брюнет с пышными, производившими впечатление наклеенных, усами изгнан был из «Русского общества пароходства и торговли» и покинул берега Одессы. Он очутился в Румынии, потом в Белграде, и это совпало с первой балканской войной. Голодный бродил он, щелкая своими ослепительными зубами, в осеннюю грязь и слякоть в легонькой синей куртке с якорями на петлицах и в измятом, лихо, однако, съехавшем на затылок кепи.

Спустя два-три месяца подобрала его в Фиуме чуть ли не умирающим с голоду австрийская шпионка графиня Пэкано. Авантюристка, наняв его себе в помощники, увезла отощавшего проходимца в Черногорию. Это было началом уже новой карьеры штурмана дальнего плавания. Карьеры австрийского агента.

В Черногории он скомпрометировал свою благодетельницу, выдвинулся за ее счет, и с тех пор габсбургские дипломаты начали доверять ему самостоятельные поручения.

И вот он снова в Сербии. Но так как его знал кое-кто в Белграде и оставил он по себе не особенно лестную память, то пришлось волей-неволей изменить грим. Скрепя сердце, пожертвовал Генрих Альбертович как своими пышными усами, так и не менее пышной, густой,

напоминавшей расчесанный срединным пробором парик, шевелюрой. Теперь он весь начисто выбрит и череп его лоснится гляncем бильярдного шара.

На курорте Генрих Альбертович снял номер в патриархальном чистеньком «хотеле». С вечера он успел заручиться протекцией милого, благожелательного Еленича. Узнав, что Кончаловский – корреспондент влиятельной русской газеты, секретарь престолонаследника обещал устроить ему интервью. И устроил.

Генрих Альбертович привык долго валяться в постели. Обыкновенно, поскребывая крепкую, волосатую грудь, он курил папиросу за папиросой, машинально бросая окурки на середину комнаты. Но сегодняшним утром валяться не пришлось. Наоборот, уже в седьмом часу вскочил как встрепанный, разбуженный мощными звуками соловьиных трелей. Он условился накануне, что будет поджидать Еленича ровно в восемь на скамейке в глубине парка, и вот секретарь приближается к нему, и по его лицу Дегеррарди видит, что успех обеспечен.

– Идемте за мною. Я вас представлю его высочеству. Вы, кажется, волнуетесь? Напрасно, королевич весьма доступен. У него открытая, славная душа, он любит детей, а кто любит детей...

– Да вы меня не ободряйте, – перебил Дегеррарди, – мне со столькими коронованными особами приходилось беседовать, что я даже и счет потерял... Я ведь сам считаюсь «королем интервьюеров».

Еленич испытующе покосился на этого дюжего бритого молодца. Похвальба отзывала дурным тоном. Неужели такая газета не могла командировать другого корреспондента? Но всякое отступление уже отрезано. Королевич ждет. Секретарь вместе с Дегеррарди свернул в боковую аллею. Там журчал быстро бегущий ручей под деревянным, аркою переброшенным мостиком. Уходят в перспективу два ряда лип, сплетаясь над головой густым зеленым сводом. Благоухающая, вся в цветах листва горит, трепещет на солнце. В глубине этого грота две фигуры. Все ближе и ближе. Еленич дает последний совет.

– Сейчас не особенно задерживайте его, ему нужен моцион. Он обещал интервью и сам назначит время и час...

Королевич с адъютантом уже в нескольких шагах. Дегеррарди снял шляпу.

– Ваше королевское высочество, разрешите представиться, – Кончаловский, специальный корреспондент, командированный для беседы с вашим высочеством...

Александр, улыбаясь и глазами сквозь стекла пенсне и всем своим смуглым, с крупными чертами лицом, протянул ему руку.

– Я очень рад видеть у себя представителя печати из России, которая навсегда останется мне дорогой и близкой по воспоминаниям детства...

– Ваше высочество, я хотел бы оповестить своих читателей о том, как живет и работает наследник сербского престола – победитель болгар и турок, герой Куманова, Монастыря, Нового-Базара, Прилипа, Дойрана...

Дегеррарди, как пулемет, сыпал без передышки всеми городами и местечками, завоеванными в Македонии и Старой Сербии.

Еленич подумал: «Ну, и здорово же он бомбардирует». Высокий адъютант шевелил усами. Королевич вспыхнул румянцем, тем застенчивым румянцем, который охватывал его, когда он слышал не только лесть, но и самую обыкновенную похвалу себе...

– Завтра, в одиннадцать часов утра жду вас, – оборвал дальнейшие излияния Александр коротким пожатием.

Оставив Генриха Альбертовича со своим секретарем, престолонаследник вместе с адъютантом двинулся дальше.

Дегеррарди и Еленич смотрели друг на друга.

– Что? Кажется, его высочество остался не совсем доволен мною? Видит Бог, я от глубины души...

– Он слишком скромн, а вы чересчур стремительно бомбардировали его. Советую вам быть несколько сдержанней во время интервью, иначе вы рискуете вспугнуть королевича. Он замкнется в себе... и вы ничего интересного не услышите.

– Хорошо. Я последую вашему совету, господин Еленич. Хотя, вообще, человек я открытый, прямой и свои восторги мне удается сдерживать с трудом. Как вы думаете, господин Еленич, какое впечатление я произвел на его высочество?

Секретарь, потоптавшись на месте, уклончиво ответил:

– Трудно сказать... Я думаю, пока он вынес впечатление самое поверхностное...

На самом же деле Дегеррарди произвел отталкивающее впечатление на престолонаследника. Положительно непреодолимую антипатию мог внушать этот бритый господин, самые почтительные слова произносящий с таким нахальным апломбом. И в тот момент, когда Генрих Альбертович рассыпался пулеметом: «Куманово, Монастырь, Новый-Базар» и так далее, королевич, видимо, решил не приглашать его к обеду. Он и на интервью согласился потому лишь, чтобы отказом не обидеть редакции большой русской газеты.

На другой день, в одиннадцать часов, минута в минуту Генрих Альбертович подходил к железной калитке виллы «Агнеса». Ровно сутки прожил Генрих Альбертович на курорте в ожидании знаменательного интервью. Он знал чуть ли не каждый шаг королевича на протяжении этих двадцати четырех часов. Знал, что вчера после завтрака он ездил в автомобиле в соседнее село на освящение сельскохозяйственной школы. Знал, что затем в присутствии королевича солдаты наводили понтонный мост через Мораву и Александр вернулся домой поздним вечером, запыленный, загоревший.

Часовой в гусарской форме пропустил Генриха Альбертовича. Шуршит под ногами крупный гравий. Навстречу корреспонденту вышел другой адъютант, пониже ростом, постарше, в орденах. Провел гостя в маленькую приемную, вышел, вернулся.

– Его высочество ждет вас.

В маленькой, – здесь все было на этой даче миниатюрное, – рабочей комнате королевич поднялся навстречу русскому журналисту. Указал ему стул, сам сел и подвинул плоский золотой портсигар с бриллиантовой короной.

– Вы курите?

Дегеррарди схватил папироску; жадным взглядом окинув портсигар. Он с удовольствием взял бы его «на память». Можно было бы говорить, что это ему подарил наследник сербского престола за... мало ли что? Подарил, да и только...

Помня совет Еленича, господин Кончаловский решил быть значительно сдержанней. Ловил себя на готовых сорваться с языка шумных восторгах. Когда он брал большими красными пальцами папиросу, на его руке у самого запястья обнажился маленький татуированный якорь.

– Вы бывший моряк?

– Так точно, ваше высочество. Я – воспитанник Морского корпуса в Петербурге, был выпущен во флот, но в чине лейтенанта вышел в запас, желая отдаться журналистике, к которой всегда имел склонность...

10. Исповедь загорского

– ...Вера Клавдиевна, как я рад, что мы познакомились! И вы, вся такая чуткая, и ваши серо-голубые глаза действуют удивительно успокаивающе. Именно, успокаивающе. Я говорю – познакомились... Мы встречались и раньше, но разве это было знакомство? Вы были очаровательным полурбенком, приехавшим на каникулы из своего «Sacré-Coeur», я был Димой Загорским, которого – одни боялись, другие ему завидовали, но никто не любил. О мужчинах говорю. Женщины, к сожалению, слишком дарили меня своим вниманием. Вообще, мне везло в обществе. Но, даю вам слово, я никогда и пальцем не шевельнул для своей «популярности». А вам разве не говорили обо мне хуже, чем я был на самом деле? Хотя я и сам никогда не драпировался в тогу особенной добродетели. Сознайтесь, приходилось вам слышать обо мне дурное? Помню, я читал в ваших глазах какое-то странное любопытство, смешанное со страхом... так ведь?

– Да, я вас боялась, Дмитрий Владимирович, – просто молвила Забугина.

– Мне везло с детства, и это везение портило меня, развращало... За воспитанием души моей никто не следил, ни мать, ни отец. В особенности – отец. Ему некогда было. Всегда какие-то грандиозные предприятия, какие-то финансовые авантюры... Можно было подумать, что это не кавалергардский полковник в отставке, а какой-нибудь американский делец... Мне все давалось легко. В Пажемском я шел первым и, выйдя в полк, сделался всеобщим кумиром. То же самое – в академии. Теперь смешно вспомнить, какими я занимался глупостями... Я был законодателем гвардейских мод. Я выдумывал фасон кавалерийских сапог, учил портного кроить галифе. Вся гвардейская конница одевалась, как я. Последним моим творческим вдохновением было нежно-сиреневое пальто с мягкими «вшитыми» погонами. Я заважничал, стал снобировать. На дежурство приезжал в полк с камердинером и целым багажом. За это меня следовало бы хорошенько вышутить, а между тем это нравилось, импонировало, вызывая подражание...

Я любил внешний блеск. Меня тянуло в тот круг, который был выше моего, тянуло, хотя я и видел и чувствовал его пустоту. Я презирал то, что было ниже меня, напоминая в этом отношении одного из дипломатов наполеоновской эпохи, не помню сейчас – Меттерниха или Нессельроде, говорившего, что «человек начинается только с «барона».

Женился я не по любви. Моя невеста была дочерью министра, имевшего позади себя шестисотлетнее дворянство. К ним запросто ходили высокие особы, и этого было достаточно, чтобы я сделал ей предложение. Средств больших, так называемых «твердых», у нас никогда не было. Отец то жонглировал миллионами, расточая их как набоб, то нуждался в двух-трех тысячах. Я уже не мог удовлетвориться гарсоньеркой из четырех комнат, как в холостые дни. Нужен был train, надо было принимать, выезжать, и мне льстило, что эти самые особы, которые ездили к моему высокопревосходительству тестю, начали ездить ко мне... Завтраки, обеды, ужины, лошади, автомобиль, ложа в балете...

Я – кругом в долгах, все туже и туже затягивается петля. И вот я попадаю в лапы к банде аферистов. Они впутывают меня в дело наследственных миллионов князя Обнинского...

Я живу двойственной жизнью. С одной стороны – шумной, светской, с другой – меня все больше и больше запутывает вцепившаяся стая жадного воронья. Знакомят меня с католическими священниками. Они льстиво и вкрадчиво доказывают мне мои несомненные права на эти миллионы. Рисуются перспективы одна другой заманчивее, мой аппетит разгорается, голова ходуном ходит, пьянеет, да и весь я в каком-то чаду... Не было близкого человека, не было той хорошей дружеской воли, которая могла бы меня отрезвить. Жена? Жена так мало интересовалась моими личными делами. Да и встречались мы дома в нашей громадной квартире урывками.

Словом... Остальное вы сами знаете, дорогой друг... Знаете из разговоров, из судебных отчетов, облетевших все газеты, не только наши, российские, но и заграничные. Выход из полка, суд, шельмование, позор, лишение всех прав. Я, который так кичился тем, что мы, Загорские, значимся в бархатной книге, я теперь какое-то недоразумение. Даю вам слово, Вера Клавдиевна, если я и виноват во всем этом кошмаре, то лишь моим непростительным легкомыслием, за которое так жестоко наказан. Ни преступления, ни злоумысла не было с моей стороны. До самой последней минуты я не подозревал о подложности завещания, предательски сфабрикованного за моей спиной. Верите ли вы мне? Верите ли, что я не лгу, желая обелиться в ваших глазах?

– Верю, Дмитрий Владимирович! И раньше верила вам. Я считала вас суетным, высокомерным, именно таким, для которого люди начинаются «с барона», никак не ниже, но способным на преступление – никогда!

Голос ее звучал искренне, почти вдохновенно. И в глазах девушки, ясных, глубоких, прочел Загорский, что ему верят.

С важным и строгим лицом он медленно взял ее узкую, маленькую руку, поднес к губам.
– Благодарю вас...

А кругом было тихо, замороженно-тихо в тускло-серебристой дымке белой ночи.

Они стояли у гранитного парапета набережной. Дворцы и особняки, похожие на дворцы, уходили вдаль куда-то, чудясь фантастическими замками, погруженными в цепенеющий сон... Угрюмым силуэтом рисовалась на дальнем берегу Петропавловская крепость. Свинцовой зыбью отливала широкая Нева. Мелькали цветные огоньки шныряющих пароходов, и протяжные гудки их чем-то затерянным, тоскующим низали это безмолвие ночи, дремотной, зачарованной...

И такими же затерянными среди пустынной набережной с ее упругим холодным гранитом было двое – Забугина и Загорский. Близость девушки и эта серебристая ночь как-то невольно внушили ему открыть свою душу, и он говорил, и она слушала внимательно, сосредоточенная, затихшая...

– Вся катастрофа, превратившая меня в бесправное «человеческое недоразумение», повлекла за собой всестороннюю переоценку ценностей. Жизнь дала мне урок, чудовищный по своей жестокости. Я увидел людей, людей моего общества в истинном свете... Один за другим проходили они передо мной на суде. Надо было послушать их свидетельские показания, где эти самые господа в раззолоченных мундирах и треуголках с плюмажами, которые восхищались мною, моими обедами, пили мое вино, курили мои сигары, тратили мои деньги, – в зале суда вероломно отрекались от меня. И как отрекались! Послушать их, – они были едва знакомы со мной, и я всегда казался им каким-то подозрительным проходимцем. Сидя на скамье подсудимых, я многому научился, многое понял! Я понял, что мои лакеи и горничные в своих свидетельских показаниях были куда честней и благородней господ в плюмажах и светских дам. У первых чувствовалось хорошее человеческое сожаление к своему барину, вторые – с непонятным злобным чувством хотели утопить меня...

Прежде брезгливо сторонившийся от «мужика», я только в несчастье своем понял и оценил мужицкую душу. Конвойные, для которых я был в конце концов самым обыкновенным арестантом, называли меня «баринном», «высокоблагородием», относились тепло и чутко.

Моя жена примкнула к «той» партии. Я ее скомпрометировал... Но был еще выход. Этот выход – полнейшее отречение и развод. Она потребовала развод, получила его. И мы сразу перестали существовать друг для друга. Хотя и живя вместе, во дни моего блеска, мы были чужими и чуждыми друг другу. Я рад, что у нас нет детей. Нас не связывают никакие нити. Я мог бесповоротно сжечь свои корабли и навсегда порвать со всем тем, что осталось позади и уж никогда не вернется. Господи, с какой головокружительной высоты полетел великолепный Загорский, баловень и кумир! Как все это было пусто, мишурно, глупо! И может быть, теперь,

именно теперь, после этой так меня переродившей встряски, я сделаюсь человеком, настоящим человеком... Вера Клавдиевна, вы не чувствуете моего обновления?

– Хотите правду? – продолжала Вера Клавдиевна. – Я не могу иначе... Да и слишком вы одаренный и умный человек, чтобы вам нельзя было сказать того, что думаешь.

– Только одну правду, милая, хорошая Вера Клавдиевна, – горячо воскликнул Загорский. – Ведь я почти никогда не слышал правды, к сожалению. Потому, что если бы мне ее говорили, я был бы, пожалуй, другой. Но были одни только крайности. До этой роковой «границы» я слышал одну только лесть, одно только упоение моей особой. А когда с меня сняли красивый мундир и я сел между конвойными с обнаженными шашками, вчерашние льстецы, словно желая отомстить за целые годы искательства, спешили забросать меня грязью... Так вот, в чем же эта правда, Вера Клавдиевна, которую я горю желанием услышать?

– Видите, милый, вы не обижайтесь, я хотела сказать, что в вас осталось еще не мало того «великолепного Загорского», который, по вашим словам, «умер», чтобы никогда не воскреснуть вновь. Я внимательно наблюдаю вас, если хотите, изучаю. Мы видимся каждый день, и поле для моих наблюдений – обширное. Вы сохранили некоторую надменность прежнего гвардейца... Иногда вы высокомерно щуритесь, и, когда разговариваете с кем-нибудь из тех людей, которых принято в обществе называть «полупочтенными», вы держите себя так, словно перед вами какое-то насекомое... Что бы вы ни говорили, а в вас еще сидит, сидит сноб... Вы не обиделись на меня?

– Полноте, Вера Клавдиевна, обидеться на вас, такую сердечную, искреннюю, да еще в эту тихую, прозрачную ночь, когда хочется идти навстречу каким-то чудным зовам и так мучительно хочется раскрыть свое сердце до самых потайных сокровенных уголков. Отвечу вам следующее: вы правы и не правы. Я говорю это потому, что угадал мягкую, чуть слышную нотку осуждения. Но не знаю, каким бы вы предпочли меня видеть, – таким, как теперь, или, наоборот, пришибленной, трусливой собачонкой, ничтожеством после недавнего «величия», потому что как-никак это было хоть и пустое, поверхностное, но все же величие. Мне кажется, если бы я «съежился» – я пошел бы вниз, со ступеньки на ступеньку... А между тем я чувствую в себе силы, чувствую право перековать свою жизнь заново. Если не здесь, то где-нибудь далеко. Владелец банка, где я служу, предлагает мне выгодное место во Франции. Но не в этом дело... Я только хочу коснуться той надменности, которую вы мне поставили на вид. Это, – будем ее называть надменность, – моя броня, мой щит. Я не поник головой, а несу ее гордо и смело, чувствуя свою правоту. Я не хочу, чтобы меня жалели те самые люди, которых я пускал к себе в дом. При случайных встречах с ними я никогда первый не кланяюсь. С какой стати? Чтобы какая-нибудь каналья сделала брезгливую мину, отвернулась? И что ж вы думаете! Видя это, они первые начинают кланяться, и тогда я отвечаю небрежно, еле-еле. Это мой «стиль», и это, уверяю вас, производит соответствующее впечатление. Я говорю этим: «Ради Бога, не думайте, господа, что я хоть немного, хоть капельку заинтересован вашим вниманием»...

Вот вам случай. На днях я вместе со своим банкиром завтракал у Пивато. За соседним столиком сидела компания – несколько незнакомых мне штатских и упитанный, румяный флигель-адъютант князь Еникеев, малый, в сущности, хотя и не особенно далекий, но добродушный. Мы с ним состояли когда-то в приятелях. Штатские смотрели на меня, Еникеев что-то говорил вполголоса. Очевидно, речь шла обо мне. Вдруг он встает, направляется ко мне. В этот миг я сообразил, что он сказал им приблизительно следующее: «Бедняга Загорский ушел из нашего общества деклассированный, но я все же обласкаю его».

Подходит, широко улыбается, протягивает руку.

– Здравствуй, Дима!

– Здравствуй, – ответил я ему сухо, чуть коснулся его руки и продолжаю свой разговор с патроном...

Еникеев, помявшись на месте, отошел, сконфуженный... Правильно я поступил или нет?

– Как вам сказать... Я, пожалуй, на вашем месте сделала бы то же самое...

– Вот видите! Иначе нельзя было поступить. Если б я обрадовался «чести», что он снисходит ко мне, и рассыпался перед ним, я унизил бы себя и в его глазах, и в глазах банкира, и во мнении этих штатских, и, прежде всего, это самое главное, – в своем собственном. Я поступил, может быть, резко, но, поверьте, вселил к себе уважение, хотя в уважении этих господ несколько не нуждаюсь, потому что презираю их...

Они медленно возвращались к себе на Вознесенский.

Гордым, величественным силуэтом застыл в воздухе Медный Всадник на гранитной скале. Таинственная, мистическая, уходила Галерная улица под монументальной сенатской аркой. Вдали гроыхал трамвай, мелькая освещенными окнами.

Мимо решетки Александровского сада бежал мальчишка с целой кипой газет.

– Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Убийство австрийского эрцгерцога...

Загорский окликнул мальчика, взял у него экстренный выпуск.

В тусклом сумраке белой ночи можно было легко прочесть набранные жирным шрифтом крупные строки. В нескольких фразах описывалось сараевское убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги.

– Вот вам, Вера Клавдиевна, и сенсация среди сонного летнего затишья. Я убежден, что эта сараевская катастрофа всколыхнет многое, и мы накануне больших, очень больших событий...

– Вы думаете, Австрия объявит войну Сербии?

– Я ничего не думаю, но... Ах, я совсем забыл вам сказать... Недели три назад со мной произошел довольно загадочный случай. Меня – вот вы удивитесь! – приглашали на службу в австрийский генеральный штаб...

11. Что предлагал Юнгшиллер

Ганс Юнгшиллер «одевал» чуть ли не пол-России. Не говоря уже про Петербург и Москву, его бесчисленные магазины мужского и дамского платья разбросаны не только по всем губернским городам нашего необъятного отечества, но и по крупнейшим уездам.

У Юнгшиллера можно было «одеться» в Архангельске и в Ялте, в Радоме и в Тифлисе, в Бердичеве и Владивостоке.

Этот благодетель одевал на все цены и вкусы. Одевал крупных чиновников, писцов из участка, студентов, офицеров, лесничих, дам общества, белошвеек, мещаночек, актрис, девиц с панели...

Допускалась наивыгоднейшая рассрочка. Счет в семьдесят-восемьдесят рублей можно было выплачивать по два рубля в месяц.

Десяткам тысяч людей давал Юнгшиллер кусок хлеба.

Если собрать всех вместе – кассиров, закройщиков, мастеровых, управляющих магазинами, собрать весь этот люд, разбросанный повсюду в малых и больших городах, от севера на юг и с запада на восток, – получилась бы целая армия.

Но Юнгшиллер не ограничился одной Россией. В такой же или почти в такой же мере одевал этот всегда румяный, всегда веселый блондин-здоровяк и разноязычное население своего собственного отечества Австро-Венгрии. Повсюду – в Граце, Вене, Загребе, Темешваре, Львове, Фиуме и даже в таких захолустьях, как Самбор, можно было встретить вывеску: «Магазин мужских и дамских платьев Юнгшиллера».

Он проник даже на Балканы – в Константинополь, Софию, Белград. Он имел свой большой магазин в Салониках, с широченной вывеской на трех языках – греческом, турецком и еврейском.

Сам Ганс Юнгшиллер – (его штаб-квартирой был Петербург) – носился в частых разъездах по белу свету, проверяя свои разметавшиеся в двух империях магазины, производя им настоящие инспекторские смотры.

На островах он имел свою виллу. Какое виллу! Громадную усадьбу с каменным двухэтажным особняком, гаражами для автомобилей, конюшнями и теплым зданием манежа, где зимой этот «король портных» устраивал карусели.

У Юнгшиллера был даже «свой собственный» берег. Этак на четверть версты. Проволочные заграждения, колючие, в добрый человеческий рост, надежно охраняли уединенный в зарослях берег с пристанью, напоминавшей маленькую, отлично оборудованную гавань. Весною, летом, осенью, вплоть до заморозков стояла в этой гавани целая флотилия моторных лодок, разных величин и скоростей.

Никто из чужих не смел подплывать близко к владениям этого феодала-спортсмена вообще и любителя водяного спорта – в частности.

У Юнгшиллера была своя речная полиция, из двух-трех человек, но все же была. Если кто-нибудь из катающихся на пути к взморью приближался к «гавани» Юнгшиллера ближе, чем это полагалось, – навстречу выносился ялик с одетым по-матросски человеком. Он грозил веслом, кулаком.

– Отчаливайте, мол, дальше подобра-поздорову!

Так оберегал свой покой и свою экстерриториальность на берегах Невы австрийский подданный, без году неделю принявший русское подданство, Ганс Юнгшиллер, благотворитель, кавалер многих орденов и статский советник.

Высокая башенка, откуда без конца-краю видны Петербург и Финский залив; поднималась над особняком. А над ней, в свою очередь, по некоторым дням взвивался черно-желтый

габсбургский флаг. Совсем как если б вилла Юнгшиллера была летнею резиденцией австро-венгерского посольства.

На этой вилле, кстати, – называлась она «Вилла-Сальватор», – часто бывал Манега. К услугам аббата Юнгшиллер предоставил один из своих автомобилей, постоянно дежуривший у «Семирамис»-отеля. Манега, как женщина шлейф, приподнимал свою сутану, садился, в зависимости от погоды, в закрытое или открытое купе, шофер мчал его, и спустя каких-нибудь двенадцать минут аббат находился уже в пределах «Виллы-Сальватор».

Манега поручил Юнгшиллеру заняться Дмитрием Владимировичем Загорским и ценою каких угодно заманчивых «горизонтов» привлечь его возможно скорее на службу венскому генеральному штабу.

– Удастся ли? – колебался Манега.

– Аббат, я почти не сомневаюсь в успехе. Ведь ему нечего больше терять. Имя запачкано! Все – ордена, чины, дворянство, привилегии – все пошло насмарку! С его аппетитами, с его недавним положением – коптеть в банке над какой-то заграничной корреспонденцией – согласитесь?..

– Попробуем!..

Юнгшиллер «попробовал».

Зацепку найти легко. Начать можно так, например: он, Юнгшиллер, далеко не прочь доверить Загорскому управление своим петербургским магазином, которому тесно в четырех этажах с гигантскими зеркальными витринами. Жалованье – двадцать четыре тысячи в год.

Начать можно с этого, а дальше... дальше будет видно.

И вот Юнгшиллер сначала забросил карточку Дмитрию Владимировичу и, не застав его дома, на другой день прислал официальное письмо на бланке своего «торгового дома», с покорнейшей просьбой пожаловать для переговоров по делу, являющему собой взаимный интерес и выгоду.

Холодный текст пишущей машинки сменялся несколькими очень любезными строками, – собственный автограф Юнгшиллера, где он звал Загорского к себе, совершенно запросто, к обеду.

Юнгшиллер встретил его, веселый, улыбающийся. Тряслись от смеха полные румяные щеки. Двоился подбородок, морщилась кожа на жирном затылке. Внешность скорее пруссака, чем австрийца, хотя Юнгшиллер настоящий австрийский немец и покойный папаша его торговал какой-то мелочью вразнос у собора святого Стефана.

Юнгшиллер старался быть светским.

– Вы знаете толк в лошадях, месье Загорский? До обеда осталось еще минут пятнадцать, и я, с вашего разрешения, покажу вам свою конюшню.

В каменной, содержащейся в образцовом порядке, освещаемой электричеством конюшне рядами стояли покрытые шегольскими попонами верховые и упряжные лошади.

Вымуштрованные конюхи в серых куртках, сапогах со шпорами и каскетках выводили лошадей из стойл. Хозяин ждал комплиментов по адресу своей конюшни, но этот бритый гость с внешностью лорда, в безукоризненной черной визитке и легоньком пальто небрежно уронил два-три замечания знатока мимоходом и кстати вспомнил свое посещение конюшен покойного английского короля Эдуарда.

Юнгшиллер как-то притих и уже меньше смеялся, меньше хихикал, с неудовольствием ловил себя на мысли, что он, миллионер, широко независимый человек, к которому ездят на поклон видные сановники, князья и графы, адмиралы, теряется в обществе этого «ошельмованного» человека без всяких прав, без всякого положения, кроме разве «отрицательного».

А вся повадка Загорского, холодная, высокомерная, была такая, словно Дмитрий Владимирович оказывает Юнгшиллеру честь своим посещением и своим согласием у него отобедать.

В особняке на каждом шагу била в глаза роскошь, особенная, скороспелая роскошь, дающая вдруг, большими деньгами, а не наследственным, переходящим из поколения в поколение барством.

– Эту гостиную Людовик Пятнадцатый я купил целиком, как она была на парижской выставке, – пояснил Юнгшиллер, – а это настоящий Тициан, это настоящий Ван-Дейк. Я платил солидную сумму...

Загорский вежливо, очень вежливо усомнился...

Прищурившись в монокль, Дмитрий Владимирович рассматривал обе висевшие рядом картины. Потом сказал:

– Единственный подлинник тициановского портрета, – изображен ведь памфлетист Пиетро Аретино, – находится в Венеции. Что же касается Ван-Дейка, то опять-таки единственный оригинал этого юноши в латах хранится в галерее герцогини Девонширской.

Подоспевший лакей вывел хозяина из неловкого положения.

– Мы будем обедать вдвоем. Супруга моя извиняется, не может выйти. Она нехорошо себя чувствует.

Это было не совсем так. Госпожа Юнгшиллер находилась в отменном здоровье. Но муж решил, что ей неудобно, пожалуй, принимать гостя, несколько месяцев назад вышедшего из тюрьмы. Полчаса назад Юнгшиллер и не подумал бы извиниться, но теперь Загорский положительно придавил его «великолепием» своим. Теперь Ганс пожалел, что «супруга» не выйдет к столу.

Обедали в «малой» квадратной столовой, балконом выходявшей на Неву. Говорили о пустяках. Больше говорил хозяин. Лишь к концу, за кофе, сигарами и ликерами приступил Юнгшиллер к выполнению желания аббата Манеги.

– Вы, кажется, изволите служить в «Интернациональном банке», Дмитрий Владимирович?

– Да, я служу именно в этом банке.

– Мне мелькнула мысль... ха, ха... вы знаете, это забавно... переманить вас к себе. С этой целью я и побеспокоил вас.

Загорский, отхлебнув из чашечки густого, горячего кофе, вопросительно посмотрел на Юнгшиллера.

– Я хотел бы предложить вам, если пожелаете, «пост» управляющего моим здешним «Торговым домом». Я полагаю, мы сошлись бы в условиях?..

– Вы думаете, что я мог бы занять этот «пост»? – молвил Загорский с чуть заметной иронией, подчеркивая слово «пост».

– Я не сомневаюсь, что у вас окажутся налицо администраторские способности. Каких-нибудь специальных знаний здесь не требуется. Я хотел бы знать ваше принципиальное – да или нет? Что же касается условий, в этом, повторяю, вы имеете от меня полное.

– Надо подумать. Сейчас, здесь за столом, я не могу решить.

– Ну, конечно же, конечно... Время терпит. Но, сознаюсь, вы произвели на меня такое обворожительное впечатление, что я хотел бы очень вместе с вами поработать. Еще кофе?.. Как вам нравится сигара? Не правда ли, мягкая на вкус?.. Табак гаванский, но свертка бразильская.

– Да, свертка бразильская, – согласился Дмитрий Владимирович, – только бразильские негры умеют сообщать сигаре такую шероховатую, неправильную форму.

– Не угодно ли на балкон, подышать воздухом?

Вышли.

Внизу разбит цветник. Садовник, в синей блузе и синем переднике, поливал газоны, ловко работая длинной, шуршавшей по гравию, змеиными кольцами, кишкою.

Благоухали анютины глазки, тюльпаны, белые и желтые лилии.

Дальше за цветником – приземистые липы, жиденькие, застенчивые березки. Сквозь кружево листвы горела Нева в теплых красноватых предзакатных лучах, и далеко-далеко уходило застывшей недвижимой гладью взморье.

– Хороший вид, не правда ли? Я коммерческий человек, но люблю природу.

Пауза. И опять-таки нарушил ее хозяин.

– Дмитрий Владимирович, с первого же знакомства я почувствовал к вам большую симпатию. Я искренне желаю вам всего хорошего. Мне мелькнула одна мысль... Вы позволите говорить откровенно?..

– Говорите.

– Я только что предлагал вам пост с министерским жалованьем. Предлагал и предлагаю, но мне кажется, это все же не то. Я позволю себе, заранее принеся мое извинение, коснуться одного щекотливого вопроса. Вы на меня не обидитесь?..

– Нисколько! Вы желаете коснуться того, что всем и вся известно, о чем все успели забыть, и прежде всего я сам...

Ободренный этим, Юнгшиллер продолжал уже смелее:

– Хотя вы пострадали невинно, сделались жертвою всяких там чужих авантюр, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все же, смею думать, для вас было бы самое лучшее, как бы это сказать... «депеизироваться», именно это слово – депеизироваться... В другой стране, вдали от этого гнилого Петербурга, вы чувствовали бы себя... вы меня понимаете?..

– Вы хотите мне предложить место в одном из ваших заграничных торговых домов?..

– Да... то есть... как вам сказать... не совсем. Я могу продолжать?

– Сделайте ваше одолжение. Только нельзя ли короче?

– Видите, Дмитрий Владимирович, вы, по-вашему, так сказать, «метье», военный, и к тому же еще с академическим образованием. Вы могли бы начать вашу карьеру опять, заново, и достигнуть высокого положения.

– Где?..

– А вот где, – Юнгшиллер глотнул воздуха, и будь что будет, – я имею основание... у меня есть косвенные данные... если хотите, даже прямые, что вы... что вас охотно приняли бы на службу в австрийский генеральный штаб с чином полковника, как бывшего ротмистра гвардии.

Немного побледнев, немного испугавшись, хозяин ждал ответа...

Загорский ответил не сразу. Он стоял непроницаемый, замкнутый, и только белые, красивые пальцы его вздрагивали, сжимая чугунную решетку балкона...

12. Дом свиданий

Мадам Карнац, открывая свое заведение вместе с черномазым Антонелли, решила, раз это будет институт красоты, то ограничиваться только массажем, парфюмерной торговлей и «смягчением кожи», по меньшей мере, было бы глупо.

Седух укрепил ее в этом благом решении.

Разглаживая бакены, чуточку заикаясь, молвил:

– Да... а... там, где красота, должны быть стрелы амура... амура... да... и вообще, гнездышко любви... любви, да. И выгодно, вот на Волынкином переулке француженка, отставная мамзель... да, отставная, за бутылку шампанского тридцать рублей лупит... лупит... да.

– А ви почему знает? Ви там биль? Ви там развратничаль? Негодяй, эмбесиль, – накинулась Карнац в ревнивом гневе на своего сожителя.

– И не думал! Вот еще. Чего я там не видел? Не видел, да... Вообще, говорят...

– Негодяй, я вас презирай!..

Эта семейная размолвочка нисколько не помешала им дружно вместе взяться, чтобы создать конкуренцию Волынкину переулку.

Альфонсинка затмила крашеную, трепаную француженку. Настолько затмила, что посамрамленная соперница до крови кусала губы желтыми вставными зубами.

Первой ласточкой, вернее, первым общипанным цыпленком был невзрачный маленький старичок, сановный любитель крупных женщин.

– Мадам Карнац, мне нужен массаж. Хе, хе, массаж...

– Понимай, экселлянс. У меня есть шведка, это кариатид с эрмитажный мюзе, а не женщин, завсем ваш вкус.

– А вы почем знаете мой вкус?

– О, экселлянс, мадам Карнац все знает... знает маленьки шалость такого большой человек, как экселлянс.

Через неделю Альфонсинка на чем свет разносила сановного старичка.

– Это разбой, это чисти бригадаж! Он брал мой Эльза на содержание и теперь я без опытни массажистка. Что скажет мадам Айзенштадт, который привыкли массироваться через Эльзу? Что скажет вся моя клиентель? Бригандаж на большой дорога...

Альфонсинка обслуживала самую пеструю, самую разнообразную «клиентель». Является крупный финансист. Крупный теперь. Несколько лет назад паршивенький биржевой заяц, в жеваной визитке, в заношенном белье с липнущим к потной шее грязным воротничком, он метался как угорелый под величественным портиком античной колоннады у Биржевого моста. Несколько лет назад... А теперь он богат, директор банка и живет в свое удовольствие.

Но темное, унижительное, физически нечистоплотное прошлое все еще цепляется за финансиста и никакими духами, эссенциями не заглушить подлого запаха. И вот он во всеоружии туго набитого бумажника бомбардирует Альфонсинку.

– Послушайте, мадам Карнац... я хочу иметь... ну, как это говорится... ну, знакомство, что ли, с какой-нибудь титулованной дамой. Мне все равно, красивая или некрасивая она, толстая или худая, как щепка, лишь бы она была княгиня или графиня. Сколько будет стоить, я заплачу.

Иногда Альфонсинка пускалась на хитрость, подсовывая фантастических графинь и княгинь. Но это редко удавалось.

Народ, прошедший огонь и воду, и медные трубы, веривший лишь в документ или в то, что «дается на ощупь», выскочки финансисты, жаждавшие титулованных проституток, требовали доказательств. А некоторые прямо указывали.

– Хочу такую-то. Хочу графиню Штукензее... Один мой приятель ужинал с ней за пятьсот рублей.

Мадам Карнац облегченно вздохнула, говоря, однако, для вида:

– Ваш приятель обманчик, эн мантер... я знай графиня Штукензее, это очинь, очинь строгий светский дама, очинь прюдантный. Но для вас, мосье, я сделаю невозможность. Ви будете иметь эн пти роман авек мадам ля контесс Штукензее. Но это будет стоить две тысяч. Один для меня, другой – на бедни графини. Она очинь благотворительни дама, эль э тре шаритабль!..

Графиня Штукензее, расплывшаяся тридцатипятилетняя баба, с вульгарным, вздернутым носиком и лицом горняшки, несмотря на свою древнюю девичью породу, будь она Петровой, Сидоровой, Карповой, – никто и внимания не обратил бы. Но – графиня Штукензее, отец ее был чуть ли не герцог. Любому финансисту или биржевику лестно при случае, а то и без всякого случая, прихвастнуть такой блистательной «авантюрой».

Вечерами, а то и глубокой ночью графиня Штукензее под темной, густой вуалью, шевеля ходившими ходуном жирными бедрами, поднималась не раз к мадам Карнац, где в одной из гостиных вместе с фруктами и шампанским нетерпеливо поджидал один из баловней фортуны, вознесшей его из вечного завсегдатая трущобных кофеен в крупного дельца, ворочающего миллионами.

На другой день, завтракая у «Медведя» или «Кюба», он будет говорить, дымя четырехвершковой сигарой:

– Вчера был с этой... знаете, графиней Штукензее...

– Муж молодой... красавец брюнет?

– Ну, да, та самая! Другой нет! – длительная гримаса. – Ничего особенного, корова... Шампанское дует, как гусар.

У мадам Карнац накопилась богатейшая коллекция мужских и женских фотографий. Товар лицом – на выбор.

Некоторые весьма отменного изящества джентльмены, в салонах почтительно склоняющиеся к дамским ручкам, обалдели бы от изумления, узнав среди портретной галереи мадам Карнац некоторых обладательниц этих самых ручек...

Но жизнь так дорога в столице, а всевозможные тряпки, туалеты – безумных денег стоят. Мужья, – у них свои расходы, свои кутежи, свои любовницы и содержанки.

Многие из них смотрят сквозь пальцы, никогда не спрашивая, откуда у жены бриллиантовые серьги, умопомрачительное четырехсотрублевое «парада» на шляпе или горностаевая накидка. Мужскими карточками интересовались купчихи, содержанки, дамы общества, молодые, пожилые и старые.

Сколько жалоб наслушалась кругленькая, в неизменном бархатном платье Альфонсинка.

– Ах, мадам Карнац! Мой муж... если б вы знали... он никуда, никуда не годится...

– Мадам Карнац, войдите, дорогая, в мое положение. Ведь я хочу ласк любви, я не монахиня, да и монахини... но не могу же я взять любовника из своего крута, пойдут разговоры, сплетни.

Мужская портретная галерея... Кого-кого только не было... Экзотические графы с внешностью цирковых наездников и заправские наездники. Прилизанные, с печатью порока и тупости служащие в конторах и банках молодые люди, которым не хватает скромного жалованья. Налетевшие из-за границы авантюристы, атлеты с могучими обнаженными торсами.

Демонстрацию карточек Альфонсинка сопровождала красноречивым «пояснительным текстом», подобно плантаторше, выхваляющей достоинства своих рабов.

Недавно, совсем недавно «утетила» Альфонсинка госпожу Юнгшиллер, богато, пестро и кричаще одетую немку с большим мокрым ртом, большими руками и ногами.

– Мой муж совсем забил меня, он весь занят своей политикой! – сетовала высокая блондинка. – Фуй, нельзя же так! Я сама патриотка, но нельзя же забывать, что я женщина.

– Ах, эти мужчины! – подхватила Альфонсинка, – они сами виноват, если жена изменяет. В руках госпожи Юнгшиллер очутился незаметно всученный альбом.

Еле-еле пробивающиеся усики. Усищи самовлюбленных самцов. Английские проборы. Взбитые коки. Зверски-решительные глаза. Блондины. Брюнеты. Шатены.

Внимание госпожи Юнгшиллер привлек молодой негр-борец с громадными, как у лошади, белками.

– Этот? – вопросительно взглянула клиентка на мадам Карнац.

– О, это можно! Даст ист меглих!.. черный... Он немножко пахнет штинкт. Но это ничего... Это – мужественность, абер он очинь сильни... Колоссаль штарк!..

– А он не кусается? Говорят, все негры кусаются, когда влюблены?

– Я ему скажу, чтобы он не кусался.

И вот в гостиной, той самой, где поджидали графиню Штукензее тщеславные банкиры, встретила госпожа Юнгшиллер с негром. Он пялил на нее свои лошадиные белки и молчал.

Супруга короля портных не говорила по-английски. Но это было выразительней всяких разговоров, – он снял пиджак и, оставшись в полосатой фуфайке, напряг бицепсы темно-бронзовых рук своих. Мадам Юнгшиллер, замлевшая, коснулась этих бицепсов.

– Колоссаль штарк!..

Черный геркулес украсил низко выстриженную голову Юнгшиллера великолепными ветвистыми рогами...

13. Первые подозрения

Вот до чего дошло... Этот упитанный, самодовольный немец зовет его на австрийскую службу... Посмел звать... Первым движением Загорского было схватить Юнгшиллера японским, обессиливающим самого крепкого человека приемом и сбросить вниз с балкона. Первым движением... Но холодный рассудок поборол это желание. Несмотря на бесстрастную маску лица, мозг мучительно работал, угадывая здесь, на этой вилле, какую-то ниточку, могущую привести в очень сложный и очень интересный лабиринт. Сразу раскрывать свои карты было бы бесполезным донкихотством, потому что не может же его оскорбить это влюбленное в себя и в свои миллионы животное?..

Юнгшиллер, то бледнея, то вспыхивая пятнами, с дрожащим двойным подбородком, ждал ответа.

Ну, и аббат Манега! Замешал в переплет... В самом деле, патриотизм патриотизмом, но такие щекотливые положения, как сейчас, – право, это вовсе не так уж интересно!

Юнгшиллеру хотелось закричать, затопать на садовника, хотя тот исполнял свое дело не надо лучше.

Хозяин услышал наконец ответ своего гостя.

– Господин Юнгшиллер, второе предложение ваше, как вы сами понимаете, значительно более сложное. В первом случае – я не дал вам прямого ответа, во втором же и подавно потребуются время. Взвесить все «за» и «против» и, в конце концов, решить вопрос так или этак. Надо признаться, не совсем уясняю столь внимательное и лестное, – Загорский улыбнулся углами губ, – отношение австрийского генерального штаба к моей скромной особе. В единственных условиях мог бы я, действительно, принести большую пользу там, в Вене, это в случае войны с Россией. Но против своего отечества я никогда бы не стал работать и служить своими знаниями. А пойти просто в наемники, в ландскнехты – какой смысл? По этой части специалисты пруссаки, обратившие военное дело в ремесло. Быть может, Австрия предполагает в самом недалеком будущем воевать с нами? – неожиданно спросил Загорский, думая поймать врасплох этого ставшего ему подозрительным вместе с его виллою миллионера.

Юнгшиллер, смеясь, протянул вперед обе ладони.

– Что вы, что вы, Дмитрий Владимирович! По-моему, политический горизонт ясен и чист, я позволяю себе это картинное сравнение, ха, ха... Нет, в самом деле, Австрия, как никогда, настроена миролюбиво по отношению к своей дружественной восточной соседке. Наконец, за кого же вы меня принимаете? Я порядочный человек, джентльмен. Если бы действительно предвиделась война, неужели я позволил бы себе? Да ведь это было бы в высшей степени... Я не русский человек по происхождению, но я люблю Россию. Это мое второе отечество, я много делал и делаю для России. Я с гордостью ношу чин статского советника и убежден, что среди истинно русских таких горячих патриотов, как я, честное слово, немного. Итак, значит, в принципе мое предложение вам улыбается и вам надо подумать, взвесить, так я вас понял?..

– Вы меня поняли правильно. Кстати, один вопрос, чисто технический. Допустим, – я ничего не сказал, – но допустим, я согласен, в какой срок я должен мобилизоваться и уехать?..

– Я думаю, чем скорее, тем лучше и даже наверное – лучше.

– Теперь дальше, я знаю, что в смысле выезда за границу мне чинились бы препятствия паспортного характера. По закону я имею право на совершенно свободное передвижение, но у нас закон и произвол так тесно переплетаются... Я уже пытался и знаю... Меня измучили бы всего, пока я, наконец, добился бы заграничного паспорта. Согласитесь, это с вашим «чем скорее, тем лучше» плохо вяжется.

– Ах, вот в чем дело. Да ведь это же сущий пустяк! – обрадовался Юнгшиллер, в этой радости своей забывший всякую осторожность, – заграничный паспорт, ничего не может быть легче! Мы его в двадцать четыре часа устроим через мадам Лихолетьеву.

– Через Елену Матвеевну?

– Да, да, натурально, через Елену Матвеевну. Она так сделает, – Юнгшиллер понизил голос, – что вы как удто бы едете в Австрию в целях тайной контрразведки... пропуск, пропуск или паспорт, это все равно, будет выдан на какое-нибудь чужое лицо. Вы сами знаете по генеральному штабу, что специалисты по тайным контрразведкам большей частью работают под «псевдонимом»...

Юнгшиллер осекся, умолк, сообразив, – эта мысль его холодком обдала, – что взболтнул, и даже очень, лишнее, сорвалось же у него имя Лихолетьевой, которую Загорский знает, несомненно знает, сам же поспешил назвать Еленой Матвеевной.

И в досаде на себя Юнгшиллер откусил кончик сигары. Он с удовольствием сделал бы это самое с кончиком своего длинного языка.

Дмитрий Владимирович, забыв о присутствии хозяина, смотрел вдаль, поверх лип и берез, где в лучах заката догорала тускнеющим пламенем река. Потом, сощуриив немного близорукие глаза, поднес к ним кисть левой руки с часами-браслеткой.

– Мне пора...

– Уже так скоро? Я велю подать машину. Вообще, милости просим, когда вздумается. Вот карточка. Позвоните по любому из этих четырех телефонов, два здесь, два – городские. Прямо на стол, в «башню». Позвоните, и я пришлю за вами автомобиль. Когда... когда можно рассчитывать на ваш окончательный ответ?..

– Недельный срок даете?

– Самый крайний срок?

– Через восемь дней я поставлю вас в известность.

– Пусть будет – да! Это в ваших же интересах, Дмитрий Владимирович...

Юнгшиллер проводил гостя до самой машины и собственноручно захлопнул дверцу. Этой чести по адресу человека, вышедшего из тюрьмы, Юнгшиллер не оказывал посещавшим его действительным тайным советникам и адмиралам. Оставшись один, Юнгшиллер побранил себя за излишнюю откровенность. Побранил и, как человек, уверенный в себе и в том, что все, что он делает, хорошо, тотчас же успокоился.

Загорскому смысла нет никакого болтать. Зачем? Для них он умер, они его выбросили за борт, и теперь он весь – одна «оппозиция». Но если бы даже и проговорился, кто ему поверит? Ганс Юнгшиллер считается в двадцати миллионах, а такие люди – уже вне всяких подозрений.

Он вызвал по телефону «Семирамис»-отель и попросил соединить себя с номером аббата Манеги.

А Загорский, откинувшись на кожаные подушки, мчался по направлению к городу. Мелькали мостики, мосты, деревья, пешеходы, гудящие сиренами автомобили, экипажи. Сумерки, прозрачные, бессонные, уже переливались в белую ночь...

Кто-то узнал Загорского, поклонился, но Загорский не заметил. Он думал о своей беседе на балконе Юнгшиллера. Сам Юнгшиллер не особенно удивил его. Он знал, что большинство живущих в России австро-германцев, и богатых и бедных, совмещают со своим явным занятием и ремеслом еще и тайное политическое служение своему фатерляиду. Знал, и почему же этот Юнгшиллер, так прочно осевший на берегах Невы, должен явиться исключением? Но вот что удивило Дмитрия Владимировича – это имя Елены Матвеевны Лихолетьевой. Неужели, неужели какие-то загадочные темные щупальцы протянулись между нею и этим «русским патриотом», а следовательно, и со всеми теми, кто с ним заодно? Это, это уже совсем дело дрянь...

Высокая, видная, с белым, бледным какой-то восковой бледностью лицом, она была бы даже красива, не порти отчасти ее большой нос. Бывают крупные, породистые носы, и тогда – совсем другое впечатление. Но у Елены Матвеевны большой – и только, без всякой породы.

Она вся холодная, в манерах, обращении. Холодное, малоподвижное лицо. Какая-то белая маска. И глаза холодные, ничего в них не прочтешь, кроме эгоизма бездонного и культа своего собственного я, своего тела, всего, что близко связано с нею, Еленой Матвеевной Лихолетьевой...

В силу положения своего супруга Лихолетьева имеет право считаться дамою общества, если не замкнутой родовой, то, во всяком случае, бюрократической знати. Но и в этом чисто петербургском кругу, где все более или менее знают друг друга, она явилась пришелицей, новой, никому не ведомой пришелицей из глухой провинции...

Однако в известном такте и в умении жить ей нельзя отказать. Она не лезет, подобно другим дамам-выскачкам, туда, где ее могут осадить и щелкнуть по носу. Честолюбивая, властная Елена Матвеевна сама хочет быть центром. И достигла этого. Сиятельные дамы, говорящие о ней в своих салонах с оскорбительной гримасой снисхождения, хлопчут у Елены Матвеевны за своих племянников, сыновей, братьев.

Говорят, она обделывает всевозможные дела за спиной своего ничего не подозревающего, влюбленного в нее мужа. Говорят, она не жалуется просителей с пустыми руками и к ней знают дорогу, и верную, крупные подрядчики, поставщики и просто «комбинаторы» высокого полета.

Все это вспомнил дорогой Дмитрий Владимирович. В дни своего «блеска» он встречал Лихолетьеву. Но хотя он был молодым офицером в небольших чинах, ему и его жене открыты были те двери, что плотно, раз и навсегда, закрылись перед Еленой Матвеевной.

Он встречал ее в том переходном обществе, которое само себя называет «великосветским» и которое комплектуется из сыновей выслужившихся чиновников и офицеров гвардейских частей посромнее. Лихолетьева дальше этого слоя не поднималась, Загорский же, наоборот, лишь время от времени снисходил к этому кругу.

Он вспомнил – это было около трех лет назад – один полукутеж, полупросто ужин в отдельном кабинете «Медведя». Было несколько однополчан Загорского, и в их компании очутился германский военный агент. Всегда напыщенный, высокомерный полковник, с пробором через всю голову, быстро охмелел от двух-трех фужеров шампанского и, подсев на диван к Загорскому, начал выбалтывать о существовании двух квартир, на Лиговке и на улице Гоголя, где можно покупать русские политические секреты. Военный агент уронил при этом имя Лихолетьевой.

Тогда Загорский решил, что пьяный немец мелет вздор. Но теперь, вспомнив другого «немца», Юнгшиллера, мало-помалу пришел к заключению, что здесь, пожалуй, где-то близко таится правда.

Кстати, вскоре после того ужина военный агент был отозван в Берлин. Случайное совпадение или германское посольство поспешило убрать не в меру словоохотливого полковника, – кто его знает?

...Загорский тянул со своим ответом. Юнгшиллер дважды звонил к нему в банк, Загорский отговаривался недосугом, просил повременить.

Минула неделя, другая, третья... Дмитрий Владимирович виделся почти ежедневно с Забугиной, но так и не рассказал своего приключения. И вспомнил об этом лишь ночью, когда они возвращались домой с прогулки, а маленькие газетчики бегали по всем направлениям, сбывая проходим свой сенсационный товар о катастрофе в далекой столице Боснии.

Загорский вкратце описал Вере Клавдиевне свое посещение «Виллы-Сальватор». Девушка была возмущена.

– Негодяй, как он смел предлагать вам измену? Вы, такой самолюбивый, гордый, вам следовало его оскорбить, ударить!..

– Он думал, что я продаюсь и меня, «бывшего человека», можно купить. Он учел «внешность», но не учел психологии. Конечно, я мог бы его оскорбить, ударить, швырнуть вниз с балкона. Мог бы, но – к чему? С такими типами, как Юнгшиллер, не считаются. Оскорбление не достигло бы цели, потому что он ещо не почувствовал бы, или разве только физически. Но я вспугнул бы его, а так у меня будет возможность понаблюдать, поразузнать... Я уверен, что этот благотворитель и «без пяти минут генерал» – темная каналья и его «Вилла Сальватор» является штаб-квартирой, вернее, одной из штаб-квартир немецкого шпионажа в Петербурге. Мне все подозрительно теперь. Все – и пристань с моторными лодками, и башня, и голуби что с таким приятным шелковым, шелестом крыльев носятся над конюшней и садятся на плечи конюхам настолько они ручные. Моя подозрительность идет дальше... Вы думаете, что я, фантазирую в эту белую ночь, но, право же, сопоставьте такое нетерпеливое желание этих господ видеть меня на австрийской службе с убийством эрцгерцога, убийством, в котором мне чудится первое зарево пожара, могущего разрастись до чудовищных, необъятных размеров...

– Вы фантазируете, а мне жутко, – молвила тихо Забугина и, во власти нарисованной Дмитрием Владимировичем картины, прижалась невольно к нему, и он почувствовал ее всю, близко, близко почувствовал, хрупкую, женственную.

Они шли через мостик. Внизу, в гранитных берегах отливала тусклой свинцовой гладью застывшая вода, отражая в себе, как в зеркале, опрокинутые громады каменных домов, тающих в прозрачной, белесой, тоскующей дымке...

14. Грезы банкира

Банкир Мисаил Григорьевич Айзенштадт и супруга его Сильфида Аполлоновна жили душа в душу. Настолько душа в душу, что самым серьезным образом обсуждали вопрос относительно «содержанки» Мисаила Григорьевича. Супруги пришли к заключению, что Мисаил Григорьевич настолько богат, настолько известен всем и вся в Петербурге и даже за пределами обширного отечества, что не иметь содержанки ему – это уже совсем дурной тон.

Честолюбивая Сильфида Аполлоновна принимала этот назревший вопрос, пожалуй, гораздо ближе к сердцу, нежели сам Айзенштадт.

Совещание – в громадном кабинете банкира, где все давит своей тяжеловесной монументальностью, все, за исключением хозяина, юркого, маленького, с изрядным животиком, потому что какой же порядочный банкир мыслим без животика?

Правда, за последнее время создалось новое поколение банкиров, сухощавых, бритых, с лицами не то благовоспитанных каторжников, не то английских спортсменов.

Но почтеннейший Мисаил Григорьевич никаким спортом, кроме биржевого, не занимался, и зачем, спрашивается, ему сухощавость? Наоборот, он искренне сетовал, что. фигуре его недостает солидности. Прибавить ему еще два вершка и пуд весу, и было бы совсем хорошо.

Что до роста, здесь, увы, ничто не поможет, хотя есть какие-то шарлатаны открытой сцены, произвольно «увеличивающие и уменьшающие свой рост», но вот касательно лишнего пуда – это, как говорится, дело наживное.

Итак, в кабинете с министерским письменным столом, величиной с добрый бильярд, и с кожаными креслами с высоченными спинками, – с места не сдвинешь, – происходил семейный совет.

Мисаил Григорьевич был вообще нежный супруг, а тут Сильфида Аполлоновна мудрым женским тактом своим окончательно умилила его.

– Сильфидочка, божество мое, иди сядь ко мне на колени...

Сильфида Аполлоновна, – вот кто был монументальным существом совсем уж в тоне и духе с этим кабинетом-гигантом, – рослая, мощная, с формами рубенсовских женщин и даже сверхрубенсовских, – она в своих очень тяжелых, очень дорогих и очень безвкусных парчовых и расшитых золотом платьях, с целым ювелирным магазином на голове, на тучной короткой шее и на груди напоминала какое-то буддийское божество, сплошь изукрашенное драгоценными камнями.

Такое великолепие допускалось хотя и весьма часто, – Айзенштадты вели жизнь шумную, светскую, – но лишь в соответствующих случаях. В балете, на званых вечерах, раутах, – либо в гостях, либо в своем собственном особняке.

Сильфида Аполлоновна появлялась вымытая, надушенная, с целым вавилонским столпотворением на голове – творчество искусных пальцев француза-парикмахера.

Будучи женщиной в высшей степени добродетельной, никогда и в помыслах не изменившей мужу, которого она боготворила, Сильфида Аполлоновна имела невинную слабость – оголяться. Глубокий вырез и на груди, и на спине. Но так как спина этой рубенсовской банкирессы была жирна и вздувалась горбом, то походила на грудь. Это обстоятельство ввело как-то раз в заблуждение весьма элегантного и весьма близорукого молодого человека. Он разлетелся к ручке Сильфиды, но разлетелся не с той стороны, с какой это обыкновенно полагается... Убедившись в своей ошибке, молодой человек пришел в немалый конфуз. Вертевшийся тут же Мисаил Григорьевич нашел ключ к избежанию впредь подобных недоразумений.

– К моей жене надо подходить с той стороны, где брошь! Перед там, где брошь...

Действительно, на груди Сильфиды Аполлоновны путеводной звездой сияла всех и вся издали ослеплявшая громадная бриллиантовая звезда, такая громадная, любому сановнику в пору повесить на грудь.

– Сильфидочка, ну, садись же...

Сильфида Аполлоновна в красном затрапезном капоте, не успевшая умыться и причесться, осторожно опустилась на колени супруга всей своей тяжестью. Бедный Мисаил Григорьевич утонул весь под этим рыхлым, свободным от корсета и платья-кирасы телом.

Он застонал. Физическая боль победила нежное чувство.

– В тебе семь пудов, ты была бы, наверное, хорошей борчихой. Дядя Ваня охотно ангажировал бы тебя в свой международный чемпионат и рекламировал бы Тетей-Пудом... Нет, шутки в сторону, тебе, как ты себе хочешь, необходимо немножечко похудеть.

– Мисаил. Это мое больное место. Ко мне ходит каждый день массажистка, а уходит она измученная!..

– Измученная? Что значит? Нанимай двух массажисток, денег жалко, что ли? А самое лучшее, если ты начнешь ходить к мадам Карнац. Это хороший тон – бывать в институте мадам Карнац. Там бывает много клиенток из нашего общества. Она тебе что-нибудь выдумает, и ты похудеешь. Но вставай, Сильфидочка, или ты меня раздавишь...

Сильфида Аполлоновна пересела на другое кресло.

– Ну, а теперь будем обсуждать. Итак, – продолжал Айзенштадт, – мне нужна содержанка. На ком бы остановить свой выбор? Что ты скажешь про Холодцеву?

– Фе, Мисаил! Где у тебя твоя гениальная голова? Холодцева, правда, еще до сих пор одна из красивейших женщин в Петербурге, но не та марка, не та. Когда с ней жил принц крови, иметь ее на содержании было бы шикарно. Я бы не сказала ни слова, но теперь! Теперь она путается, говорят, с каким-то жидом...

– Ты имеешь свой резон, Холодцева – не дело для меня. Ну, тогда кого же? Вот разве оперная Ковалева? Классная женщина, шикарная женщина! Только ее нет здесь. Она в Париже и в третий раз вышла замуж за какого-то дурака. Не могу же я иметь с ней сношение на таком большом расстоянии.

– Постой, постой, Мисаил, а что ты скажешь на Искрицкую?

– О, вот это я понимаю! Вот это я понимаю! – привскочил в кресле банкир. – Теперь это самая модная женщина в Петербурге. Ею только и держится оперетка, на нее ходят, на нее смотрят, ею любят. О, это как раз то, что мне нужно!

– Но она живет с каким-то Корещенко?..

– Во-первых, совсем не с каким-то... Имей в виду, у этого Корещенко три-четыре миллиона, хорошеньких, чистеньких, как стекло! А во-вторых, что значит живет? Я же с ней жить не собираюсь, она мне нужна для рекламы. Я буду с ней кататься, иногда ужинать. Пускай говорят, пускай, что и требуется доказать! А если она живет с ним, – нехай живет! Только бы не очень афишировали себя, а для меня это еще лучше – дешевле! Я положу ей две тысячи рублей. Кажется, довольно, чтобы нас иногда видели на людях и чтобы о нас говорили. Ну, значит, мы принципиально остановились. Теперь дальше: уже лето, что мы делаем летом? Надо успеть показаться в Кисловодске, в Ялте, пожить здесь где-нибудь на даче. Потом Лидо, Карлсбад и к осени – Биарриц. Когда это мы все успеем? А надо успеть, чтоб нас везде видели.

– Это ужасно! – вздохнула Сильфида Аполлоновна, тяготеющая к сидячей спокойной жизни, не в пример своему живому, энергичному, постоянно в движении супругу.

– Что делать, Сильфида? Шапка Мономаха! Мы должны ее носить, как бы это ни было подчас тяжело: Да, я упустил из виду – Париж! Там надо будет недельки на две показаться в сезон русских спектаклей в Елисейском театре, и, кроме того, мои личные дела потребуют Парижа.

– Хорошо, – кротко согласилась жена, всегда и во всем соглашавшаяся со своим мужем, который был для нее оракулом.

– Теперь дальше. Знаешь, какая пришла мне в голову мысль?..

– Какая?

– Нам пора тобою переменить фамилию.

– Что такое?

– Я говорю, надо переменить фамилию. Айзенштадт – звучит немного по-немецки. Надо что-нибудь русское.

Долго совещались и не могли ничего выдумать. Вдруг Мисаил Григорьевич просиял, хлопнув себя по лбу.

– Есть! Нашел! И как просто – Железноградов! Железноградов – это звучит и в этом что-то, знаешь, что-то церковное. Мисаил Григорьевич Железноградов, Сильфида Аполлоновна Железноградова.

– Мисаил, это гениально! – воскликнула жена.

– А ты думаешь? погоди, это еще не все. Камергер его святейшества папы римского Мисаил Григорьевич Железноградов! Что, разве плохо? Кстати, я получил письмо из Рима от аббата Манеги. Солидный человек, деловой человек! Не успел приехать и уже написал. Будет сделано! Через каких-нибудь две-три недели твой супруг папский камергер. Надо будет перевести ему кое-что авансом. Знаешь, красивый, очень красивый мундир и два ключа с папской тиарой. Тогда я могу бывать на всех парадных приемах. Это уже почти, как если бы я находился в Дипломатическом корпусе. А чтобы совсем принадлежать к дипломатическому корпусу, ничего не может быть легче. Тоже придется заплатить. Я могу сделаться местным консулом какой-нибудь южноамериканской республики, и тогда у меня будет еще один мундир. Я могу их менять, сегодня – в одном, завтра – в другом. Ну, есть же там малюсенькие такие республики. Что им мешают, если я буду их представителем в Петербурге? Кому от этого убыток?

– Решительно никому!

От удовольствия, что муж ее будет совмещать в особе своей папского камергера с консулом южноамериканской республики, она стала такой же пунцовой, как и ее капот.

А Мисаил Григорьевич подлил масла в огонь:

– Иногда я могу сажать на козлы кареты или машины выездного лакея – они называются егерями, в ливрее с кортиком и в треуголке с перьями.

– А у кучера будет расшита спина золотыми углами? – подхватила Сильфида Аполлоновна.

– Натурально же будет! Иначе нельзя. Что полагается, то полагается! Божество мое, Сильфидочка, ты моя семипудовая, надо уметь жить! Денег одних еще мало. Нужно иметь еще на плечах голову. Итак, Искрнцкая, ключи с папской тиарой, егерь с петушиными перьями и кучер, у которого будет золотая спина...

Айзенштадт появился на петербургском горизонте недавно, лет восемь-девять назад. Он приехал из какого-то южного города, Балты или Тирасполя, а может быть, Херсона, Николаева и даже Екатеринослава. Но не все ли равно, какой из этих городов будет оспаривать честь называться родиной Мисаила Григорьевича Айзенштадта, камергера при ватиканском дворе и консула какой-нибудь экзотической республики, а главное – талантливейшего банкира, сумевшего из ничего создать миллионы?

В бытность свою гимназистом последнего класса Айзенштадт занимался репортажем в местной газете. Он выдвинулся, и тогда уже говорили:

– О, этот мальчик пойдет далеко!..

Приехал в город новый архиерей, человек нрава сурового и мало доступный. А редактор, хоть умри, да подай беседу с его преосвященством.

Трех интервьюиров не принял архиерей. Четвертым вызвался Айзенштадт. Все сулили ему провал.

Через полчаса гимназист ушел обласканный и с материалом на сто пятьдесят строк.

– Чем ты обворожил его? – спросил редактор, говоривший своим сотрудникам «ты».

Юноша торжествующе усмехнулся.

– Я ему с места в карьер заявил, что хочу креститься в православие.

Это свое желание Мисаил Григорьевич осуществил много лет спустя, предварительно, однако, испробовав лютеранство.

Достигши денег и власти, той власти, которая дается деньгами, он решил завести свою собственную газету. Но пока что это было в туманных грезах, более туманных, чем грезы о красивых мундирах и ключах с папской тиарой.

Мисаил Григорьевич любил обращать на себя внимание. Он громко смеялся, громче, нежели это вообще полагается. В театр, на благотворительный концерт, в балет он всегда умышленно опаздывал, появляясь с шумом и треском. Чем больше голов поворачивалось в его сторону, тем лучше достигалась цель.

Кто-то когда-то и где-то бил его. А может быть, не раз били, а может быть, и никогда этого не случилось. Но так ли, нет ли, ходил по городу анекдот, сочиненный врагом Айзенштадта миллионером Иссерлисом.

Будто бы спрашивают Айзенштадта:

– Мисаил Григорьевич, правда, что вас однажды всю ночь колотили?

– Когда это было?

– Говорят, в мае.

– В мае? Что вы хотите, какая же это ночь в мае? Совсем коротенькая!..

Айзенштадт знал и про этот анекдот и про многие еще, гулявшие по его адресу, но и в ус не дул себе. Пускай болтают, брань на воротах не висит и от слов ничего не станется.

Да еще и не было времени вдаваться в пересуды о нем. Кроме живейшего участия в собственном банке, он был деятельным участником разных финансовых и промышленных акционерных предприятий. Он был членом-соревнователем «Палестинского общества», интересовался детскими приютами, участью балканских славян. Где уж тут думать о сплетнях, распускаемых «друзьями», и в том числе Иссерлисом.

– Ах, этот Иссерлис! Нет-нет и, глядишь, станет поперек дороги...

15. Перед грозой

Одну из самых маленьких, самых дешевых комнат в «Северном сиянии» занимал студент Политехнического института Милорад Курандич.

Лицо – смуглое, типичное южнославянское лицо. Взгляд больших темных глаз – горячий. Крупные, резкие черты.

Милорад Курандич – серб. Для студента вовсе не так уж молод. Тридцать четвертый год пошел.

Он высок, широкоплеч. Сильному, хорошо сложенному сербу тесно в скромном студенческом пальто не первой новизны и свежести.

Загорский случайно разговорился в коридоре с Курандичем, а потом Курандич позвал его к себе как-то вечером. Загорский шел к студенту без всякого интереса. Ничего не ждал от беседы и впечатлений.

Балканы и «все эти братушки» чем-то серым, скучным и тусклым рисовались бывшему гвардейцу.

Ему предлагали поехать военным агентом в Болгарию, но Загорский отказался самым решительным образом.

– Вот еще – удовольствие! Жить в какой-то захолустной дыре и нюхать чесночный запах этих немых братушек...

Болгары, черногорцы, сербы и даже румыны и греки были в его представлении каким-то человеческим «винегретом», грязным и диким, с той лишь разницей, что одни – гешефтмахи и плуты, другие – играют на скрипках в белых фантастических костюмах, третьи – водят ученых обезьян, а четвертые – режут в своих горах албанцев и турок.

Так думал Загорский с высоты своего европеизма и «предубежденный» пошел к Милораду Курандичу.

В продолговатой комнате клубился табачный дым. Хозяин – в куцей, затрапезной куртке. Она еле-еле сходилась на широких плечах, на выпуклой груди. Большим, сильным рукам было тесно в коротеньких рукавах.

Вот они вдвоем, эти совсем, совсем разные люди, хотя и тот и другой – славяне. И оба наблюдали друг друга. Загорский – незаметно холодно, с манерой воспитанного, сдержанного человека. В темных горячих глазах серба откровенно вспыхивало явное любопытство. Ему никогда не приходилось видеть так близко, а тем паче у себя, такого изысканного барина, породистого, бритого, с безукоризненным пробором и холеными пальцами – ноготок к ноготку, – лощеные, розовые, обточенные.

С первых же слов коснулись минувшей балканской войны.

Загорский узнает, к своему удивлению, что Курандич принимал в ней участие, как офицер, командовал ротой.

– Позвольте, господин Курандич, в каком же вы были чине, капитанском?

– Да. Я теперь капитан. Я отправился, на войну отсюда же, из Петербурга, подпоручиком запаса и вот за четырнадцать месяцев дослужился, вернее, довоевался...

– Но как же это... как совместить? – сделал Загорский плавный широкий жест, пояснявший его недоумение, – как серб мог совместить капитанство свое с этой студенческой богемой?

Курандич пожал плечами.

– Родина была в опасности. Я – серб, и я исполнил свой долг – воевал! А когда во мне, как и во многих других товарищах, миновала необходимость, я вернулся к прерванным студенческим занятиям.

– Но ведь вы же капитан, вы могли остаться на действительной службе, получать жалованье, делать карьеру?

– Зачем? Я не милитарист. Военная карьера, как таковая в смысле «мирном», никогда не удовлетворила бы меня. Мне предлагали остаться, предлагали командовать батальоном с производством в майоры, но я отказался.

– Странно. Необычно и странно...

– Странно потому, что вы нас не знаете. Мы, сербы, – демократическая страна, с демократической армией. «Мундир» не многих интересует. Наш офицерский корпус – это не каста, подобно тому, как в других милитаристических странах, например в Германии. Кончилась война, и я приехал сюда оканчивать институт, буду учиться, работать. Но, знаете, какая моя заветная мечта? Я вам скажу... – Дожить когда-нибудь до войны с Австрией. Где бы я ни был, я на крыльях, кажется, прилетел бы в Сербию, чтобы принять участие! С ненавистью дрался я против турок, с еще большей ненавистью против болгар, но в борьбе с австрийцами, чувствую, превратился бы в лютого зверя... О, я припомнил бы им и Боснию, и Герцеговину, и угнетение наших братьев по ту сторону Савы и Дрины. Все вспомнил бы...

Курандич весь загорелся. Глаза блестели гневом и вызовом. Сжимались кулаки, и крупный подбородок вместе с массивными челюстями, казалось, готов был перекусить горло любому австрийцу, попадись он только сейчас!

– Теперь я уясняю себе ваши недавние победы, – молвил Загорский. – Если все ваши офицеры, как вы, – горе неприятелю! Пламенный патриотизм и ненависть к врагу способны оказывать чудеса даже в наши дни торжествующей техники.

– Мы все, как один! Все, от короля и кончая последним солдатом! Я вовсе не исключение, я один из четырех с половиной миллионов сербов.

– Вы имеете, без сомнения, боевые отличия, раз так быстро шли в чинах?

– Вот мой портрет, – и, вынув из письменного столика фотографический снимок, Курандич протянул его Загорскому.

Загорский с трудом узнал богему-студента в старенькой куртке в этом щеголеватом офицере. Двубортный мундир с твердыми капитанскими эполетами, высокая парадная меховая шапка с белым султаном и на груди четыре ордена.

– Четвертый – болгарский георгиевский крест за взятие Адрианополя, – пояснил Курандич. – Но в тот же самый день, как болгары предательски атаковали нас на Брегалнице, я сорвал его с себя...

Сощурившись, наморщив белый обширный лоб, Загорский что-то соображал.

– Окончательно вспомнил. Я видел этот самый портрет ваш во многих зарубежных журналах. Вы тот самый Курандич, который первым вошел в Адрианополь и взял в плен Шукрипашу?

– Это я, – смутившись, краснея, подтвердил студент.

– Вы – герой. Один из самых выдающихся на вашей родине! О вас много писали, ваши портреты обошли всю европейскую печать, а вы здесь сидите над книгами в этой маленькой комнате? Другой на вашем месте быстро пожинал бы лавры. Ничего не понимаю... Но, каюсь, вы перевернули вверх дном все мои представления в сербах и Сербии. Простой, глубокий и вместе с тем такой прекрасный патриотизм! Бесконечно трогает, бесконечно умиляет. Я сам здесь полон сейчас какого-то хорошего, бодрого чувства...

– Если бы вы, русские, знали хоть немного сербов, вас это не удивило бы. Но вы все свое внимание отдавали болгарам, будь они прокляты! – злобно и с горечью вырвалось у студента. – Нас же вы знать не хотели, мы для русских неведомой странной, вроде какого-нибудь племени Центральной Африки...

Вскоре после этой беседы телеграммы оповестили весь мир о сараевском убийстве. На другой день Загорский столкнулся у подъезда меблированных комнат с Курандичем. Это был другой, парадный Курандич, в мундире, с орденами, в головном уборе с белым султаном, при сабле и в коротком черном плаще. Молодецкая выправка, воинственный вид и в темных глазах

какой-то хмельной огонек. Трезвое опьянение чем-то большим-большим, нахлынувшим так внезапно...

Он стиснул руку Загорского.

– Только что из нашего посольства! Война между нами и Австрией неминуема. Завтра выезжаю в Сербию через Румынию. Это убийство – провокационное. Виновников надо искать в Берлине и в Вене. Предлог для нападения на Сербию. Но Сербия – это балканский еж, который сумеет оцетиниться полумиллионом штыков... До свидания, спешу собраться. Помните наш разговор?.. Кто бы думал? Но их политика ясна: броситься на Сербию, пока мы не успели отдохнуть и собраться с силами после трех войн. Пишут австрийцы, что мы убили эрцгерцога. Какой вздор! На черта, спрашивается, нам, сербам, голова этого болвана!.. Всего лучшего... Сегодня или завтра мы еще увидимся.

И, гремя саблей, Курандич вбежал в подъезд.

Но ни сегодня, ни завтра им не удалось увидеться. Курандич так и уехал, не простившись. И только спустя много-много времени судьба неожиданным, почти сказочным броском столкнула этих двух людей при необыкновенных обстоятельствах. Когда и как это случилось, мы скажем в свое время.

Сараевская катастрофа повлекла за собой невообразимую панику на бирже, в банках и в промышленно-финансовых сферах. В первые дни самые находчивые головы растерялись. Никто ничего не знал толком, и поэтому всем самые кошмарные ужасы мерещились. Никто не верил в мирный исход конфликта, и в револьверных выстрелах Принципа на Сараевской улице все угадывали сигнал к чему-то громадному, пугающему, кровавому, о котором лучше не думать...

На бирже ценности летели вниз с головокружительной сумасшедшей быстротой. Банки отказывались выдавать вклады. Летний тираж газет сразу увеличился вдвое и даже больше. И утром и вечером петербуржец всех рангов, положений, сословий и возрастов жадно кидался к газетам, ища свежих телеграмм, новостей, откровений. Каждый по-своему переживал эти нервные дни.

Мисаил Григорьевич Айзенштадт волосы рвал на себе, зачем поспешил с переводом аванса в сто тысяч рублей Манеге. Заварится каша, и кто его знает: в числе друзей или врагов по отношению к России очутится Ватикан? И если в числе врагов – прощай камергерские ключи с папской тиарой, потому что – Мисаил Григорьевич был и останется русским человеком. Кстати, русским... Необходимо теперь, в особенности ввиду самых неожиданных перспектив, скорей хлопотать о превращении Айзенштадта в Железноградова.

Кипучую деятельность проявлял Юнгшиллер. Метался по городу, посылал много телеграмм куда-то и сам получал таковые из Берлина, Будапешта и Вены. Дважды обедал у него барон Шене фон Шенгауз, и они подолгу сидели вдвоем, а затем Юнгшиллер отвозил молодого человека в город на моторной лодке...

Вообще автомобили и моторные лодки владельца «Виллы-Сальватор» не стояли без дела, всюю работая.

Одна из этих лодок высадила раз ночью на пристань виллы высокую даму под густой вуалью. Ее поджидал хозяин с каким-то господином в котелке. И они долго совещались втроем, запершись в кабинете Юнгшиллера. Были приняты меры, чтобы ни дамы под вуалью, ни господина в котелке никто из прислуги не увидел.

Юнгшиллер встретил и проводил таинственную гостью. Уехали втроем: дама под вуалью, господин в котелке и Юнгшиллер. Сидя у руля, он ловко правил мчавшейся вдоль реки изящной, как дорогая игрушка, лодкой. С шумом рассекала она сонное зеркало воды, оставляя за собой длинную-предлинную борозду.

– Велика скорость? – спросил по-немецки господин в котелке.

– Тридцать узлов в час, – ответил согнувшийся над рулем Юнгшиллер, – самый быстроходный крейсер не обгонит нас. Но, говорят, «истребители» моего соседа Корещенко, истребители, – до которых мы никак не можем дотянуться, будут иметь тридцать пять узлов...

– За этого Корещенко надо взяться как следует, я вижу, что Шацкий болтун! Много мелет языком, но мало делает.

Спали низкие берега в зелени и в постройках. На фоне бледнеющих небес поднимались фабричные трубы темно-коричневых зданий. Все это оставалось позади. Лодка, нырнув под Самсоньевским мостом, низала широкий простор Невы.

Юнгшиллер высадил спутника и спутницу в разных местах. Господин в котелке взял извозчика и поехал в «Семирамис»-отель. Дама под вуалью тоже взяла извозчика, но на углу Кирпичного и Мойки слезла и двинулась пешком. Подойдя к двухэтажному казенного типа дому с двумя подъездами, большим и малым, она не позвонила у большого, а открыла американским ключом боковую маленькую, почти незаметную дверь.

В этот момент вернулся на свой пост верзила-городовой. Увидев даму – нужды нет, что он увидел только ее спину, – городовой вытянулся и, обалдевая соляным столбом, отдал честь...

16. Король Лузиньян

Одинокó жил, вернее, угасал в меблированных комнатах «Северное сияние» Галеацо ди Лузиньян, король Кипрский.

Лет сорок пять назад имя его повторялось мужчинами с завистью, дамами с восхищением. При дворе Наполеона Третьего и Евгении король Кипрский был самым элегантным кавалером. Но это не был петиметр и шаркун, это был настоящий король, с гордой, величавой осанкой. Рядом с ним бледнела незначительная фигура Наполеона, императора французов.

В сущности, в том, что король Кипрский, старый, всеми покинутый, вернее, основательно всеми забытый, разорившийся, угасал в меблированных комнатах на Вознесенском, угадывалась какая-то жестокая и логическая в то же время – логика бывает сплошь и рядом жестокой – последовательность.

Для династии Лузиньянов, на протяжении многих веков лишенных трона, собственной территории и подданных, лишенных всего, за исключением громкого титула, для этой скитальческой династии весь Божий свет, выражаясь фигурально, был «меблированными комнатами».

Шестьсот лет династия не знала никакого оседлого пристанища. Лузиньяны женились на принцессах крови владетельных домов, принцессы Лузиньянского «дома» выходили за чужих принцев и герцогов. Но все же не было в этом ничего, кроме внешнего декоративного блеска.

Лузиньяны пользовались гостеприимством старых замков Италии, Франции, Австрии, Испании. Но опять-таки эти готические, уцелевшие от феодальных времен, с музейным убранством замки являлись в конце концов «меблированными комнатами». Королевский размах, королевские аппетиты, но не было надлежащих средств, в замки со всем своим инвентарем переходили в руки заатлантических миллиардеров, европейских банкиров и негоциантов побогаче и потщеславней.

А Лузиньяны скитались по белу свету, сорили чужими деньгами, – товарищеские субсидии – подачки дружественных и родственных дворов, – носили красивые мундиры чужих армий, – чужих дипломатических корпусов, сражались под чужими знаменами, отстаивали интересы чужих кабинетов.

Какое-то заклятие дамокловым мечом тяготело над этой древнейшей в Европе династией.

Случалось, вот-вот, глядишь, улыбнется счастье, вот-вот настанет конец вечным скитаниям из одних раззолоченных «меблированных комнат» в другие.

Иногда владетельная родня устраивала кого-нибудь из Лузиньянов на маленький освободившийся или искусственно созданный трон. В перспективе – несколько сот тысяч подданных, власть, корона, собственный гофмаршал, собственные генералы, собственная армия, для которой уж «создавалась» форма.

Но или в самый последний момент на вакантный трон садился кто-нибудь из более влиятельных претендентов, или маленький, но свободолобивый народ, не желая никаких монархов, объявлял у себя республику, или, наконец, Лузиньяны, и двух-трех дней не процарствовав, частью изгонялись новым народом своим, частью – и того хуже – были казнимы революционной толпой.

Последнему Лузиньяну, о котором докладывал развязный Дегеррарди аббату Манеге, повезло больше всех его предшественников.

В конце шестидесятых годов императрица Евгения, благоволившая к Иерусалимскому и Кипрскому королю, устроила его в одну из маленьких южноамериканских республик. Он поехал туда как на пикник, веселый, беспечный вдовец, со свитой из нескольких титулованных искателей приключений, уже получивших разные почетные должности при новом «дворе».

Короля с его свитой вез французский крейсер. Темно-смуглый, говоривший на испанском жаргоне народ маленькой прибрежной страны был верен королю своему до тех пор, пока стоял на рейде грозный крейсер с пушками, обращенными к столице. Этот медовый месяц продолжался в буквальном смысле слова четыре недели. Вспыхнула франко-прусская война, и крейсер поспешил на всех парах к берегам Франции, оставив тех, кого высадил на волю Божию.

Потомки испанцев, мулаты, метисы и кварталеры, взбунтовались, перебили свиту, почетную стражу, и переодетый король спасся чудом, бросившись в воду. На палубе испанского «купца» Лузиньян почувствовал себя в относительной безопасности.

Через два месяца, высадившись в Марселе, он, получив эскадрон «голубых» африканских стрелков, с отвагой дрался против немцев, был ранен и награжден командорским крестом Почетного легиона.

Единственный сын его, принц Марио, юношей погиб в восьмидесятых годах, сражаясь против зулусов.

Галеацо Лузиньян остался последним в роде королей Кипрских. С годами интерес к нему потускнел, притупился. Субсидии коронованных друзей становились реже, уменьшались. Ему нечем было жить, потому что он не знал никакого иного ремесла, кроме королевского. И этот беззаботный король, не умея «сократиться», начал делать долги. А когда изверившиеся кредиторы перестали ссужать его, стал нуждаться.

Он мог бы торговать орденами, потому что охотников до орденов, хотя бы и весьма экзотических, всегда тьма-тьмуца. Особенно среди банкиров, негоциантов-выскачков, биржевых дельцов, словом, людей, хотя и не артистических, но все же либеральных профессий.

Лузиньяны, короли без территории и подданных, сохранили, однако, за собою право, освященное веками, и это самое главное, признанное остальными державами, – награждать орденом «Блаженной Юстинианы».

Белый эмалевый, расцвеченный золотом крест на алой ленте – один из самых эффектных шейных орденов.

Король Кипрский с большим разбором, однако, жаловал орден «Юстинианы». Жаловал тем, кто, по его мнению, действительно стоил подобного отличия.

Но продавать за деньги крест «Юстинианы» отказался раз навсегда, считая это недостойным и низким.

Лет восемнадцать назад стариком, но все еще величественным былым красавцем, приехал король Кипрский в Петербург.

Пока он был внове и в моде, с ним охотно, а многие даже подобострастно и льстиво носились. На него звали гостей, как звали потом на аббата Манегу. Он украшал своей великолепной особой ужины, обеды. Сам же доедал свои последние крохи.

С годами он успел выйти из моды. Засверкали на горизонте другие звезды, более яркие. Он успел «надоеть».

Не потому, что король Кипра отличался назойливостью. Ничуть! Он быя горд, этот «король с головы до ног». И в самом деле, высокий и мощный, с серебряной густой бородой напоминал стареющего Лира. Но люди не прощают никому чрезмерного долголетия. Если человек, будь он даже и не простой смертный, зажил на грешной земле и не спешит переселиться в иной мир, о нем забывают, хоронят при жизни.

Так похоронил при жизни легкомысленный, изменчивый Петербург и короля Кипрского.

Глубокий-глубокий старик, блиставший в Тюильрийском дворце, выступавший в полонезе с императрицей Евгенией, желанный гость герцогских и королевских замков, месяц сидевший на троне южноамериканской республики, разбросавший не мало миллионов, догорал в меблированных комнатах на Вознесенском, наискосок Александровского рынка.

Он питался молоком и яичницей. Обедать в больших ресторанах не позволяли средства, вернее, всякое отсутствие их. Обедать в кухмистерских или столоваться в «Северном сиянии»

мешало брезгливое чувство. И он существовал яичницей и молоком. Дешево, натурально и, самое главное, чисто.

Король ни с кем не знакомился в своем общежитии. Ни с кем, за исключением Загорского и Веры Клавдиевны. Опытным глазом старик оценил и того, и другую, решив, что они «могут» быть людьми «его» общества.

Он мог говорить с ними по-французски, а с Загорским еще и по-итальянски.

Вера Клавдиевна относилась к нему заботливо. Как дочь относилась. Когда, мучимый подагрическими болями, старик бывал прикован к постели, Вера Клавдиевна и утром перед занятиями и после службы забегала к нему проведать, угостить чаем или кофе, которое сама варила.

Старика трогало такое внимание, до слез трогало, и он в шутку называл девушку «своей Корделией».

Загорский иногда проводил у него свободные вечера. Незаметно летело время. Король был для Загорского живой придворной летописью Европы нескольких десятилетий. О чем, о чем не рассказывал только седобородый старик... О своей дружбе с герцогом Омальским, сыном Луи-Филиппа, о том, как служил вместе с герцогом в колониальных войсках Алжира, о нравах при дворе Наполеона и Евгении, о своих отношениях с герцогом Морни и графом Валевским.

Не без юмора описывал последний Лузиньян свое четырехнедельное царствование в одном из приморских уголков Южной Америки. В его обрисовке вставала ярко вспышка революционеров, этот знойный буйный бунт знойных людей, кровавое восстание с пожарами, пистолетными залпами, резней...

От короля Загорский узнал некоторые любопытнейшие эпизоды франко-прусской войны, о которых никогда не читал и не слышал, хотя всегда интересовался военной историей вообще и семидесятым годом в особенности.

Сопровождались все эти описания документами, пожелтевшими бумагами, выцветшими фотографиями, нежными акварелями, тонкими миниатюрами на слоновой кости и пергаменте. Все, что уцелело от феерического прошлого и что сохранил последний из династии Лузиньянов в своей шаблонно обставленной мебелированной комнате.

С побледневших фотографий и акварелий то там то сям глядел король в разные моменты и периоды своей цветистой жизни. На одной акварели он был ангельской красоты ребенком в кружевах и батисте. На другой – бритым молодым человеком, одетым по моде конца сороковых годов. Высокое жабо, цветной фрак, панталоны со штрипками. Дальше идут группы, где он снят в обществе монархов и принцев... Одиночные снимки, представляющие Галеадо Лузиньяна то в итальянской, то во французской военной форме, то наконец в его собственной, сочиненной для южноамериканских подданных форме, которую он проносил месяц. Много шитья, золота, широкие лампасы. Вся грудь в иностранных орденах, звездах и треугольная шляпа с пышными перьями.

– Мундир, признаться, немного опереточный, – с улыбкой пояснял король, – но этих шафранного цвета дикарей надо было ударить по воображению... Ничего, кроме яркого и кричащего, эти господа не признавали...

Сблизившись с Загорским, Лузиньян полюбил его. Настолько полюбил, что в виде особенного благоволения предложил украсить его орденом «Блаженной Юстинианы».

Загорский благодарил. Отказаться было бы величайшей бестактностью. Он улыбался в душе, как улыбаются милой, наивной выходке симпатичного ребенка.

– Я напишу вам патент. Что же касается самого знака отличия, его, к сожалению, здесь не найти в Петербурге. Странный город, где вы не можете ничего достать! Надо написать в Париж, пусть вышлют.

Старик съездил на Невский, купил лист пергаментной бумаги и бисерным старосветским почерком составил французский патент, начинавшийся:

«Мы, Божию милостию король Иерусалимский и Кипрский Галеацо да Лузиньян, жалуем потомственного дворянина...»

Загорский молчал, бледный, с застывшим лицом. Зачем лишать старика удовольствия выдать этот, быть может, последний, даже наверное последний в его жизни орден? Зачем? Пусть забавляется король... Не сказать же ему:

– Остановитесь, ваше величество, я не потомственный дворянин, я – лишенный всех прав, я – человеческое недоразумение! К чему? Пусть будет одной иллюзией больше у старика. У него так мало осталось их – иллюзий...

17. Бандит в болгарском мундире

Аббат Манега спешно командировал Генриха Альбертовича Дегеррарди в Сербию. Настолько спешно, что этот усач с загримированным природою лицом не успел ничего узнать о Корещенке.

Тогда Манега сам вместе со своим зверинообразным албанцем, сидевший, как говорится, на чемоданах, вот-вот готовый покинуть Петербург, поручил Корещенку вниманию Евгения Эрастовича Шацкого, молодого человека в форме подпоручика болгарской конницы.

У него так и стояло на визитной карточке: «Евгений Эрастович Шацкий, подпоручик болгарской гвардейской кавалерии». Кое-где карточка производила впечатление. А, мол, наша Болгария, наши милые славянские братушки!

Военным Шацкий не давал этой карточки. Военные знали, что в Болгарии есть единственный гвардейский полк, носящий гусарскую форму, полк, являющийся как бы личную охрану Фердинанда Кобургского. Носатый болгарский царек любил называть этот полк «своими преторьянцами».

Шацкий же ходил не в гусарской, а в общекавалерийской форме.

Имелись у него еще визитные карточки, где к имени, отчеству и фамилии было прибавлено: «Журналист».

И «журналистика» Шацкого была под большим сомнением. Никогда нигде не работал он в качестве профессионала, для которого сотрудничество в газетах – кусок хлеба. У него были другие источники для добывания «куска хлеба» – очевидно, вкусного хлеба, с маслом.

Но в некоторых редакциях эта длинная фигура в темно-голубом мундире и в орденах появлялась довольно часто. Шацкий позванивая шпорами, не-то лукаво, не то загадочно улыбался костистым, бледным безусым, безбородым лицом, лил в себя стакан за стаканом сладкий, жиденький чай.

Подмигивая и как-то назойливо обнажая неровный хаотический частокол теснящих друг друга зубов, мешая сотрудникам работать, описывал он свои болгарские подвиги, украсившие его плоскую, узенькую грудь медалями и крестами.

В редких случаях Евгений Эрастович являлся в редакцию с материалом, и этот его «материал» всегда носил какую-то своеобразную окраску. Относился к нему редактор чуточку боязно, чуточку брезгливо, но материал, выражаясь языком газетчиков, всегда был «ударный». Либо полусекретные сведения, рядовому сотруднику недоступные, либо интервью с каким-нибудь «лицом», опять-таки для обыкновенных работников печати недостижимым.

Гастроли Шацкого оплачивались повышенным гонораром. Он получал его, но относился к нему презрительно.

– Четвертная бумажка за пятьдесят строк! Ерунда, поужинать раз, да и то не хватит! А в сущности, я на газеты плюю. Так, лур пасе ле тан... Иногда что-нибудь возьму и напишу.

Этот всюду примелькавшийся болгарский мундир любил тереться за кулисами оперетки и фарса. Владелец его был на «ты» с актерами и, не постучавшись, лез в уборные одевающихся артисток. Красивые, загримированные женщины вместо того, чтобы послать его ко всем чертям, улыбались!

– В газетах пишет!

Шацкий позвонил туда-сюда в телефон, и через несколько минут знал, что мастерская Владимира Васильевича Корещенка, где он проводил весь день, находится за городом, в близком соседстве с «Виллой-Сальватор». Шацкий, плюхнувшись в грязно-фисташкового цвета дребезжавшее такси, поехал на острова. Улица, обсаженная березками. Деревянные и каменные дачи. Мостик. Еще мостик. Железная решетка, и за нею, в глубине двора, большой дере-

вянный павильон с раскрытыми настежь широкими створчатými дверями. Доносится пытящий шум электрических двигателей.

Стоп! Шацкий, придерживая саблю, пересекал двор журавлиным шагом тоненьких длинных ног в синих галифе и высоких сапогах со шпорами. Сияло солнце, ветерок играл листвою деревьев. За павильоном трепетал флаг на башне «Виллы-Сальватор».

Шацкий вошел в мастерскую. Увидел чью-то спину в синей блузе. Спину, склонившуюся над пущенным в движение станком.

Евгений Эрастович громко откашлялся, и тогда человек в синей блузе повернулся к нему лицом, некрасивым молодым лицом скорей брюнета, чем шатена. И Шацкий с удовольствием отметил, что у этого чудака-миллионера с покрытыми копотью и металлической пылью руками такие же неровные, кривые, цепляющиеся друг за друга зубы, как у него, Шацкого.

«Вырожденец», – подумал Евгений Эрастович и спросил:

– Я имею удовольствие видеть Владимира Васильевича Корещенка?

– Да, это я.

– Позвольте познакомиться: Шацкий – журналист.

В карих, немного наивных глазах Корещенка отразилось недоумение.

– Но ведь вы офицер? Это, кажется, не русская форма, хотя очень похожа на русскую. Звездочки на погонах другие.

– Болгарская! Ваш покорный слуга – подпоручик болгарской гвардейской конницы. Я поехал на войну охотником и заработал чин вместе с этим, – Шацкий небрежно коснулся своих орденов – на полях сражений. Я был произведен в подпоручики высочайшим указом самого царя Фердинанда.

– Так вы участник балканской войны?

– Да, могу сказать, пришлось поработать... Чего-чего только не было... И в конном строю рубил, как капусту, этих турок, и всякие там разведки. Под Булаиром нам шикарно удалось сбросить в море десант Энвер-бея. Но это все, знаете, пустяки, о которых не стоит и говорить... Мало ли... А вот что я приехал к вам, Владимир Васильевич, в качестве не болгарского офицера, – форму, так сказать, донашиваю и удобно городского подтянуть, трамвайного кондуктора, – а в качестве журналиста. Моя редакция, – Шацкий назвал большую влиятельную газету, – просила меня побеседовать с вами относительно этих самых ваших истребителей, да и вообще...

Корещенко сконфузился, провел закопченной рукой по густым нечесаным волосам. Улыбнулся застенчиво.

– Я, что же, я, в сущности, инженер-любитель. Кого могут интересовать мои работы?

– Помилуйте, о них говорят. Ну, я вижу, вы скромничаете. Этак из нас ничего, не выудишь. Я, как старый и опытный газетный волк, буду вам задавать вопросы. Вы из «этих» Корещенков, миллионеров?

– Из этих.

– Прекрасно! Ваш, так сказать, ценз технический?

– Мой ценз? Я здесь немного учился, потом во Франции, прошел курс политехникума в Нанси, потом практически изучал на заводах артиллерийское дело, морское, нефтяные двигатели. Меня всегда тянуло к судостроительству. Собственная яхта моя сконструирована была не без моего участия.

– Я слышал о вашей собственной яхте. «Аврора»?

– Да! Вы почему знаете?

– Журналист должен все знать, даже то, чего не существует в природе, – усмехнулся бледным, «голым», костистым лицом Евгений Эрастович.

– Вы курите? Пожалуйста.

Корещенко прошел мимо станка, продолжавшего двигаться всеми своими стержнями, блоками, ремнями, и со стола, заваленного чертежами, фотографиями, щипчиками, напильниками, взял деревянную коробку с папиросами.

Шацкий, закулив, продолжал:

– А что вы скажете о ваших «истребителях»? Я слышал, они грозят переворотом в военно-морском деле?

– Уже и переворотом, – улыбнулся какой-то детской совестью улыбка инженер. – Нет, я Америк открывать не собираюсь, но есть основание думать, что мои истребители, буде окажется случай, лицом в грязь не ударят.

– Какой главный принцип? Чем они могут побить другие, уже имеющиеся, ну, скажем, германские истребители?

– Чем? Быстроходность, во-первых. Она будет равняться сорока узлам в час.

– Семьдесят верст, ого, да это не кот заплакал! Такого, можно сказать, рекорда никто не побил и не побьет. Затем?

– Затем мой истребитель на ходу будет чувствовать, «видеть» неприятельскую субмарину под водою.

– Ого, да это совсем, черт побери, занятно! Каким же образом? Особенный прибор какой-нибудь?

– Это... это, – запнулся Корещенко, – я не вправе сказать. Это уже область...

– Секретная, – подхватил Шацкий, – понимаю! Еще?

– Еще... каждый из моих истребителей снабжен четырьмя орудиями небольшого калибра, но такой мощной силы, что они могут выдержать бой с крейсером.

– Значит, так: ваши орудия отличаются дальностью, и, кроме того, быстрота вашего истребителя делает его неуязвимым? Он может безнаказанно уйти за черту досягаемости от самого быстроходного военного корабля?

– Может...

– Вот это я понимаю! Это завоевание – торжество техники. У вас все это разработано в мельчайших деталях, до последнего винтика?

– До последнего винтика, – согласился Корещенко, бросив невольный взгляд по направлению железного шкафа в виде большой нестораемой кассы.

Шацкий перехватил этот взгляд, подумав:

«Ага, вот где зарыта собака!»

Сделал последнюю попытку, сам не веря в ее успех:

– Вот что, Владимир Васильевич, может быть, позвольте этак бегло взглянуть. Может быть, у вас есть общий рисунок? Хотелось бы получить некоторое впечатление. Вы можете мне доверять, вы меня видите впервые, но я же не с улицы. На мне мундир, хотя и не русский, но почти что русский. Россия и Болгария – родные сестры, славянские сестры – старшая и младшая. Я, как патриот, из весьма понятного горделивого, чувства жажду написать...

– Я вас убедительно прошу ничего не писать! Не надо, уверяю вас, не надо! Я не ищу рекламы. Я хочу работать незаметно и тихо, что же касается чертежей, я очень перед вами извиняюсь, Евгений...

– Эрастович.

– Евгений Эрастович, но это во многих отношениях неудобно...

– Ну, да, разумеется, я вас понимаю. Я только так, из любопытства. Скажите, Владимир Васильевич, вы один здесь работаете или вам кто-нибудь помогает?

– У меня есть помощник, очень талантливый механик, работал несколько лет в Англии. Он сейчас уехал в город за кое-каким материалом.

– Понимаю, самородок! Наверное, какая-нибудь чистая русская фамилия?

– Вы угадали, его зовут Епифановым, хороший малый, своего дела фанатик. Он у меня всего третий месяц.

– А раньше где был?

– Он служил здесь по соседству. У Юнгшиллера.

– А, этот «король готовых платьев»? Что ж, у него там было много работы, – автомобили, моторные лодки. Почему он ушел?

– Условия были тяжелые. Он получал семьдесят пять рублей в месяц на своих харчах. У него где-то семья в глубине России. Пятьдесят рублей туда высылал, самому двадцать пять оставалось. Он питался печеным картофелем... А в нескольких шагах от мастерской, где он работал, находится собачья будка. И вот лакеи Юнгшиллера бросали цепной собаке жареных рябчиков с господского стола, а Епифанов сидел на картошке. Ему стало обидно, и он ушел ко мне.

– Сколько он у вас получает?

– Двести пятьдесят... пока.

– Вот видите! Вы благородный человек, Владимир Васильевич. Широкая русская душа... А этот Юнгшиллер немец, перец, колбаса! Ну, до свидания, очень рад познакомиться. Как-нибудь наведаюсь еще, если позволите. Желаю успеха!

– Милости просим, а что не показал вам чертежей – не взыщите, не могу, при всем желании.

– Последний вопрос: а на каком, же заводе думаете вы конструировать ваши истребители?

– И это я не вправе сказать...

18. Величие – где ты?

Патент скреплен королевской печатью. Лист пергаментной бумаги вступил в свою странную магическую силу, над которой можно иронизировать, но которой нельзя не признать. Король Кипрский торжественно протянул новому кавалеру ордена «Блаженной Юстинианы» патент, еще торжественнее обнял и трижды поцеловал.

Дмитрий Владимирович говорил Забугиной:

– Знаете, Вера Клавдиевна, мне еще никогда не приходилось наблюдать такое удивительное сопоставление чего-то бесконечно трогательного, умиляющего вместе с элементом, увы, смешного и жалкого. Трогательно все, что наслаивалось, создавалось целыми веками, что хранит в себе прочную традицию. Бесконечно трогательно! В самом деле, без малого тысячу лет награждали Лузиньяны орденами, сначала своих подданных, а затем чужих, потому что своих не стало. Но благодаря пышным инсценировкам опереточный колорит всех этих церемоний ступшеывался на фоне замков, дворцов и даже первоклассных отелей с мраморными колоннами, позолотой, гигантскими зеркалами и пальмами.

Но теперь, теперь, это был шарж и, право, хотелось плакать. Нищий король в потертом немодном сюртуке, задолжавший за комнату, питающийся молоком и яичницей, да и то не без вашего благосклонного участия, жалуется на орденом...

Ведь сущность, дух – те же, что и были. Разница лишь в форме. И «власть» его та же самая, которой он обладал, скажем, пятьдесят лет назад. Она ничуть с тех пор не уменьшилась и не увеличилась. Но тогда был блеск, были декоративные эффекты, а теперь, теперь – фарс в меблированных комнатах на Вознесенском... Бедный король, бедный «бывший» король, и разве это не символ: дал орден бывшему гвардейскому офицеру, «бывшему человеку», так же ведь? Как вам нравится это определение, Вера Клавдиевна?

– Совсем не нравится! – С упреком в ясных серо-голубых глазах своих смотрела на него девушка. – Вы не будете называть себя бывшим человеком? Никогда? Мне... мне это больно слышать... К чему бравада? Вы же сами не верите в это! Всем своим существом не верите! Но ради красного словца, ради пикантной параллели – бывший король и бывший человек... Вы меня словно ударили этим! Вы, который на пути, чтоб заново пересоздать свою жизнь... Вы уже это сделали и, самое главное, сумели внушить уважение тем, кто думал, что будет смотреть на вас сверху вниз.

– Ну, полно, полно, дорогая Вера Клавдиевна, будет вам отчитывать меня. Виноват, но, право, заслуживаю снисхождения. Какая вы... как вы умеете хорошо чувствовать, – молвил Загорский тепло и сердечно, и так это было непривычно для него, всегда с ироническим холодком, замкнутого, надменного.

Смягчилось его лицо, точеное, породистое лицо лорда, и разгладились обыкновенно сухие, жесткие складки возле углов рта. И только сейчас убедилась Вера Клавдиевна, что его глаза, ни цвета, ни выражения которых нельзя было определить в точности, умеют смотреть с какой-то обволакивающей нежной добротой.

Но это лишь миг. Дрогнуло и погасло. И опять спокойная, холодная маска. И уже по-другому звучал грассирующий голос. Как всегда, определенно и твердо, с уверенностью избалованного человека, знающего, что его слушают, что он умеет заставить себя слушать...

Дмитрий Владимирович продолжал:

– Должен, однако, отметить, во всей этой церемонии был момент прямо величественный. Это когда он встал и обнял меня. Я в это время подпал какому-то гипнозу. В горле почувствовал какую-то неловкость, зашепотало веки, и лишь усилием воли я удержал слезы. Раздвинулись тесно подступившие стены жалкой меблированной комнаты. Я увидел какие-то дворцовые анфилады и вспомнил себя камер-пажом на дежурстве в Зимнем дворце. А передо мной

стоял помолодевший король во французском генеральском мундире. Словом, это был мираж. И сгнуло все, как мираж. И чтобы окончательно и подло разбить поманившую иллюзию, стукнул в дверь, и появился Семен Григорьевич. Кашлянул, приосанился, шаркнул ножкой... и совсем в духе балаганов Марсова поля:

– Ваше величество, господин король, разрешите получить?

Лузиньян, сам себя минуту назад тешивший миражем королевского величия, насупился, погас, опустил на грудь седую бороду.

– О, какой ви несносни, нельзя так приставать! Я же вам говорил, вы получите квартирны плата, получите! Я сейчас не имею свободны деньги...

– А все-таки разрешите получить, – тупо, с каким-то идиотским равнодушным упрямством, не поддающимся никакой логике, твердил Семен Григорьевич.

И я видел, что эта канцелярская крыса наглеет. Проходимец Дегеррарди кулаками своими внушал ему куда больше страха и трепета, нежели этот древний старец, прописанный в домовый книга королем Иерусалима и Кипра, которого Семен Григорьевич с развязностью блаженной памяти малафеевских балаганщиков величал «господином королем».

Я пожалел острой мучительной жалостью бедного короля, дружившего с герцогом Омальским и которому красавица испанка Монтихо, впоследствии императрица французов Евгения, строила глазки... по меньшей мере, глазки... Я вспомнил то время, когда носил мундир, волоча за собой саблю, и командовал эскадроном. Я крикнул Семену Григорьевичу:

– Пшелл вон!

И это удалось, удалось, потому что плюгавая чернильная крыса мгновенно выставилась за дверь!

Через пять минут заглянул к нему в контору.

– Послушайте, любезнейший, нельзя же быть таким приставалой!

Оторвавшись от каких-то записей, он испуганно посмотрел на меня выпцветшими глазами.

– Я что? Мое дело сторона! Я человек маленький. С меня же спрашивают, почему не все в аккурате? Почему не платят жильцы вовремя? Мне что? Господин король моего хлеба не заедает, – живи себе дарма хоть целый век! А только надо мной хозяева, с меня спрашивают.

Я сунул этому Семену Григорьевичу пятьдесят рублей, вот, мол, авансом, только не лезьте к старику.

– Ну, а дальше как? – буравит меня своими рыбьими глазами.

– Дальше – видно будет.

Успокоился.

Но не успокоился Лузиньян, король Кипрский. Оставшись один, король долго-долго копался в ящике письменного стола. Тихо, как шепот давних воспоминаний, шелестела смятая папиросная бумага. Король вынимал из нее одну за другой овальные миниатюры на слоновой кости. Он берег их, берег до последней минуты. Но теперь, теперь пришел час хоть с одной из них расстаться. С которой? Обе ему дороги бесконечно. Обе... Портреты отца и матери в ранней молодости, написанные Изабе, этим величайшим миниатюристом.

Мать, юная королева Гизелла, с покатыми обнаженными плечами, красивая особенной фарфоровой красотой светских дам начала восемнадцатого века. Правильные черты, нежный овал, густые волосы двумя темными плотными крыльями падают на уши, закрывают их. Отец – молодой офицер в красивом кавалерийском мундире. Падают над высоким лбом упругими завитками, пенятся курчавые волосы. Что-то смелое, уверенно-вызывающее в романтическом повороте головы...

Живопись миниатюр – тончайшая. Горит золотое шитье на мундире короля, и можно проследить хаотический узор алансонских кружев, которыми отделано светлое платье коро-

левы, такой юной, далекой от мысли, что через двенадцать лет у нее будет сын, последний в роде Лузиньянов.

Эти побледневшие сквозь дымку столетия призраки смотрели на старика с кротким немым укором... Тень грусти затуманила лицо его, и выступили на длинных седых ресницах слезы.

Через несколько минут он вышел из подъезда, опираясь на трость и с усилием передвигая подагрические ноги. Путь был близкий, через два-три дома против Александровского рынка находилась антикварная лавка братьев Егорновых.

Из окон смотрели на улицу заржавленные пистолеты, серые от пыли мраморные бюсты. Вечернее солнце зажигало розоватые блики на рамах картин. С трудом поднялся король по железным ступеням. Сипло откашлялся в дверях висевший на металлической дуге колокольчик. Сумрачно и тесно в лавке, заставленной частью разным хламом, частью подлинными произведениями искусства. Из рам глядели на вошедшего с недоумением портреты прежних, давно угасших людей.

Откуда-то из глубины появился длинный худощавый молодой человек с бегающими глазами и рыжей бороденкой. Фигура старика была знакома ему, такого, раз увидев, никогда не забудешь. Егорнов, мечущийся каждый день и пешком и на извозчиках, – такое дело его хлопотливое, – встречал на Вознесенском этого внушительного старика, этого одряхлевшего льва с седой гривой и такой же седой бородой. И вот он к нему сам заявился. Казалось, в лавке стало еще теснее, такой он величавый и строгий. Несмотря на черный поношенный костюм, в манерах и осанке барин за версту чувствуется.

Егорнов приподнял плюшевую, кое-где «полысевшую» мягкую шляпу. Обнажились в улыбке испорченные зубы.

– Присмотреть что-нибудь изволили? Боровиковского не угодно ли? Первый сорт! Князя Куракина портрет. Камзол-то; камзол до чего написан! Опять Сверчковым похвастать могу. Такого поищите в музеях... Табун лошадей... Пожар в степи... Лошади бегут... Движение какое! Не угодно ли? Мейсонье в самый раз так лошадей написать.

– Я ничего не купил, я хотел продавать.

– Это значит со своим собственным товарцем пожаловали? – сразу переменил тон Егорнов. – Что ж, дело хорошее. Пригодится – купим, только теперь по-летнему времени дела тише. Опять же и война может случиться, шибко уж этот самый конфликт между Австрией и Сербией разгорается... А вы что же, господин, из иностранцев будете? На русском диалекте, кажись, не так, изъясняться не совсем хорошо изволите?

– Ви покупает миниатюр? – поспешил пресечь Лузиньян развязную словоохотливость антиквара.

– Миниатюры? Отчего же-с! Товар как товар, не хуже, не лучше другого, и на него есть любители... А вы покажите-ка, вернее будет.

Старик вынул из кармана пальто завернутые в папиросную бумагу миниатюры.

Егорнов схватил цепкими пальцами овальные тоненькие пластинки слоновой кости. Глаза хищно забегали. Вещицы понравились ему, большое мастерство сразу почувствовал, решил не выпускать миниатюр.

Спокойным, равнодушным голосом, с безразличным лицом спросил:

– Изабей?

– Да, это Изабе, ви видит подпис?

– Что подпись? Подделать всякую подпись легко! А только видно, что и впрямь вещи грамотные. А кто изображен-то, портреты чьи?

– Король Кипрский Гвидо Лузиньян и его супруга королева Гизелла.

– Постойте, господин, записать надо для верности. Покупатель всегда свой интерес имеет, кто да что?..

И по желтой оберточной бумаге, лежавшей на прилавке, Егорнов забежал огрызком карандаша.

– Есть! А насчет цены? Во что цените, господин?

– Я хотел продавать один миниатюр.

– Чего-с? Одну? Это не подойдет! Парочку – имеет смысл. Парочку, так и быть, куплю! Мужа с законной супружницей незачем делить. А вы что же, господин, сродственником будете их? – полушутливо, полуиронически хихикнул Егорнов.

Старик молчал, насупившись. Потом спросил:

– Сколько вы предлагаете за два?

– Да что ж, по тихим делам две четвертные бумажки, так и быть, выкину! Пускай лежит, места не просят...

– Я... я не соглашаюсь на этот цена...

– А не хотите, господин, вам виднее. Получите обратно. Я ведь не эксплуататор какой-нибудь, полюбовное дело. Ну, вот, где моя не пропадала, набавлю еще четвертной билет, и шабаш! Семьдесят пять целковых, хотите – хорошо, деньги на бочку, не хотите – тоже хорошо. Как вам будет угодно...

Старик потупился, опустил глаза, словно не желая видеть свое унижение, и после некоторой паузы, не поднимая глаз, тихо, чуть слышно, с тяжким усилием вымолвил:

– Я согласен...

19. Высокопревосходительный сводник

Шацкий уехал с вытянутым лицом.

– Не повезло! Хотя мудроно требовать, чтобы с первых же шагов все шло как по маслу.

Евгений Эрастович бранил Корещенку. Не за свою неудачу бранил, не за то, что Корещенко оказался менее простоватым, чем думал вначале Шацкий, а за то, что, имея большие миллионы, дающие возможность, пальцем о палец не ударяя, широко наслаждаться жизнью, он целые дни проводит на этой своей кузнице, грязный, лохматый, перепачканный весь. Кочегар!

Этого никак не мог вместить в голове своей Шацкий. Дай ему кончик этих миллионов, Евгений Эрастович блеснул бы таким великолепным *dolce far niente*, – держись только!

В самом деле, Владимир Васильевич Корещенко был не совсем шаблонным человеком, в особенности принимая во внимание круг, к которому он принадлежал.

Этот круг – богатейшая купеческая семья, старая в купечестве, молодая – в дворянстве. Но сказочные средства, перед которыми открываются многие двери, за исключением самых чопорных, дали возможность мужским подрастающим поколениям Корещенок воспитываться в Лицее и Правоведении, а барышням выходить за дипломатов, камер-юнкеров, баронов и графов.

Корещенок тянуло в большой свет. Всех, за исключением Владимира. И когда мать его, тяготевшая весьма и весьма к заветным золоченым «верхам», желала перевести его из гимназии в Лицей, он пришел в ужас.

– Что я там буду делать?

Он так привык к свободе, к станку, на котором вечно выпиливал что-то, к своему гимнастическому мундиру, испачканному кислотами и разными химическими реактивами, что одна мысль о всех тех обязательствах, которые налагает лицейская форма, до скучных визитов включительно, одна эта мысль казалась ему пугающей, странной.

Избегая своих сестер, кузенов и кузин, бредящих титулами, он живет своей собственной жизнью, якшается с какими-то механиками, студентами, целые дни пропадает в Технологическом институте. А затем, после двух лет студенчества в Нанси, практикуется обыкновенным рабочим у Блерио, потом у Крезо и, наконец, в доках Марсея.

Он имел около двухсот тысяч дохода, а жил как студент. Единственной слабостью Владимира Васильевича были женщины. Здесь он изменял (и то лишь отчасти) своему демократизму опростившегося инженера. Он любил шикарных женщин не из снобизма, не из желания хвастать ими, нет, а для самого себя. Ему нравились женщины подкрашенные, пахнущие дорогими духами, нарядные, порочные, в тончайшем белье...

На своих подруг, которых он менял если не особенно часто, однако все же менял, Владимир Васильевич тратил большие деньги. Они одевались у лучших парижских портних, жили в роскошно обставленной квартире, имели обращающие внимание выезды, автомобили.

И странно было видеть его в экипаже или в ресторане вместе с женщиной. Вся она – последний крик моды. Шляпа в несколько сот франков, бриллианты... А он – в затрапезном пиджаке, дешевенький, повязанный криво галстук, копна волос, не признающая гребня, руки с траурными ногтями, – как не три их щетками, не отмоешь добела въедающихся в кожу следов грубой физической работы:

Ужинали, обедали где-нибудь в ресторане, подавались изысканные закуски, тонкие вина. Корещенко пил и ел, равнодушный ко всем этим «деликатесам», которые в его глазах были нисколько не лучше бутербродов, наскоро уничтожаемых в мастерской и запиваемых квасом или пивом.

Последней и самой продолжительной связью Корещенка – она тянулась несколько месяцев – была опереточная примадонна Искрицкая, та самая, которую на «семейном совете»

решил взять себе в платонические содержанки Мисаил Григорьевич Айзенштадт, будущий Железноград.

Шацкий, возвращаясь в город в грязно-фисташковом такси, вспомнил Искрицкую. Он шатался к ней в уборную на правах «рецензента».

Вот через кого необходимо попробовать найти кратчайшую дорогу к чертежам и вообще к секрету корещенковских «истребителей»! Через Искрицкую! А буде и она не поможет, останется механик Епифанов. Если этого наголодавшегося человека ошеломить заманчивой радугой из двадцати-тридцати «портретов» Екатерины Великой, кто знает, можно будет, пожалуй, столкнуться. И наконец, самое крайнее, последнее средство – проникнуть в желанный шкаф на свой собственный риск и страх без всякой посторонней помощи. Вернее, с помощью надежных людей, опытных «профессоров», у которых на любую дверь, на любой самый хитроумный замок найдется свое заветное: «Сезам, отворись!»

Так думал Евгений Эрастович Шацкий, «подпоручик болгарской гвардейской конницы и журналист».

Он думал о том, что нет вообще безвыходных положений. Так и в данном случае. В конце концов, имеется в резерве Елена Матвеевна Лихолетьева. Перед ее высокопревосходительной волею этот дурачок спасует.

Ей не скажешь: «Я не в праве, очень извиняюсь».

Никакие «извинения» не помогут. Вынь да покажь! Пришлет она к нему этакого видного, внушительного Мясникова в орденах. Какие же могут быть сомнения? А главное – «фирма»:

Но Елена Матвеевна – это на самый конец. Тяжелая артиллерия. Сначала надо попытаться другие ходы. Вечером он закинет себя в летний театр «Веселье для всех» и попробует осторожно позондировать почву у этой Искрицкой. Конечно, упаси Бог, карт своих он не откроет ей. А так, кругом да около...

Искрицкая считалась в Петербурге, да и не только в Петербурге, самой яркой опереточной звездой, хотя сама не хватала звезд с неба. Уменье танцевать, приличный голос, а главное – хорошие манеры – этого было довольно, чтобы Искрицкая резко выделилась на фоне нашего «примадонного безвременья».

Она умела говорить, болтать на языках, умела занять собеседника разговором не таким уж пустым, бессодержательным. Она воспитывалась в институте, между тем как некоторые подруги ее по сцене получили поспитание в несколько иных институтах... без древних языков...

Петербург – самый нетребовательный город в мире. Он восхищается тем, от чего самая глубокая провинция отворачивается с недоумением. Он сходил с ума по таким безголосым, драным кошкам, с вульгарной, отвратительной повадкой, что появление Искрицкой, живой, пластичной, с эффектной внешностью и красивыми ногами, которые она умела показывать, создало ей репутацию самой модной женщины в северной столице.

Эта «самая модная женщина», несмотря на третий час дня, только что изволила встать, выпить кофе и бегло просмотреть газетные рецензии о вчерашней премьере в своем театре.

Вышколенная горничная, с утра затянутая в корсет и гладкое черное платье, – не в пример своей барыне, чуть ли не до самого вечера, до того, как надо ехать в театр, не выходявшей из кружевного капота, – протянула Искрицкой на подносе визитную карточку.

– «Илиодор Илиодорович Обрыдленко, адмирал», – прочла вслух Искрицкая и швырнув карточку на стол, спросила горничную. – Что ему нужно?

– По делу, говорит, приехал.

– По делу? Какие у нас могут быть дела? Во всяком случае, нельзя не принять старикашки, хотя и с «молнией» на погонах, но все же с тремя орлами... Просите в гостиную.

– Я уже попросила.

Искрицкая знала Обрыдленку. Знала в лицо. Этот адмирал «на покое», несмотря на свои преклонные годы, являл энергию необыкновенную. Везде и всюду можно было увидеть этот несвежий морской сюртук в лрденах – в кинематографе, в театре, фарсе, балете и у тех скороспелых выскочек, что, не имея возможности украшать свои обеды и ужины настоящими сановниками, которые к ним не пойдут, пробавляются «маргариновыми» высокопревосходительствами.

Свадебный адмирал любил хорошо поесть, выпить на чужой счет и весьма охотно шел туда, где его ждали тонкий обед и старый дорогой коньяк.

В последнее время он состоял при особе Мисаила Григорьевича Айзенштадта, исполняя обязанность личного секретаря по самым разнообразным поручениям этого шедшего в гору банкира. Что же касается Айзенштадта, ему было лестно держать на побегушках адмирала. Как-никак эти черные орлы производили впечатление...

Искрицкая, довольно крупная и в то же время весьма пропорционально сложенная блондинка, – эта красавица и верность линий помогала ей в танцах, – вышла в гостиную. Здесь так была скучена дорогая мебель, так все было забаррикадировано экранами, трельяжами, ширмочками, гигантскими корзинами искусственных и живых цветов, что хозяйка не сразу углядела своего раннего – для Искрицкой это было рано – визитера.

Мышиным жеребчиком разлетелся Обрыдленко к ручке примадонны. Искрицкая на нежной холеной коже, пропитанной духами, ощутила холод вставных зубов и мякоть старческих фиолетовых губ.

– Довольно, довольно!

Пришлось выдернуть руку.

– Садитесь, адмирал. Чем я обязана?

Адмирал опустил в кресло, снял пенсне и, протирая стекла платком, смотрел на Искрицкую маленькими косоватыми, близорукими, напоминающими медвежьими, глазками.

– Я поклонник вашего несравненного таланта. У вас все – голос, игра, изящество, вкус... Одним словом, вы – опереточное совершенство...

– Благодарю вас, адмирал, вы очень любезны. Я польщена, – иронически улыбаясь, играя кончиком туфельки, молвила примадонна.

Шаловливая туфелька вместе с ажурным чулком, туго обтягивавшим ножку с высоким подъемом и тонкой сухощавой щиколоткой, овладела вниманием адмирала.

Он распустил губы, пожевал, погладил бороду.

– Милый адмирал, у меня свободных минут десять, не больше. Через десять минут явится мой парикмахер. В чем заключается это важное дело?

– Вы позволите говорить прямо?

– Конечно, мы с вами не дипломаты. Опереточная артистка и морской волк... Нам незачем изощряться в казуистике.

– В таком случае я, как говорят французы, возьму быка за рога.

– Возьмите, возьмите, я слушаю.

– Вам знакомо имя Айзенштадта, Мисаила Григорьевича Айзенштадта?

– Ах, этот, – усмехнулась Искрицкая, – кто же его не знает? Ну-с, дальше?

– Я, извольте ли видеть, явился к вам, уважаемая Надежда Фабиановна, от его имени, от Мисаила Григорьевича, с довольно щекотливым поручением...

– Раз вопрос касается Айзенштадта, и к тому же еще это вопрос щекотливый, мне кажется, всего удобнее было бы самому Айзенштадту пожаловать, не прибегая к посторонней помощи...

– Но Мисаил Григорьевич так занят, так адски занят...

– А у вас так адски много свободного времени? Хорошо, к делу, я слушаю, – подгоняла Искрицкая, теряя всякое терпение. Да и действительно парикмахер должен быть с минуты на минуту. А месье Поль нарасхват, ценит свое время и не любит ждать.

Адмирал кашлянул для храбрости.

– Мисаил Григорьевич предлагает вам две тысячи рублей в месяц с условием, чтобы вы разок-другой в неделю, впрочем, можно и меньше, можно раз только, показывались вместе с ним в экипаже, в театрах, на скачках, в ресторанах.

– Но ведь я же занята, у меня есть «друг» – Корещенко...

– Это ничего не значит, уважаемая Надежда Фабиановна. Ничего не значит! На права счастливого друга вашего никто не посягает. Мисаил Григорьевич примерный супруг, обожает свою Сильфиду Аполлоновну, и... вы меня понимаете? Ему нужно ваше общество, и только общество... Больше ничего...

– Понимаю, адмирал, ему нужна моя «фирма», и он оценил эту фирму в две тысячи рублей. Мало... хочу три!

– Три? – подумал адмирал, жуя губами. – Я думаю, он согласится. Кстати, еще один вопрос: а ваш друг, господин Корещенко, ничего не будет иметь против? Мисаил Григорьевич поручил мне выяснить именно этот вопрос. Он человек щепетильный, избегает всяких скандалов. Я могу его успокоить с этой стороны?

– Можете, вполне можете! До свидания, адмирал, пусть ваш патрон заедет ко мне, и мы поговорим лично. Да, еще вопрос, не относящийся к нашему «делу». Скажите, будет у нас война? Атмосфера довольно тревожная, сгустившаяся. Будет война?

– Ничего не могу вам сказать, Надежда Фабиановна. Может быть, будет, а может быть, и так обойдется, – равнодушно ответил адмирал.

– Может быть, нет, может быть, да, это всякий скажет... А я думала, вы знаете больше нас, простых смертных...

Адмирал припал к ее руке. Но Искрицкая ловко выдернула ее, и губы его по инерции чмокнули воздух.

20. Первые раскаты

А там, на берегах Дуная и Савы, разыгрывались события с быстротой головокружительной.

Вслед за неслыханной в дипломатических летописях по своей дерзости нотою, предъявленной австрийцами сербской власти (правительству), новый удар – скоропостижная кончина русского посланника Гартвига.

Гартвиг, плечистый, бородатый крепыш, так мало напоминающий шаблонный тип дипломата и в то же время настоящий дипломат, не беспочвенный хлыщ, а патриот с великой душой, волновался, мучился, наблюдая страстную жажду пестрого габсбургского спрута покончить раз навсегда с упрямым и колючим сербским ежом.

Гартвиг поехал к австро-венгерскому посланнику барону Гизлю, все еще надеясь предотвратить катастрофу, могущую повлечь за собой целый ряд катастроф.

Барон принял его в своем убранном восточным оружием кабинете. Гизль, этот человек с глазами не то палача, не то инквизитора, был необыкновенно мягок, любезен, вкрадчиво доказывая Гартвигу, что венское правительство «не могло поступить иначе».

«Доказывая», барон касался рукой полной, короткой ноги русского посланника. И от этого «липкого» прикосновения Гартвиг нервничал. Гизль участил неприятное прикосновение, забыв элементарную корректность. Гартвиг должен был в конце концов отодвинуться. Гизль не спускал с него своих инквизиторских глаз. Эти глаза хотели убить, а голос звучал приторно-вежливо, округляя лощеные, бездушные фразы...

Сумрачный, бритый лакей принес кофе. Две крохотные чашечки с горячим, дымящимся, ароматным напитком.

Гартвиг взял чашечку, отхлебнул. Чашечка дрожала в его пальцах. Гизль белой, пухлой рукой задел свою чашку. Густым черным пятном пролился кофе на лежавшую на столе карту Балканского полуострова.

– Да здравствует неловкость! – воскликнул барон. – Вот совпадение, господин министр, кофейное пятно покрыло собой всю Сербию. То самое, которым она запятнала себя сараевским убийством...

Гартвиг пропустил мимо ушей «каламбур» Гизля. Волнуясь, русский посланник горячо молвил:

– Если Австро-Венгрия обрушится на Сербию и раздавит ее своей миллионной армией – это будет самая бесславная, постыдная страница в истории Придунайской империи! Это... как если бы взрослый, очень сильный человек накинулся избивать крохотного ребенка.

Австриец развел руками.

– Что делать, господин министр, если крохотный ребенок дурно ведет себя, долг взрослого наказать этого ребенка. Однако я велю принести себе еще кофе...

– В самом основании своем, барон, вы не правы. В самом корне... – возражал ему Гартвиг. – За преступление, совершенное двумя сербами, к тому еще вашими же подданными, не может ответить целый пятимиллионный народ. Это... это... – посланник недоговорил, схватившись за грудь, – мне кажется... у меня сердечный перебой... – И без того красное лицо Гартвига налилось кровью. Потом она отхлынула вдруг, и он побледнел весь, и только алые пятна вспыхивали на щеках, то уменьшаясь, то увеличиваясь.

Опустилась на грудь голова вместе с густой темно-каштановой бородой. Нечем было дышать. Холодело то шибко-шибко бьющееся, то замирающее сердце...

Гизль встал, подошел в Гартвигу с участием в голосе, с дьявольским выражением инквизиторских глаз:

– Вам в самом деле нехорошо, господин министр...

Два лакея с помощью егеря миссии, громадного далматинца, под наблюдением барона Гизля, почти вынесли тучного барона Гартвига на руках, посадили в карету со спущенными окнами.

Езда, сквозной ветерок освежили русского посланника. Он немного пришел в себя, глубоко и жадно вдыхая солнечный воздух, которого ему все не хватало.

Кучер остановил лошадей у белого двухэтажного здания русской миссии, против высокой железной решетки королевского дворца. Гартвиг с трудом вышел из кареты и еще с большим трудом поднялся вверх по устланной ковром лестнице, останавливаясь, отдыхая, ежеминутно хватаясь за сердце.

В своем глубоком кабинете, с портретами высоких особ на стенах, Гартвиг задержался у круглого стола с газетами, журналами. Он почувствовал какую-то удушающую пустоту внутри себя, темную, бездонную. Темнело в глазах, и последним предметом, который он увидел, был серебряный ящик для сигар.

Гартвиг схватился за край стола, потянул его за собой и, тяжело откинувшись, упал навзничь...

Весь Белград хоронил так внезапно скончавшегося Гартвига. Пышная процессия, во главе с королем, его сыновьями, седобородым Пашичем, министрами и двадцатитысячной толпой, запрудила всю широкую улицу князя Михаила.

Вся Сербия оплакивала кончину Гартвига. В какую тяжелую минуту унесла смерть этого защитника и друга южных славян!

Прошел слух и все более и более укреплялся в народе, что Гартвиг не волею Божьей скончался, а умер, отравленный «швабским посланцем» бароном Гизлем.

Захлебывались от восторга, ничуть не скрывая ликующей радости своей, венские и будапештские газеты.

«Кончина Гартвига – знаменательна! Встал на защиту темного дела, вот судьба и отомстила ему за кровь нашего мученика эрцгерцога».

А густые тучи все ниже и ниже зловеще клубились.

Хотя в глубине души все от мала до велика понимали неотвратимость катастрофы, хотя никто не верил, что европейская дипломатия спасет положение, хотя все были готовы к чему-то ужасному, которое не имеет названия и которое боишься назвать, однако день, когда Австрия объявила Сербии войну, был днем паники.

Все растерялись.

Все, за исключением маленького, седого старика в плетеных генеральских погонах, с лицом нахохлившейся умной птицы.

Знаменитый воевода Путник заявил на историческом заседании коронного совета.

– Духом падать нам еще рано. Положение вовсе не такое критическое. Австрийцы, отвлеченные русским фронтом, больше десяти корпусов не могут бросить на нас, а такую армию мы легко разобьем, и разобьем там, где мы этого пожелаем. Тем временем великая савезница (союзница) наша успеет смобилизоваться, перейти в наступление, и тогда швабы, что смогут только, снимут с нашего фронта.

На коронном совете решено было: столицу временно перенести в самый крупный после Белграда центр – Ниш, Белград защищать больше из соображений морально-политического характера. Заманить неприятеля к переправе у Шабаци и там разбить швабов.

Дипломатические отношения с Австро-Венгрией прерваны. Посланник барон Гизль вместе со своей миссией уехал в Вену. И лишь только поезд его очутился на венгерской земле, сербы взорвали мост через Саву. Этот белый, металлическим кружком висевший над рекою мост, по которому носились парижские, венские и берлинские экспрессы, мчась в Константинополь, утратил свою прямую, упругую линию и крутыми изломами уткнулся в нескольких местах в желтоводную, быстробегущую Саву.

Два берега, тайно враждовавшие многие десятки лет, бросили наконец перчатку друг другу.

В Белграде объявлено осадное положение. Над ним носились австрийские аэропланы хищными коршунами. По ночам город освещался с того берега прожекторами. Австрийцы бомбардировали столицу Сербии. Первые пушечные раскаты возвестили начало великой мировой войны.

Белград превратился в сплошной лагерь, ночью погруженный в слепую темень.

Сад Калэмагден, где в мирное время под звуки военного оркестра публика, сидя в кафе, любовалась панорамой Дуная, вымер.

В тенистых аллеях не было никого, кроме солдат, озабоченных, хмурых, спешащих.

По гребню высокого берега протянулись окопы. В них сидели с винтовками усатые пожилые войники третьего позыва. В ближайшем тылу устанавливались батареи «бырзострельных» (скорострельных) орудий.

В древней крепости – монументальные стены и башни ее помнили не только времена Сулимана Великолепного, но и куда более давние, римских легионов – находился небольшой, из двух рот, гарнизон.

А в ту ночь, ночь объявления войны, когда австрийцы, думая напасть врасплох, желали переправить десант, в крепости не было и ста человек.

Казалось, в жуткую вечность уходит безбрежный, почерневший Дунай. И хотя горят в небесах звезды, темна южная теплая ночь. И не светятся среди мрака огни того бережного австрийского Землина. Он, как и Белград, погружен во тьму.

Маленький тринадцатилетний номита (партизан-охотник) Драголюб, с карабином за плечом, стоит на самом краю циклопической башни и зоркими детскими глазами всматривается в густую мглу. Справа и слева Драголюба, шагах в восьмидесяти, такие же, как и он, часовые, только взрослые.

Смутно колеблются враждебные, затаившиеся дали. Что-то шевелится в воде каким-то неопределенным, пугающим пятном. Близится тихо, растет и – уже несколько отдельных пятен.

Это плывут громадные широкие баркасы, густо-густо переполненные человеческой кладью. Два мотора с потушенными огнями конвоируют готовящийся десант.

Драголюб похолодел весь, потом сразу пришел в себя, – видал он разные виды, третий год воюя с турками и болгарами, – опрометью кинулся вниз с башни, пробежал под массивной аркой ворот и влетел в каземат, где сидя на стуле дремал офицер в проходной форме и в серой капе (головном уборе). После двух бессонных ночей он прикорнул на тычке, опираясь руками и подбородком на эфес сабли.

И слышит он сквозь чуткую дремоту:

– Господин капитан, швабы плывут за (в) Белград. Капитан вскочил, словно выброшенный пружиной.

Единственным вопросом его было:

– Сколько?

– На глез (глаз) еден пук (один полк).

Милорад Курандич, схватив винтовку и набив все карманы обоймами, в мгновение ока вылетел из каземата. Начал собирать своих людей.

Всех вместе с «финансами» (пограничной стражей) было девяносто человек.

Половину Курандич послал в окопы на самом гребне Калэмагдена, другой половине велел залечь на крепостных валах.

Капитан выстрелом из винтовки подает сигнал к огню по всей линии.

В эту ночь еще не было в крепости ни пулеметов, ни орудий.

Все ближе и ближе и так зловеще надвигается вражья флотилия. Высунувшись из окопа, наблюдает ее Курандич. Этот Драголюб прав. В общем, судя по «утрамбованной» массе кишаших на баркасах австрийских солдат, пожалуй, наберется и полк.

Ждут, мучительно ждут сербы сигнала, и кажется им, что уже пора начинать, что еще минута, и будет поздно, шваб подплывет к самому берегу. Каждый воиник полон дьявольского искушения нажать спуск...

Но Курандич знал, что делает. Бить, надо бить наверняка, чтобы каждая сербская пуля угодила в это человеческое месиво.

Широкогрудые баркасы – шагов на семьсот от берега.

Сухо щелкнул выстрел и далеко пошел над водой перекликами.

Трескотня по всему фронту. Австрийцы очутились в беспомощном положении. Сами на виду, мишень, лучшей не выдумаешь, а сербы великолепно укрыты, и лишь вспыхивающие коротенькие молнии обозначают линию цепи. Кроме того, ответный огонь австрийцев не мог быть мало-мальски действительным еще и потому, что стрелять удавалось немногим, самым крайним, у бортов, вся же остальная масса так кучно теснила друг друга, руки не подыметь, не говоря уже о винтовке.

Курандич, зная, что каждый человек на счету, сам так усердно поддерживал огонь, что распалил до горяча ствол винтовки. Он, расстрелял все свои обоймы, и очутившийся рядом с ним Драголюб протягивал ему новые.

Бешеные крики и стоны неслись оттуда, с неприятельских баркасов. Неслись вместе с беспорядочной, жиденькой, ответной пальбой. А залпы сербов остановились все ожесточеннее, компактнее, гуще, сливаясь в один сплошной треск.

Проснувшиеся жители, позабыв всякий страх, высыпали на берег. Они видели весь этот бой, видели, как падают убитые, и раненые австрийцы в Дунай и плывут, уносимые течением...

А Курандич горел одной мыслью – хватит ли у австрийцев отваги и нервов высадиться под огнем? Если хватит, они сметут в рукопашном ударе горсточку защитников Белграда.

Но австрийцы, устрешенные потерями, охваченные паникой, повернули назад, провожаемые губительными сербскими залпами.

Так без малого сотня войников, под командой капитана Курандича, отбила вражий десант. И какой десант – цвет австро-венгерской пехоты, мечтавшей в парадных мундирах торжественно вступить в сербскую столицу.

Наутро швабы, из мести за свою посрамленную попытку наступления, подвергли Белград ураганной бомбардировке из тяжелых орудий. Весь день и всю ночь грохотали пушки.

Судя по изумительной меткости попадания, угадывался чей-то шпионаж, корректировавший огонь австрийцев. Несколько снарядов угодило в королевский дворец, разворотив один из флигелей и конюшни. Досталось казармам, русскому посольству и тем из крепостных казематов, где укрывались от чудовищных снарядов солдаты и офицеры.

Ночью заметили сербы, что кто-то сигнализирует большим электрическим фонарем с крыши «хотела» «Москва». И на том берегу Савы взвивались в ответ сигнальные ракеты, зеленые, синие, красные.

21. В конторе мадам Альфонсин

Вера Клавдиевна потеряла – и так неожиданно это вышло – свое место. Хозяин технической конторы господин Пфенниг неожиданно исчез, оставив на произвол судьбы и свое дело и своих служащих.

Об этом писали в газетах. И писали еще, что Пфенниг, подобно большинству немцев, отлично совмещал стрижку златорунного славянского барана со шпионажем в интересах своего «фатерлянда».

Словом, Пфенниг скрылся за час-другой до своего ареста. Все имущество вместе с «инвентарем» его конторы было опечатано. Служащие очутились в буквальном смысле слова на улице, потому что, когда они пришли, ничего не подозревая, на обычные занятия утром, у входа стояла полиция, никого не впуская.

Вера Клавдиевна Забугина вернулась домой угнетенная, мрачная. Время глухое, летнее, в воздухе носится война, – неизбежная, потому что Балканы уже охвачены кровавым вихрем, и найти в такую пору что-нибудь – труднее трудного.

Правда, она имела кое-какие крохи – остатки былого, совсем так недавнего величия. Эти крохи составляли каких-нибудь тридцать-сорок рублей в месяц, Существовать на них без скромного жалованья, – уж чего скромней, – было невозможно.

Слезам обиды и гнева плакала Вера Клавдиевна при одной мысли, что сестра, ограбившая ее, живет широко, тратит бешеные деньги на туалеты, словом, сорит направо и налево, она же, Вера, которую отец боготворил, кое-как перебивается и живет в меблированных комнатах, задумываясь над каждым рублем, прежде чем его истратить. Хорошо еще, что на ее пути встретился Загорский и в лице этого сильного, не такого, как все, человека удалось найти ей нравственную поддержку.

Бедный папа! Бедный старик, под конец жизни такой больной, подпавший целиком под влияние дочери Анны и темного проходимца Калибанова, который был в связи с Анной и которого отец в лучшие свои дни на порог не пускал!..

Пользуясь тем, что Вера была в Париже, а брат Александр целиком ушел в свою профессию в Москве, эти два сообщника «обработали» несчастного старика, и все свое крупное состояние он отписал Анне.

Вера же осталась нищей. Да и брат Александр очутился в таком же приблизительно положении, съехав с двадцати тысяч «синекуры» на две с половиной своего скромного жалованья.

Загорский знал все это из рассказов любимой девушки. Любимой, потому что успел ее полюбить. Знал, советуя ни в каком случае не складывать оружия и затеять процесс, оспаривающий действительность завещания. И были шансы выиграть его, так как Вера и в особенности Александр обладали ценными документами. Это – последние письма покойного, где слишком ярко сквозила ненормальность отца, переплетенная с его злобно-негодующим отношением к Анне. И после этого Анна является единственной наследницей почти трехмиллионного состояния, а Вере и Александру – ничего!

В своей комнате, где все полно какого-то особенного девичьего уюта, сверкает чистотой, Вера с нетерпением поджидала Загорского, чтобы посоветоваться с ним, как ей быть?

Загорский возвращался обыкновенно к пяти, а между, тем нет и полудня. Еще целая уйма томительного времени! Просмотреть газеты разве, нет ли там подходящих публикаций? Вера Клавдиевна послала горничную за газетами.

Боже мой, в каком подавляющем количестве предложения и до чего сравнительно с этим ничтожен спрос!

«Ищут бонну в отъезд»... «Нужна чертежница»... «Ищут гувернантку-француженку»... Мимо все это, неподходящее. Вот. «Нужна барышня-конторщица, немедленно. Справиться: Большая Конюшенная, дом 49, кв. 5».

Вера Клавдиевна маленькими туалетными ножницами вырезала эту публикацию. Разве сейчас сходить попробовать, и незаметней как-то уйдет время до возвращения «Димы»...

Про себя Вера с необыкновенной нежностью называла его «Димой». А так они были на «вы» и она говорила ему «Дмитрий Владимирович».

Надеть легонький темный жакет, приколоть шляпку у овального зеркала в старой серебряной раме (одна из уцелевших собственных вещей среди этой казенной мебелировки) – дело минуты. И вот Вера Клавдиевна уже на улице, в сиянии жаркого солнечного дня, и скоро-скоро стучат по каменным плитам панели высокие каблучки ее туфель. Недавнего уныния нет и в помине. Оно осталось в четырех стенах комнаты. Улица с ее толпою, движением, солнцем всегда как-то бодрит, взвинчивая, не давая падать нервам. И бодро смотрели перед собой серо-голубые глаза Веры Клавдиевны. Эти глаза, большие, ясные, озарявшие все красивое, тонкое личико, обращали внимание.

Вот и Конюшенная.

Откормленный швейцар с бородой, что твой Черномор или, по крайней мере, Добрыня Никитич, монументом уперся. Не сдвинешь, – такой медлительный.

Но каким-то холопским инстинктом почуяв в скромно одетой барышне «настоящее господское дите», тот приподнял обшитую галуном фуражку.

– В квартире пять кто живет?

– В пятом? Никто не живет. Они как бы живут. Заведение!

– Что такое?

– Заведение, говорю. Вывеску изволили видеть? «Институт красоты» называется.

Швейцар Тимофей ладил с Альфренсинкой, но не ладил с другом, черномазым Седухом.

Бакенбардист, этот новоявленный петербургский Калиостро, был груб вообще, а с прилугой в особенности. Кроме того, весьма и весьма скупился на чаевые; Тимофей не прощал ему этого, при каждом удобном случае стараясь уронить «институт красоты», именуя его «заведением».

Вера Клавдиевна решила, что от наглого швейцара толку все равно не добьешься. Каблучки застучали по мраморной лестнице, а «монумент» послал вдогонку свое лаконическое:

– Второй этаж, налево...

Открыла дверь горничная, нарядная, бойкая, даже слишком бойкая для приличного дома.

– Вы записаться, барышня?

– Я по публикации.

– А, так вы обождите минутку. Вот сюда пожалуйста, в контору.

Вся «контора» заключалась в комнате с голым письменным столом. Две продолговатые книги бухгалтерского типа, квитанционная тетрадка. Сквозь стеклянную дверцу шкафа смотрели флаконы духов, эссенций, фарфоровые баночки с какими-то мазями, пилюлями, кремом. Вот и вся контора.

Девушка с недоумением осматривалась. Куда она попала?

Незаметно вошел Седух. Так незаметно, что Вера Клавдиевна сразу увидела близко перед собой господина с внешностью провинциального фокусника с черными, подозрительно черными бакенбардами и такими же черными вьющимися волосами. У него был плебейский нос «картошкой» в сизых жилках и с пучками волос в ноздрах.

– Да... вот была публикация... была... так вы пришли... да... хотите служить?

Забугина смотрела на него во все глаза. Это еще что за гороховый шут? Не братом ли он приходится тому самому Дегеррарди, что покинул так внезапно меблированные комнаты «Северное сияние»?

Антонелли продолжал, не то заикаясь, не то умышленно растягивая слова:

– Да... пришли... нам такая нужна... такая барышня-деликатная... воспитанная... да... и насчет внешности тоже... да!

Вера Клавдиевна вспыхнула.

– Сударь, я пришла вовсе не затем, чтобы выслушивать характеристику моей внешности! Могу я переговорить с кем-нибудь, кроме вас? Если нет – я уйду.

– Конечно, да... переговорить со мной... да... я хозяин...

Забугина сделала движение к дверям. Но у самого порога выкатилось навстречу ей что-то шарообразное в бархатном платье.

– Я очин извиняис, же ву деманд пардон... мосье Антонелли, трудитесь вийти! Сортэ!

– Мадам Карнац, я, кажется, пайщик дела и могу... да...

– Уходит вон! Сортэ!.

Мадам Карнац, подняв коротенькую полную руку с вытянутым указательным пальцем, была неумолима.

Седух, постояв пару секунд, дабы не уронить своего достоинства, медленно вышел, разглаживая бакены.

– Он немного чумачечи, эн пе такэ! – пояснила мадам Карнац, тронув свой лоб тем самым указательным пальцем, который так величественно изгнал доморощенного Калиостро.

– Садитесь, мадемуазель... Мадемуазель, не правда ли? Мы будим каворить дэла, ле зафер сон ле зафэр! Вы на мене производит впечатление. Видно, что вы дитя хороший дом, анфан де бон мезон! Мой конторщик заболел, ушла, я предлягаю вам конторщик. Я буду плятить шестьдесят рублей на месяц, суасант рубль! Занята от одиннадцать жюска си зер. Ви получат маленький завтрак, пти дежене. Работа легки, вести книг, записывать клиантель. Ваш фамили?

Девушка назвала себя.

– Алор... это известни фамили. Это хороши дворянски имь. Я ошень рад! Когда вы может приходит заниматься?..

– Я должна еще подумать, – молвила Забугина.

Ни этот человеческий шарик в бархатном платье с выкрашенными в огненно-желтый цвет волосами, ни тем паче бакенбардист не внушали ей никакого доверия.

Мадам Альфонсин поспешила рассеять замеченное – нельзя было не заметить – колебание.

– Но я вам советуй. Ви будет очин довольни, ву сере тре контант, у меня очень хороши мезон и сами аристократични клиантель.

– Я, пожалуй, согласилась бы, но с одним условием: чтобы этот... этот господин, хотя он и говорит, что он ваш пайщик, никогда ни за чем не обращался ко мне.

– Пайщик? – усмехнулась мадам Альфонсин. – Кес кесе, пайщик? Он только делит нови лицо, он знает секре, и потому я его держат... Без мене, без мои знакомств мосье Антонелли кругли нуль, зеро!

В конце концов директриса «института красоты», поболтав немного; отпустила Веру Клавдиевну, взяв с нее слово, что она будет служить и явится завтра к одиннадцати.

Дома девушка описала Загорскому свой визит на Конюшенную.

– Вы понимаете, Дмитрий Владимирович, мое положение, – и все-таки я думаю не брать этого милого места. Вы согласны?

– В данном случае – нет. Видите, дорогая Вера Клавдиевна, в сущности, вы ничем не рискуете. Кто вас может оскорбить? Никто! Вы сумеете замкнуться в такую недотрогу-царевну,

что этот самый полупочтенный... как его там – Альберти, Альбертинелли... – будет за версту обходить вас. Я кое-что слышал об этом заведении, и поэтому желательно, чтобы вы хоть на время сделали там своим человеком. Вы, пожалуй, совсем случайно проникнете в такие запутанные истории, о последствиях которых, если вам рассказать, голова пойдет кругом. А затем – затем нас ждет, вероятно, разлука, и необходимо, чтобы в мое отсутствие вы чувствовали под ногами хоть какую-нибудь почву.

– Разлука?

И в дрогнувшем голосе девушки, в ее лице и в глазах, отразивших тоску и тревогу, во всем этом было столько хорошего глубокого чувства, что у Дмитрия Владимировича замерло сердце, как не замирало никогда еще. До сих пор он только снисходил к чужой любви, сам же до встречи с Верой не знал, что такое любовь.

И, властно одним и тем же захваченные, смотрели они молча глаза в глаза, друг на друга. И двумя чистыми алмазинками блеснули крупные, как у ребенка, слезы в ясных серо-голубых глазах девушки. Судорожно вся вдруг встрепенувшаяся, она, закрыв лицо, разрыдалась...

22. Разлука

События каким-то бешеным вихрем друг друга обгоняли, не угнаться за ними кинематографической ленте.

Манифестанты океаном человеческих голов запрудили всю широкую улицу возле сербского посольства. Бурные овации, пламенные симпатии, братание на жизнь и на смерть двух славянских народов...

А на другой день часть этих самых манифестантов штурмовала гранитные казематы германского посольства, угрюмой кладкой своей напоминающего острог или крепость.

Голые гигантские всадники, с таким вызовом поставленные германским зодчим на крыше посольства, были низвергнуты и утоплены в Мойке, подобно языческим идолам.

Весь этот разгром взбунтовавшимися страстями своими показал, что и в петербургской толпе, обезличенной, шаблонной, может проснуться патриотизм, настоящий русский патриотизм, логикой истории связанный с ненавистью к германцам и всему германскому.

Уже немцы вступили в Бельгию и тяжелые орудия их бомбардировали Льеж.

Уже начались первые зверства этих разбойников в мундирах и сияющих касках.

Уже альпийские стрелки Франции перешли границу Эльзаса, вырвав с корнем полосатый столб с черным орлом Гогенцоллернов.

Уже английский флот начал грозную блокаду свою, а подводные лодки немцев стали топить детей и женщин.

Уже сербы, заманив австрийцев у Шабаца, разгромили их, выгнав жалкие уцелевшие остатки двух корпусов.

Уже необъятная Россия сотнями, тысячами поездов стягивала на фронт свою миллионную армию.

Люди, самые уравновешенные, самые безучастные ко всему, стали жить нервами, горячились, волнуясь, жадно бросаясь на утренние и вечерние газеты.

Чопорный, замкнутый петербуржец стал неузнаваем. Какой-то совсем, совсем другой западный налет получила теперь такая шумная, впечатлительная толпа, где одну газету наперебой читали несколько человек и где – о, небывалый в чухонской столице ужас! – незнакомые пылко обменивались впечатлениями, спорили, обсуждали.

Военным уступали везде и всюду первое место, по их адресу как из рога изобилия слышались радостные приветствия, пылкие пожелания одолеть врага.

Люди меняли «грим», костюм, интонацию, темперамент. Меняли в большинстве случаев до неузнаваемости, так всколыхнула всех эта война, первая такая близкая и понятная русскому человеку со времен Отечественной.

«Декорации» остались прежние. Какие бы ни разыгрались человеческие потрясения, природа никогда не меняет своих декораций. По-прежнему стояли бледные, тихие белые ночи, и яркий солнечный день сменял их серебристую, полную недоговоренной тоски, замороженную мистическую дрему...

Это были уже последние белые ночи. С каждым днем становилась гуще и затушеванной бессонная мгла.

Это – последняя прогулка Веры Клавдиевны и Загорского.

Их потянуло к природе, на острове. Но не туда, где показывает себя тщеславный муравейник, не на «Стрелку», где шагом плетутся, тесно скучившись экипажи, а вглубь, где никого нет.

И в самом деле, могло почудиться, что их на ковре-самолете перенесло куда-нибудь далеко-далеко в равнинную глушь. Тихо... Не долетает ни один звук. И скрадываются прозрачные дали, и можно подумать, что кругом подступил дремучий, густой лес. Цепенеют сонные

чащи... Скошенная полянка, и клубится над нею молочный туман. Свежий запах разбросанных там и сям копен сена так и дышит... И какой аромат! Дальше тусклым зеркалом отсвечивает вода, и тоже туман шевелится над нею.

Два силуэта слились в один – так близко прижались друг к другу Вера и Дмитрий. И близость разлуки, – он уедет совсем-совсем на днях, – сообщает какую-то особенную остроту их мыслям, чувствам, прикосновениям.

Понимая и умом и сердцем, что ему необходимо ехать на войну и что не может иначе и быть, но подталкиваемая бессознательным эгоизмом любящей, Вера молвит:

– Зачем?.. Останься... Разве нам нехорошо будет вместе?..

– Вера, не отговаривай. Ты, – да, да, не возражай! – сама презирала бы меня, если бы я остался здесь... – продолжал Загорский. – Я должен быть на этой войне, понимаешь, должен! Я не стану драпироваться перед тобой в тогу какого-то особенного патриотизма. Нет! Фальшь звучало бы! Я не скажу тебе, что я непременно желаю умереть за Россию, потому что умирать вообще никому не хочется, даже храбрейшим из храбрых. У меня другие соображения личного характера. Так как после всего выстраданного имею же я право на личную жизнь? Слушай, если я пойду рядовым (иначе я не могу пойти), при благоприятных условиях, отличившись, я могу вернуть себе права – и тогда, тогда моя Вера не будет женой «человеческого недоразумения».

– Дима, ты обижаешь меня. Неужели ты думаешь, что я, для которой ты – все, решительно все, буду видеть смысл своей жизни в тебе и только в тебе, что для меня играет какую-нибудь роль дворянин ты или «человеческое недоразумение»? Да я пошла бы за тобой куда хочешь, на каторгу пошла бы...

– Убежден в этом, безмерно счастлив твоим признанием, но... Поверь, я не хочу, чтобы кто-нибудь посмел сказать:

«А, великолепный Горский! В мирное время он был блестящим офицером, окружал себя комфортом на дежурствах в полку, а теперь, когда война, этот самый Горский, пользуясь своим бесправием, как щитом, получает в банке свое жалованье...»

Этого не должно быть, этого никто не посмеет сказать! В виде особенной милости мне позволено поступить рядовым в любой из армейских кавалерийских полков. Ты знаешь, я уже снесся телеграммой с черноградскими гусарами и заручился согласием. Там, на фронте, я покажу, что Загорский умеет воевать не хуже других...

– А если... если, сохрани Бог, что-нибудь случится?..

– Было бы глупо с моей стороны обнадеживать, уверять, что я вернусь целым и невредимым. Обыкновенная жизнь полна случайностей, что же говорить про войну?! Могут убить, на лучший конец – ранить. Но много шансов и за то, что я уцелею. А раз уцелею, мне удастся заслужить пару солдатских Георгиев. А повезет – может быть, и «полный бант». Но даже и один крест вернет мне если не все, то, во всяком случае, самое главное.

– Жутко мне, страшно... – вздрагивая вся, прильнула Вера щекой к его лицу.

И оба смолкли. Сказочной тишиной объято все. И густые купы деревьев, и гладь уснувшей воды, и клубившийся над поляной туман. Все гуще и гуще реял он меняющимися очертания косматыми клочьями. Копны сена чудились каким-то заколдованным лагерем. Лагерем каких-то сонных витязей.

Загорский хотел успокоить девушку, рассеять ее сомненья, но боялся нарушить безмолвие ночи с ее очарованием и сонными, затаившимися где-то близко таинственными шорохами...

Дмитрий Владимирович заявил банкиру о своем уходе.

Банкир, пожилой мужчина, гримировавшийся под англичанина (втайне он завидовал манере и умению Загорского одеваться), был несказанно удивлен.

– Что я слышу? Вы надеваете солдатскую шинель и отправляетесь на позиции? Хотите чтобы вас там убили?! Зачем это? Кому это нужно?.. Оставайтесь, право! Я только что хотел

накинуть вам сотню в месяц, а вы – сражаться! Охота же? Наполеоновской карьеры все равно не сделаете, – пошутил банкир, обнажая в улыбке вставные зубы.

– Альфред Казимирович, я не буду вам объяснять мотивов, да и это не нужно вовсе, а только мое решение непреклонно и...

– И переубедить вас невозможно! Это я сам отлично знаю, характер у вас железный. Итак, вы покидаете нас?

– На время войны... А вернусь жив и здоров, – первым делом к вам, если найдется место.

– Для вас – всегда! О, после войны богатые перспективы, вам найдется кипучая работа за границей. Я вас никому не отдам, имейте в виду, Дмитрий Владимирович, никому! Вы получаете неопределенный в смысле времени отпуск. Вы будете числиться в отпуске с сохранением половинного содержания.

– На каком основании? Я протестую...

– Нет уж, Дмитрий Владимирович, пожалуйста, не протестуйте! На войне деньги, да еще рядовому, который будет получать... сколько там? полтора рубля в месяц, что ли? – нужны. Вы куда, в кавалерию?

– Да, в конницу.

– Вот видите!. Хотя и рядовым, не сядете же вы на солдатскую строевую лошадь. Для этого вы большой барин, вам подай гунтера, а за гунтера бедно-бедно, – я ведь сам интересуюсь конским спортом и на каруселях у Кона катаюсь, – бедно-бедно рублей шестьсот заплатить надо. Так вот, я прошу взять от меня полторы тысячи авансом на лошадь и экипировку, а вернетесь – будем высчитывать двадцатипроцентное погашение из жалованья.

– А если не вернусь?

– Ну, тогда ничего не поделаешь, – развел руками банкир. – С того света не взыщешь, а я от потери тысячи пятисот рублей не обеднею. Но этого не будет, я верю в вашу звезду!

– Я сам в нее верю, хотя и не фаталист. Свою судьбу мы сами отчасти держим в руках.

– В таком случае одно могу сказать: вашу судьбу, Дмитрий Владимирович, вы отдадите в надежные руки.

– Благодарю вас.

– Не за что... Сами себя благодарите, вы – одна из самых одаренных натур, которые когда-либо встречались мне, а ведь я на своем веку не мало перевидал людей. В заключение скажу следующее: хотя я лично и против вашего порыва и охотнее желал бы видеть вас у себя, чем на позициях, но к вашему желанию... Я преклоняюсь перед ним. Не говорю: «прощайте», говорю: «до свидания!»

В сутки Загорский экипирован был весь с головы до ног, и хотя он оделся в форму, как полагается нижнему чину, однако было что-то изысканное, щегольское и в защитной рубахе, и в синих чакчирах, и в мягких, легоньких сапогах с гусарской кокардой.

Вера Клавдиевна в первый момент не узнала Загорского... После штатского Дмитрия Владимировича, которого она привыкла видеть, стоял перед ней солдат-кавалерист, гибкий, стройный, довольно широкий в плечах и тонкий в талии, охваченной поясом красноватой кожи. Рядовой с лицом английского лорда...

– Тебе идет форма, тебе все идет, – влюбленно вырвалось у девушки. – И то, что бреешь усы, так стильно! А тебя не заставят отпустить усы?

– Не заставят, милая моя детка, я сумею завоевать себе исключительное положение.

– Еще бы, с твоим обаянием! Ты сумеешь всех подчинить себе!

– Всех – не всех, но чувствую, что плохо не будет. Полк принял меня охотно, а это показатель многозначительный. Мне верят, верят, что я порядочный человек, хоть суд и покарал меня.

Загорский уехал догонять полк, еще не бывший в деле, но в полной боевой готовности наचेку стоявший у австрийской границы.

И жениху и невесте была разлука в большую тягость. Загорский, умевший владеть своими нервами, был наружно спокоен, и только глаза его отражали такую непривычную для них, всегда решительных и холодных, бесконечно трогательную нежность. И Вера пыталась крепиться до последней минуты, но в конце концов, когда уже в вагоне (Дмитрий ехал по положению в третьем классе) они сказали друг другу последнее «прости», девушка, не выдержав, заплакала:

– Теперь я останусь одна... совсем одна...

– Ты останешься со мной, я буду писать часто...

Уплыл поезд, и в затуманенных глазах Веры Клавдиевны растаяло дорогое лицо...

Он будет писать ей, она будет этим жить, от письма до письма...

Вера начала привыкать к своему новому месту у мадам Карнац, где многое казалось ей странным. И вскоре так повернулись события и девушку подхватил такой необыкновенный и жуткий вихрь, как это бывает лишь в самых увлекательных романах...

23. «Содержанка» банкира

Загадочна и темна была национальность Мисаила Григорьевича Айзенштадта. Никто не мог сказать ничего определенного. Сам же Мисаил Григорьевич – в особенности за последнее время, с начала войны – говорил следующее:

– Мы – сербского происхождения... Лет назад тому триста-четыреста наша фамилия была Железновац. Но один из моих предков переселился в Австрию, и там его поспешили онемечить, навязав ему фамилию Айзенштадт. Ужасные подлецы, эти швабы... бродяги, ничего с ними не поделаешь! Такая наша славянская доля – терпеть от этих мерзавцев!

Мисаил Григорьевич заливался хриплым, веселым смехом. Колыхался животик, и свинцовые глаза его мышатами бегали во все стороны...

В качестве «сэрба» Мисаил Григорьевич вместе с толпой манифестировал у сербского посольства, а затем, исчезнув на две-три минуты, вынырнул вновь уже на балконе рядом с дипломатическим представителем Сербии. И толпа убедилась, что банкир свой человек в посольстве дружественной славянской монархии.

Мисаил Григорьевич не остался безучастным созерцателем, текущей действительности. Он чутко внимал всем нуждам войны, и так как ему возможно скорее хотелось перевоплотиться в Железноградова, от открыл свой собственный лазарет имени Сильфиды Аполлоновны.

Открытие, как и следовало ожидать, было пышное, в присутствии не только «свадебных», но и заправских генералов.

В газетных отчетах «среди присутствующих» упоминались министры.

Один из них поцеловал у Сильфиды Аполлоновны руку. Об этом не говорилось в газетах, но об этом живой двуногой газетой на весь город трубил сам Айзенштадт:

– А вы знаете, Перемычкин поцеловал у моей Сильфиды Аполлоновны руку. Так-таки поцеловал! Честное слово!

Враги и завистники, – а таких было много у блистательного банкира, – шутили, что этот поцелуй обошелся ему в двести тысяч, в смысле какого-то на что-то пожертвования...

Из Рима Айзенштадт получил утешительную весточку. Аббат Манега писал ему, что вопрос о камертерстве подвигается вперед весьма и весьма. Необходимо, однако, для ускорения, чтобы Мисаил Григорьевич сделал какой-нибудь нажим в сторону осязательной полезности святейшему престолу, кроме тех взносов в ватиканскую казну, которые уже переведены.

Одним из таких нажимов была бы материальная помощь католическому населению Калиша, разоренному ужасами войны.

Мисаил Григорьевич немедленно же проявил чрезвычайную заботливость и нежность по отношению к жертвам знаменитого майора Прейскера.

Но, исполняя свой долг патриота и гражданина, Мисаил Григорьевич не забывал и про свою личную жизнь.

Благодаря дипломатическому посредничеству адмирала Обрыдленко желание иметь шикарную содержанку осуществилось. Дважды в неделю Мисаила Григорьевича видели с самой модной женщиной Петрограда. Видели на Стрелке, на скачках, у Эрнеста, куда они заезжали обедать после скачек.

Сплошь да рядом бывало так: в одном автомобиле едут Айзенштадт с Искрицкой, а в другом, навстречу, Сильфида Аполлоновна с кем-нибудь. И когда обе машины равнялись, тяжеловесная банкиресса покровительственно улыбалась, поясняя лицу, сидевшему с ней рядом:

– Вы знаете, это «наша» содержанка!

Но по украинской пословице: «Як мед, та и ложкою», – Мисаил Григорьевич жалел, что Искрицкая – просто Искрицкая, без всякого титула.

– Хорошо, если бы она сделалась княгиней или даже графиней! В городе говорили бы: «Мисаил Григорьевич живет с графиней такой-то»... «У него на содержании княгиня такая-то»... Было бы очень хорошо! Ей-Богу, ничего не стоит найти какого-нибудь промотавшегося титулованного господина. Сунул ему в зубы несколько тысяч – и готово!

Мисаил Григорьевич сообщил свои планы Искрицкой. Та не имела ничего против.

Обрыдленко подучил от своего патрона эту новую миссию.

– Надо подыскать подходящего князя или, в крайнем случае, графа.

– А если не найдем ни графа, ни князя, – может быть, ограничимся бароном? Легче найти... – замкнулся Обрыдленко.

– Что такое? Адмирал, вы с ума сошли! Барон – это немец! Это непатриотично! Мы воюем с немцами, а вы навязываете мне барона! Я не хочу, да и она не захочет!

Мисаил Григорьевич знал, что все выдающиеся финансисты и банкиры Европы что-нибудь коллекционируют. Одни – гобелены, другие – старинную живопись, третьи – художественные табакерки, четвертые – оружие. Так надо. Это хороший тон. Это показатель вкуса.

Айзенштадт решил коллекционировать миниатюры. И вот под рукой были оповещены все петроградские антиквары, что буде случатся у них ценные миниатюры художественной работы, немедленно же поставить в известность об этом владельца особняка на Сергиевской Мисаила Григорьевича Айзенштадта.

Утром в своем кабинете Мисаил Григорьевич, нечесаный, невымытый, в халате, закапанном свежими кофейными пятнами, беседовал с корректно одетым господином, у которого было лицо бандита – исчерна-смуглое, с крупными резкими чертами. Это был гражданин республики Никарагуа. Айзенштадт беседовал с ним относительно своего «консульства». Владелец разбойничьей физиономии и носитель длинной, странной для уха и неудобоваримой для языка фамилии обещал устроить Мисайлу Григорьевичу пост консула республики Никарагуа в Петрограде. На письменном столе затрещал телефон. Вошедший на барский звонок лакей снял трубку.

– Алло!

– Мисаил Григорьевич дома?

– Их превосходительство дома. Кто их спрашивает?

– Антиквар Егорнов.

– Антиквар Егорнов? – повторил лакей, глядя на своего барина.

– Давай сюда трубку!

– Ну, я слушаю?

– Это вы, ваше превосходительство?

– Да, это – мое превосходительство. Что скажете?

– Есть у меня для вас две очень замечательные миниатюры. На редкость! Не угодно ли взглянуть?

– Почему нет... Вы можете их сейчас доставить? Привезите сейчас.

– Буду через двадцать минут.

Через двадцать минут Мисаил Григорьевич, отпустив именитого гражданина республики Никарагуа, сидел в кабинете один и задумчиво грыз обкусанные мягкие ногти.

Лакей ввел к нему Егорнова. Кивая рыжей бороденкой, торговец показывал банкиру свой товар.

– Вы только взгляните, ваше превосходительство. Работа какая! Тончайшая! Кисть божественного Изабея! Это Мейсонье начала девятнадцатого века. Да что Мейсонье! Он ему, Изабею, с позволения сказать, в подметки не годится! Князь Двигубский увидел, – так и затрясся! «Продайте!» – говорит, а я ему: «Нет, ваше сиятельство, опоздать изволили, у меня есть уже покупатель».

– Это который Двигубский? Товарищ министра?

– Он самый, ваше превосходительство.

– Пускай не беспокоится, я беру эти миниатюры. Только вы ему так и скажите, что я беру. Я! А что это такие за господа?

– Король и королева Кипрские.

– Я про таких не слышал. А вы откуда знаете, что это король и королева Кипрские? А может быть, это совсем даже не они?

– Они самые! Никакого сумления. У родного внука приобрел. Старик мне принес, – вид барский, вельможный, а только не в авантаже. Порода важнеющая, а бедность! Выследил. Сосед! В меблированных комнатах живет. Швейцару полтинник в зубы, – всю подноготную выложил. Как есть настоящий король, при полном татуле, а только жрать не...

– Так и называется король Кипрский? – зажегся вдруг Мисаил Григорьевич.

– Больше скажу, ваше превосходительство: титул евовный настоящий – король Иерусалимский и Кипрский.

– Да не может быть! И живет в меблированных комнатах?!

– Секите мне голову, коли соврал.

Охваченный приливом какой-то особенной радости, Айзенштадт нервно грыз ногти. Потом вскочил, запахивая на животе длинный халат, путаясь в нем.

– Я только на минуточку сбегаю к генеральше.

– А как же миниатюры, ваше превосходительство?

– Подождите с миниатюрами! Я их беру, и чего же еще!.. Сколько?..

– Да за парочку двух петушков не мешало бы...

– Тысячу? Нельзя! Любую половину! Вы меня подождите, – бросил на ходу банкир.

Егорнов ухмыльнулся в бороде. На худой конец и петушка довольно. Сам заплатил ведь гроши.

А Мисаил Григорьевич неся через всю квартиру. По дороге спросил у комеристки:

– Где генеральша?

– Они в спальней, у них массаж.

Сильфида Аполлоновна лежала всеми рубенсовскими телесами своими на широченной людовиковской кровати с пышным балдахинном. Высокая, мускулистая шведка от мадам Альфонсин изо всех сил старалась согнать лишний жир с тучной банкирессы. Казалась, шведка в белом балахоне, с засученными по локоть рукавами, месит горы какого-то мягкого белого теста.

Шведке-массажистке было внушено не жалеть ни своих рук, ни самой Сильфиды Аполлоновны, только бы достигалась цель. И когда стальные пальцы этой высокой скандинавской блондинки особенно больно ципали непечатые залежи мяса, рыхлого, жирного, Сильфида Аполлоновна мужественно стискивала зубы. Ничего не поделаешь...

Pour être belle, il faut sovoir souffrir...

– Ой! – задрыгав ногами, вскрикнула банкиресса. При виде мужа ее охватил порыв целомудренной стыдливости.

– Ничего, ничего, я не смотрю! Слушай, Сильфидочка, вот идея – прекрасная идея...

Она что-нибудь понимает по-русски? Не идея, а эта красавица?

– Ни одного слова.

– Тем лучше, я могу свободно говорить.

Шведка буквально в поте лица продолжала свой труд, труд нелегкий – массировать такую гороподобную тушу. И, несмотря на всю тренировку, лоб и лицо скандинавской богатыршн увлажнились росинками, блестящими на утреннем солнце.

– Понимаешь, король, настоящий король! Живет в каких-то паршивеньких меблированных комнатах. Титул, какой титул! Король Иерусалимский и Кипрский. И, представь, его, королевскому величеству жрать нечего. Так мне пришла идея: выбросить ему, ну, сколько там...

двадцать, двадцать пять тысяч, – и пускай он женится на Искрицкой. Морганатический брак! И тогда наша содержанка будет королевой Кипрской и все будут говорить, что я живу с королевой. Что ты скажешь на это?..

– Что я скажу? Только ты не смотри на меня. Ты смотришь, паскудник, одним глазом!.. Смотришь, я вижу! Отвернись! Я скажу, как всегда, что ты гений. Неужели настоящий король?..

– Самый настоящий! Но я же не дурак, я потребую бумаги. Покажи мне черным по белому, что ты король. Я же себя обмануть не позволю, я не позволю. Я сейчас вызываю по телефону адмирала. Так ты меня благословляешь?

– Он еще спрашивает? Руками и ногами!

Сияющий Мисаил Григорьевич вернулся в кабинет, сплавил Егорнова, сунув ему пятисотрублевку, и позвонил Обрыдленке, сказав, что посылает за ним автомобиль.

Через пятнадцать минут адмирал, щуря сквозь пенсне медвежьих глазки свои, входил в кабинет.

– Вы слышали о короле Кипрском? – огорошил его с места в карьер патрон.

– Слышал. Даже знаю лично. А что? Он ведь, кажется, умер?..

– Так же, как и мы с вами! Аккурат – так же! Он здесь в Петрограде и живехонек. А вы его откуда знаете?

– Это было... это было в 69-м году. Я тогда молодым лейтенантом приезжал в Париж с морской миссией. Все мы были приглашены императором французов на бал в Тюильрийский дворец. И на этом балу я был представлен Кипрскому королю. Тогда ему уже перевалило за сорок, но это все еще был красавец удивительный. Один из самых элегантных мужчин Второй империи.

– А теперь он ходит без сапог и живет в какой-то трущобе. Слушайте, адмирал, я хочу его женить на Искрицкой! Ему нужны деньги, ей нужен титул. Она будет королевой. Шикарно, чертовски шикарно! Поезжайте к нему, привезите сюда, и мы покончим, живо, по-американски.

Будущий консул республики Никарагуа уже чувствовал себя американцем.

Обрыдленко замялся.

– Не знаю, будет ли это удобно, Мисаил Григорьевич...

– Чего там неудобно! За деньги все удобно. Какие там щепетильности, если он не имеет штанов! А будет ломаться, мы ему отсыпшем побольше денег. Я готов идти до пятидесяти тысяч, меня это забавляет, ей-Богу! Это не какой-нибудь граф из Вяземской лавры. За королевский титул не жаль и пятидесяти тысяч...

24. Ошеломляющее открытие

С отъездом Загорского все как-то потемнело, погасло кругом для Веры Клавдиевны. Помыслами и душой она была вся целиком с ним. А здесь, здесь осталась Вера Забугина, «конторщица» мадам Карнац, высиживавшая положенные часы на Конюшенной, убивавшая свободное служебное время чтением, одинокая, совсем одинокая, если не считать Кипрского короля, за которым она ухаживала, как за отцом.

Старик сетовал на подагру, интересовался ходом войны. Девушка переводила ему на французский телеграммы с фронта.

Король огорчился неудачами французов, успехи же их радовали его. Все самое лучшее, самое блестящее в жизни одряхлевшего скитальца связано было с Францией. Он без слез говорить не мог об этой стране. А теперь слезы все чаще и чаще блестели на глазах старика, скапываясь по бледным щекам.

– Моя милая Корделия, неужели эти варвары завоюют мою прекрасную Францию? Этого быть не может! Нельзя, чтобы погибла Франция. Нельзя... Франция одно из красивейших в мире явлений. Там все красиво – гибкий ум, патриотизм, культура и даже республиканская, буржуазная Франция, даже она... Ах, Париж. Я не могу себе представить немцев, марширующих по большим бульварам через площадь Согласия, это было бы таким чудовищным оскорблением... Хотя эти негодяи в семидесятом году вошли в Париж и прусская гвардия стояла у арки Звезды, но в самом сердце Парижа не вошла. Тьер со слезами умолял Бисмарка не делать этого. Если б скинуть мне с плеч каких-нибудь всего пятнадцать лет, я, не задумываясь поехал бы во Францию и вступил бы в ряды ее армии. Эта славная кавалерия с наполеоновскими традициями. Каски с развевающимися хвостами, эти кирасы... Я был свидетелем бешеных, атак, когда французские эскадроны сметали германскую пехоту...

Старик преображался. Беспомощные детские слезы как-то незаметно высыхали. Вдохновенный огонь вспыхивал в глазах под седыми бровями, и чем-то пророческим звучал голос в моменты, когда последний Лузиньян доказывал, что Франция не может, не должна погибнуть, что это было бы величайшей несправедливостью на земле.

Король догадывался об отношениях Загорского и «своей Корделии» и что «дети» любят друг друга. Пишет ли Загорский ей? Каковы его первые впечатления с войны? Вера читала королю отрывки писем жениха, где он всегда передавал поклон *à sa majesté royale*.

Такое почтительное внимание трогало всеми забытого последнего Лузиньяна.

– Очаровательный молодой человек! Очаровательный! Я не сомневаюсь, что и как солдат он покроет себя славой.

Катастрофа с Загорским была неясна, туманна для короля, но он угадывал какой-то излом, крутой, резкий в его оборвавшейся карьере. Лузиньян ободрял девушку:

– Он порадует, нас офицерскими эполетами! Вот увидите, моя маленькая детка. С его характером, выдержкой, с военным образованием он, вне всяких сомнений, натворит больших дел.

Вера, вспыхивая, краснела, опуская веки. Лузиньян любовался ее застенчиво-радостным личиком.

Так проходили вечера. Утром – газеты. Вера вдвойне интересовалась войной – вообще и в частности потому, что на далеких (они казались бесконечно далекими) полях славы и смерти находился ее кумир, ее Дима.

А после чтения газет – наскоро выпитый чай и служба.

Контора, где за письменным столом проводила свои часы Забугина, была первой комнатой налево из передней. Тут же в передней висел поминутно дребезжавший телефон.

Другие двери, тотчас же за спиной конторщицы, наглухо забитые, вели в столовую. И хотя с обеих сторон спускались глухие драпировки, но говор, даже не особенно громкий, в одной из смежных комнат был отчетливо слышен по соседству.

В этот день мадам Альфонсин с утра уехала в Царское Село, вызванная туда экстренно очень важной и очень знатной клиенткой своей. Господин с внешностью провинциального фокусника готовился принимать пищу в адмиральский час в единственном числе. Вера, которой полагался «маленький завтрак», выговорила себе право завтракать в конторе, не желая встречаться за одним столом с господином Антонелли. Звонок. Бойкая горничная впустила длинного, с костистым, бесцветным лицом блондина в военной форме.

– Дома?

– Барин дома, а барыня уехали.

– Кого я вижу? Шацкий... да! – послышался голос бакенбардиста.

Прятели расцеловались.

– Хорошо, что ты пришел, будем завтракать вместе, да... а то одному скучно. Будет бифштекс с жирком... это хорошо под водку... да...

Продолжение беседы Вера слышала через дверь. Стучала посуда, стучали ножи.

– Наливай!

– Держи рюмку... держи... да...

– А водка холодная...

И чем больше друзья вливали в себя холодной водки, тем громче развязывались словоохотливые языки.

– Ну, как в общем живешь, Евгеша? Живешь... да...

– Да вот, понимаешь, возни до черта мне с этим самым Корещенкой! Охаживаю около да вокруг – ничего не выходит! И раньше эта морда Юнгшиллер покоя не давал мне – вынь да положь ему чертежи корещенковских «истребителей», а теперь, как началась война, дует меня и в хвост и в гриву!

– Это понятно. Да... Немцам только намеки, а уж они при своей технике живо соорудят какие угодно истребители... Давай рюмку... Холодная, люблю, знаешь, когда графинчик вспотеет... Вспотеет... да... Ну, какая там еще ерундовина у тебя на заячьем меху, неужели так и сядешь в калошу?

– Твое здоровье, дружище... Зачем садиться, не таковский я человек!

Вера Клавдиевна завтракала у себя. Вначале машинально слушала, но когда собеседники заговорили о том, что немцы с их техникой сумеют быстро использовать новое изобретение русского человека, нож и вилка застыли в ее руках, да и она вся застыла, вслушиваясь, боясь проронить хоть единый звук, боясь, что субъект в военной форме и Седух либо начнут говорить тише, либо перейдут к другой теме...

Но – ни того, ни другого. После нескольких рюмок приятели, забыв всякую осторожность, почти кричали и такое кричали, что не всякий и шепотом говорить отважится...

– Нет, мы в калошу не сядем, только за все надо браться с умом. Надо испробовать все пути. Сам Корещенко чертежи держит за семью замками, зубами не выгрызешь! Механик его предан ему, как собака, этого не купишь. Какие же еще открываются горизонты?

– Выкрасть, и все... выкрасть... да...

– И дурак! Чернобородый дурак, ваша милость, я ведь тоже не лыком шит! Взвешивал и так и этак. Выкрасть можно, – хотя и трудновато, однако можно... А толк от этого выйдет какой? Скандал, огласка! В делах военного и политического шпионажа необходимо, чтобы все было тихо, гладко, без сучка-задоринки.

– Ну, и будете ждать случая, пока война кончится. Кончится... да...

– Нет, не будем! Знаешь, что мне пришло в голову? За водкой всегда приходят великие мысли... Привлечем мы к этим самым истребителям, – Юнгшиллер будет на седьмом небе от радости, – Елену Матвеевну Лихолетьеву!

– Ты с ума сошел! Такую особу? Наша клиентка, клиентка... да... гордимся... да... особа...

– Для тебя особа, а для меня – «Елена Матвеевна, пожалуйста ручку». Вот мы тут пьянствуем вместе, а ты Шацкого не знаешь... Молчи, молчи, не знаешь! У Евгения Эраетовича Шацкого такие пружины, такие ниточки – рот разинешь.

– Ты большой хвастун, хвастун... да... Чем ты можешь доказать твоё знакомство с Еленой Матвеевной... да... Как она тебе в этом деле поможет? В этом деле, да?

– Как? А ты слушай, повесь свои длинные уши на гвоздь внимания... Тебе, так сказать, социальное положение Елены Матвеевны известно?

– Я думаю, еще бы неизвестно?! Кто же не знает... да...

– Ну, вот... Обстоятельство, что супруг под башмаком и она им вертит, как хочет, и обведет вокруг пальца – тоже известно... Представь, что от имени Лихолетьева, а на самом деле от имени супруги, потому что муженек ничего и не подозревает, внушительный этакий господин официально заявляется к господину Корещенке и так, мол, и так, сударь вы мой, его высокопревосходительство заинтересован вашим изобретением, а посему соблаговолите дать мне весь графический материал, специалисты с ним ознакомятся, – а потом и вас вызовут для дачи соответствующих пояснений... Комментарии, как говорится, излишни... Впрочем, ты уже осовел, кажется, и без комментариев ничего не поймешь. Важно хоть на несколько часов заполучить Елене Матвеевне корещенковский материал, а наши специалисты живо его скопируют. Понял? А теперь – вторая часть твоих неосновательных сомнений... Пойдем к телефону, я вызову при тебе Елену Матвеевну и буду говорить с ней...

– Хорошо, пойдем, да... только на дорогу еще один посошок... посошок, да... И ты вхож к ним в дом?

– Конечно, вхож! Я, брат, Елену Матвеевну еще во какой помню! Гимназистом был и знаю нечто многое такое... Это здесь она для вас герцогиня, а я помню другие времена... Ну, марш к телефону.

– Идем... любопытно... да...

Вера Клавдиевна слышит приближающиеся шаги. Дверь перед ней была открыта настежь. Чтобы Седух не заподозрил девушку в подслушивании, она, отодвинув поднос с остатками завтрака, притворилась углубленной в книгу.

В дверях показались черные баки. Седух испытующим взглядом окинул Веру Клавдиевну, захлопнул дверь, бросив Шацкому:

– Говори тише... тише... да...

Но в соображение Шацкого не входило «тише». Наоборот, пусть красивая конторщица слышит. Это поднимет в ее глазах его «шансы».

– Барышня, а барышня, дайте мне номер...

Шацкий назвал очень маленький номер.

– Передайте, что Елену Матвеевну Лихолетьеву вызывает Евгений Эрастович Шацкий. Да поторопитесь, барышня...

– Молодец, честное слово, молодец!..

– В своем отечестве да еще стесняться, какого черта! Ну, я слушаю, барышня. Кто у телефона? Елена Матвеевна? Здравия желаю, как ваше драгоценнейшее, Елена Матвеевна? Видеть надо вас по важному делу. Когда разрешите заехать? Что? Завтра? Желательно сегодня. В каком часу? В каком прикажете! В четыре? Прекрасно, минута в минуту четыре буду у вас... Имею честь кланяться, целую ручку...

– Евгений Эрастович с треском повесил трубку.

– Ну, что, Фома неверный, убедился?

– Молодчина, да... пистолет, что называется... да... У тебя есть еще такие знакомства? У меня связи, так это я понимаю, я доктор, доктор... да... молодость возвращаю, а ты... да...

– А я беру в долг и никогда никому не возвращаю, – скаламбурил Шацкий: – И все-таки у меня такие знакомства, до которых ты еще не дорос! Ну, пойдем в столовую, время переходить на пиво... Потом есть у меня еще одно дело, а затем в четыре к Лихолетьевой... Шагом марш!левой, правой, лес кудрявый, раз, два, голова! Я тебя научу маршировать...

Широко раскрытыми, ничего не видящими глазами смотрела Вера Клавдиевна в книгу. Прыгали строчки, сливались. Забугиной чудилось, что Седух подсматривает за нею. Все, что слышала, – а слышала она от слова до слова, – ошеломило ее, навеяв какой-то жуткий столбняк. Так вот оно что! Недаром же сулил ей Дима какие-то необыкновенные впечатления... Уж чего необыкновеннее! И в жар и холод кидает. И растерянная, в каком-то хаосе, Вера никак не могла собрать свои мысли, спутанные, бессвязные, прыгающие...

25. Явился в полк

Штаб Черноградского гусарского полка стоял почти на самой границе, в маленьком еврейском местечке.

На этом участке боевых столкновений еще не было. Разъезды, наши и неприятельские, пока не сближались.

Австрийцы на несколько верст в глубину фронта обнажили свою границу, и наши гусары старались нащупать врага, проникая в Галицию шоссейными и полевыми дорогами.

Фактически война уже началась. С флангов доносились вести о маленьких стычках, о своих потерях и неприятельских, о первых – и поэтому самых дорогих – пленных.

Одни черноградцы пока бездействовали, – вынужденное бездействие в ожидании столь манящего боевого крещения.

Обыватели глухого местечка, побогаче, вместе с чиновниками поспешили эвакуироваться кто куда, в более безопасный тыл. Осталась лишь беднота и голь, которой некуда было деваться. С виду сонная жизнь волынского захолустья мало чем изменилась лицом к лицу с войной.

Как всегда, меланхолически бродили по кривым пустынным улицам еврейские козы. Вдоль покосившихся заборов бесшумно двигались фигуры старых, согбенных, седобородых евреев. На базарную площадь съезжались из окрестных сел мужики в соломенных широкополых «брилях».

Гусарский полк, ежеминутно готовый выступить всеми своими шестью эскадронами, внес какое-то особенное боевое оживление, в это местечко, погруженное в вековечную дрему. От штаба взад и вперед носились, гудя, автомобили, мотоциклетки. Мчались по всем направлениям конные ординарцы. Мужички на базаре густо облеплялись новыми покупателями в защитных гимнастерках и в синих штанах с желтым гусарским кантом.

Местный еврейский богач Зусьман уехал с многочисленной семьей своей в Киев. Дом его, новенький, светлый, с громадным, как фонарь, прозрачным крыльцом, отведен был под штаб. В крыльце устроились телефонисты со своим полевым аппаратом, и он поминутно жужжал, глухо, басисто, как майский жук.

В комнатах с мягкой мебелью в парусиновых чехлах, с навощенными полами в матерчатых дорожках собирались офицеры к завтраку и обеду. Командир полка флигель-адъютант Пехтеев, молодой плотный блондин с молочно-светлыми глазами, занимал спальню супругов Зусьман. Спальню с двумя железными кроватями, спинки которых были разрисованы пейзажами.

Этим утром сидели в столовой за чаем. Пехтеев с надушенной бородкой, вымытый, выхваленный, розовый, и командир первого эскадрона Тимской, брюнет южного типа, подвижной, сухощавый. Когда молчал – это был почти красавец – правильные черты, глаза, опущенные, длинными ресницами. Но стоило ему заговорить или улыбнуться, – все пропадало, – так глубоко обнажались десны с черными корешками гнилых, «съеденных» зубов.

Речь шла о Загорском. Его ждали в полк. Вот-вот должен приехать.

Полковник вынул из кармана малиновых чакчир золотой, усыпанный монограммами, белыми пажескими крестиками и погонами портсигар и закурил папиросу.

– Бедняга этот Горский! Мы с ним вместе кончили корпус. Не случись «этого» с ним, он был бы день в день вместе со мной произведен в полковники... Судьба...

– Кismet, как говорят у нас на Кавказе, – молвил Тимской, переведенный в черноградские гусары из знаменитого драгунского полка, стоявшего в Тифлисе.

– Ты возьмишь, его в свой эскадрон, – сказал Пехтеев, – только не очень цукай. Надо войти в положение человека.

– Зачем цукать? Но и поблажек особенных отказывать не следует. Война для него искупление, пусть воюет!

– Ну, конечно, конечно! – согласился Пехтеев.

На пороге столовой вытянулся полковничий денщик Реутов, одетый в китель, рейтузы и сапоги с барского плеча.

– Ваше высокоблагородие, позвольте доложить.

– Что такое?

– Так что рядовой Загорский приехал, хотит представиться вашему высокоблагородию.

– Вот легок на помине, – улыбнулся Пехтеев ротмистру. – Извини, Тимской, оставь нас на минутку... Понимаешь... ему будет неловко... смутится... А потом я тебя приглашу и официально представлю его тебе, как эскадронному командиру.

Тимской вышел в соседнюю «канцелярию», где писарь стучал на машинке.

– Зови рядового Загорского, – приказал денщику Пехтеев.

Пехтеев сплавил Тимского ради себя скорее, нежели ради Загорского.

В самом деле, полковник чувствовал близость щекотливой и, признаться, довольно глупой минуты. Как ему встретить Загорского? Не броситься же в объятия с веселым восклицанием: «Здравствуй, Дима!» Они вместе кончили Пажеский, служили в одной дивизии. Это было, и этого не вычеркнешь. И в то же время все это умерло. Теперь между ними двойная преграда. Первая – катастрофа Загорского, сделавшая его отщепенцем общества, где он раньше царил, вторая – Загорский – нижний чин. Пехтеев – командир полка. Отнестись к нему с ледяной строгостью было бы жестоко, но в то же время необходимо выдержать полнейшую официальность чинопочитания, да еще в такую, как сейчас, военную пору. Не угодно ли? Вот положение, требующее громадного дипломатического такта! И у Пехтеева шевельнулось сожаление, зачем он принял Загорского в полк. Откажи он, и не было бы никаких хлопот. Но и отказать трудно было. Человек пошел добровольно, в надежде собственной кровью искупить ложный шаг свой, и вдруг...

Пехтеев – гвардеец с ног до головы, светский, уравновешенный, выдержанный – волновался.

А Загорский уже в комнате, уже идет к нему навстречу с той самой надменной улыбкой, обаяние которой Пехтеев помнил еще по корпусу.

Идет... А между тем должен стоять у порога, вытянувшись, руки вдоль желтых кантов... И в довершение всего:

– Здравия желаю, Вавуся! Я очень рад, что попал именно к тебе...

Голова Пехтеева мучительно работала, как быть? Сию же минуту оборвать, поставить на место забывшегося рядового... «Вавуся»! Как он смел? А вот «посмел», ничего не поделаешь... «Вавуся» – уменьшительное от Валериана. Так звали Пехтеева родители, звали товарищи в Пажеском, и это «Вавуся» осталось за Пехтеевым и в полку, и в обществе, и когда его погоны украсились флигель-адъютантскими вензелями.

И – другого выхода не было – полковник обнял рядового.

– Здравствуй, Дима, я сам очень рад видеть тебя. Повоюем вместе... Ты будешь в первом эскадроне ротмистра Тимского, милейший человек и товарищ... Тимской, поди сюда к нам, – приоткрыл Пехтеев дверь в канцелярию штаба.

Тимской с первого взгляда увидел, что встреча произошла совсем по-другому, нежели рисовал ее сам Пехтеев. Прежде всего, если у кого и был смущенный вид, так это у Пехтеева. Загорский же, чисто выбритый, холодный, с лицом лорда, хранил уверенное, невозмутимое спокойствие.

– Вот сдаю тебе его с рук на руки, прошу любить и жаловать... Дима, хочешь чаю?

Сели все втроем за стол.

Франтоватый полковничий денщик обалдел от изумления. Вот так штука! Солдат, самый обыкновенный, даже не вольноопределяющийся, – за одним столом с его высокоблагородием! Ничего не поймешь... Правда, больно рожа-то барская у него...

Денщик потерял окончательную способность соображать, услышав, что солдат самым непринужденным образом говорит полковнику «ты».

– Насколько знаю, я должен представиться господину вахмистру. Думаю, что он встретит, меня гораздо суровей, чем полковой командир.

– Да, с Гаврилой Тимофеичем Кулебякиным шутки плохи, – улыбаясь, подхватил Пехтеев.

– Нет, в самом деле, Дмитрий Владимирович, зайдите к нему... Все-таки... Зачем обижать человека? Корона с вашей головы не упадет, – любезно и даже искательно в хорошем смысле предложил Тимской.

– Полноте, ротмистр, можно ли говорить об этом? Конечно, зайду и представлюсь. Не сделать этого считал бы величайшей бестактностью. Почтеннейший Гаврила Тимофеич, наверное, даст мне парочку-другую ценных советов, как держаться в эскадроне. Ведь я служил офицером, – сколько?.. Больше двенадцати лет, во всяком случае, я почти все время в строю, а ни солдатской души, ни солдатского быта, ни его психологии я так и до сих пор не знаю.

– Ты иди к Кулебякину, и когда официально, так сказать, вступишь в эскадрон, возвращайся в штаб принимать пищу. Завтракаем ровно в час, – напутствовал Загорского Пехтеев.

– Нет уж уволь, на сегодня, по крайней мере. Сегодня обедаю в эскадроне. Иначе первое же – впечатление солдат будет не в мою пользу, и они будут правы. «Из господ, так сейчас полез к господам». Зачем? Разумеется, я для них был и остаюсь чужим, и здесь у меня более общего, но не надо резко, надо потихоньку.

Загорский вышел легкой эластичной походкой, придерживая шашку. Полковой командир переглянулся с Тимским.

– Ну, что ты скажешь? Разве применимы к нему шаблонные мерки? Принц, переодетый в солдатскую форму.

– Интересный, очень интересный человек, – согласился Тимской.

– Еще бы, голова! Какая умница. Сколько видел, путешествовал, знает.

Идя к вахмистру, Загорский чувствовал себя куда более неловко, чем перед встречей с командиром полка. Да и положение самого Гаврилы Тимофеича было, как говорится, «корявое». Он уже слышал о приеме, оказанном Загорскому в штабе полка.

– И надо же, прости Господи, в мой эскадрон! С этими барчатами просто беда, – мысленно, да не только мысленно ворчал Кулебякин.

В одном из соседних за штабом дворов стояли у коновязей лошади эскадрона. Тут же походная кухня дымила трубой и шел от нее такой вкусный, возбуждающий аппетит запах щей. Там и сам сидели и стояли гусары. Пахло кожей строевых седел. К стене сарая прислонены пики.

Гаврила Тимофеич, пожилой вахмистр, весь в углах и нашивках, бородатый, скуластый, распекал кого-то:

– Винтовка чего зря валяется? Хочешь, чтобы пыли-грязи наглоталась? Винтовка есть оружие, а потому относиться надо к ней серьезно, с уважением...

– Господин вахмистр...

Гаврила Тимофеич повернул свое красное, обгоревшее лицо.

– Господин вахмистр, имею честь явиться... Рядовой первого эскадрона Дмитрий Загорский.

Гаврила Тимофеич после некоторого колебания – еще, чего доброго, престиж уронишь (смотрит ведь кругом солдатня) – протянул руку.

– Будем знакомы, будем знакомы... дда... так... – молвил он, обдумав эту фразу и умышленно избегая местоимений.

Сказать «вы» рядовому – неловко, но в свою очередь и «тыкать» бывшего гвардейского ротмистра, да еще из больших господ – тоже не годится.

И, отведя Загорского в сторону и беседуя с ним, Гаврила Тимофеич все время избегал местоимений, говорил в третьем лице. Приходилось запинаться, подыскивать слова. Загорский задал ему вопрос, странный как бы на первый взгляд, а на самом деле весьма уместный, принимая во внимание, что бесхитростное солдатское житье-бытье имеет свой прочный уклад, свои традиции.

– Гаврила Тимофеич, как вы мне посоветуете? Как принято? Со всеми в эскадроне здороваться за руку или нет?

– Зачем со всеми... со всеми не надо. Это ежели которые с нашивками, с теми за ручку можно поздороваться... а ежели который без нашивок, ну, известное дело – политика...

Что хотел сказать вахмистр этим своим «политика», – Загорский так и не понял.

– Взводный будет («ваш» или «твой» – Гаврила Тимофеич пропустил) Петушков. Так вот с Петушковым надо познакомиться... А где обедать (будешь или будете), в эскадроне аль в штабе?

– В эскадроне, Гаврила Тимофеич, – поспешил Загорский, и ответ его понравился вахмистру.

– Тэк-с... А как же насчет ложки? Оно, конечно, можно достать...

– Ложка у меня с собой.

И действительно, из-за голенища тонкого дорогого сапога выглядывал краешек ложки.

Этим Загорский пленил окончательно Кулебякнна, и медно-красное лицо вхамистра растянулось в благожелательной улыбке.

– Это я понимаю! Обстоятельность, серьезность! Вещь маленькая... Что такое ложка? А и здесь видна политика... Н-да. Опять же, как насчет лошади? Эскадронную?

– Лошадь я привел с собой.

Так вступил Дима Горский в первый эскадрон Черноградского гусарского полка.

26. Первый крест

Странное чувство...

Давно ли, всего несколько дней назад это была граница двух империй. Невидимой стеной, с тысячами всевозможных условностей, отделяла она Австро-Венгрию от России.

А теперь война смела прочь все условности – таможенные, пограничные и всякие иные, и пять русских всадников медленно перешли на территорию. Габсбургов.

Та же самая Волянь, та же природа, те же луга, леса, холмы, так же светит солнце, только дороги да культура полей – другие. Впрочем, не только это. Затаившимся чем-то, мистическим веяло на Загорского от галицкой природы при одном сознании, что это – чужая земля чужих людей, которых будет защищать чужая армия.

Чужая...

Отошла, отодвинулась, обнажив границу. Но где-то близко спружинилась, чтоб, выждав, в удобный момент нанести удар. Ее не видишь, ее угадываешь. Она высылает вперед свои глаза, свои щупальцы, свои уши.

Нет-нет и зареет капризными толчками в небесах аэроплан. Все чаще и чаще стали показываться конные разведчики.

Да вот легки на помине.

Посланный с четырьмя нижними чинами Загорский, огибая излучину дороги с подступившим к ней лесом, увидел шагах в двухстах троих всадников – щеголеватых венгерских гусар. И это было очень, очень близко. Оба разъезда не сошлись лицом к лицу потому лишь разве, что и тот и другой двигались шагом. Можно было разглядеть во всех подробностях красивую оперную форму мажарских наездников. Красные мягкие головные уборы, голубые венгерки, теплые, отороченные мехом, несмотря на летний зной. Ало-сургучного цвета рейтузы. Один из всадников, одетый богаче и нарядней, сидевший на чудесной полукровке, – офицер.

Короткий миг, взаимного колебания, миг, определивший, кому что выпало: венгры, не желая встретиться в «шоке», трое против пяти, повернули коней и напрямик, без дороги, целиной через поле кинулись наутек.

Загорский, охваченный спортивным охотничьим чувством, дав шпоры своей лошади, погнался за этими гусарами в оперной форме. Оглядываясь, он видел, что четверо своих отстают. И не мудрено. Куда же угнаться строевым солдатским лошадам за породистым гунтером! Да и все снаряжение Загорского куда легче. Ни тяжелой походной седловки, ни карабина с пикой.

В смысле вооружения он очутился на вахмистерском положении: револьвер да шашка. Само собой, так вышло с молчаливого одобрения Гаврилы Тимофеевича.

Он не думал, что преследует один троих, да еще удаляясь от своих и приближаясь к неприятельским линиям. Не было ощущения опасности, тревоги. Было необыкновенно ясно и бодро в мыслях. Он с удовольствием сознавал, что после двухлетнего, даже трехлетнего отсутствия тренировки он прочно «сидит» в седле. Он вспоминал отрывочно и ослепительно ярко в то же время любимую девушку, видел ее перед собой, как никогда не видел, сидя рядом с нею, – и часть белой нежной шеи, переходящей в круглое плечо, и прядь волос у маленького розовеющего уха. Видел все, чего не замечал раньше. Он хотел Веру грубой сильной страстью вырвавшегося на волю центавра, хотел как женщину...

А полевой галоп четырех всадников (другие четверо безнадежно отстали) давно перешел в карьер. Эта бешеная скачка через кусты, канавы, плетни, рытвины живо напомнила Загорскому парфорсные охоты, когда, мчась на самом хвосте у собак, он боялся упустить удиравшую впереди во все лопатки лисицу.

Был момент, расстояние определилось так: всего шагах в пятидесяти от Загорского неслись рядом оба венгерских солдата, а значительно дальше – и это «дальше» все увеличивалось – уходил, распластываясь на своей полукровке, офицер. Он поминутно оглядывался, стреляя в воздух из револьвера скорей для собственного успокоения.

Загорский решил, не теряя минуты, что необходимо захватить офицера. Но для этого надо сначала спешить солдат. И он обстреливал их методически из своего парабеллума: одну пулю в лошадь, другую – во всадника, одну пулю в лошадь, другую – во всадника... И вот левый гусар, откинувшись навзничь, взмахнув руками, упал. Его лошадь неслась вперед. Лошадь соседнего гусара свалилась вместе с всадником, раненная в круп.

Теперь у Загорского осталась впереди самая лакомая добыча – офицер, а в парабеллуме осталось два патрона. Он неистово шпорил своего «Лузиньяна», холодея при одной мысли, что офицер уйдет. О, может уйти на своей великолепной полукровке! И вот, сблизившись примерно этак шагов на двести пятьдесят, Загорский дал один за другим два выстрела.

Лошадь на всем скаку закинулась круто, медленно оседая вся на задние ноги. Всадник, по инерции описав дугу, всем своим нарядным цветным телом пронесшись над головой коня, упал сажень в двух от лошади, закопав основательную «редьку». Загорский отчетливо вспомнил, что так, именно так упал однажды на парфорсных охотах штаб-ротмистр Кипарский.

Венгерец, несмотря на сильные ушибы, поднявшись на ноги, двинулся к хрипящей и бьющей ногами лошади вынуть притороченную к седлу саблю. Револьвер он в момент падения выронил, да и все равно не было бы никакой пользы – лейтенант успел его разрядить, паля в воздух.

И Загорский расстрелял все патроны, но когда венгерец кинулся было к сабле, навел на него пустой парабеллум, бросив по-немецки угрозу:

– Малейшее движение – и я пристрелю вас! Руки вверх, и так идите впереди, да скорей, потому что у меня очень мало свободного времени.

Лейтенант повиновался, забыв надеть свой красный кивер, гигантским полевым цветком алевший на траве. Темные напомаженные волосы, несколько минут назад прилизанные так тщательно, с великолепным пробором, теперь взлохматились космами. Выбритое лицо отливало бархатной синевой. Черные усики. Шаблонная гусарская красота, не лишенная, однако, породистости.

Итак, они возвращались назад. Лейтенант бежал с поднятыми руками, а в нескольких шагах от него легким «тротом» попевал Загорский на своем «Лузиньяне», держа револьвер.

На пути гусар, придавленный убитой лошадьё, никак не мог высвободить ногу. Увидев это шествие, как конный русский солдат, спешив, конвоирует его лейтенанта, венгерец начал отстегивать у своего седла карабин.

Загорский спокойно молвил офицеру:

– Прикажите вашему нижнему чину не стрелять. Пока он выстрелит в меня, я уже успею вас уложить. Самое лучшее помогите ему выкарабкаться из-под лошади и пусть он идет вместе с нами.

Лейтенант прокричал что-то по-венгерски ущемленному лошадиной тушей всаднику. Тот, блеснув глазами, ответил коротким восклицанием и перестал возиться с карабином.

Загорский подъехал вплотную; лейтенант, гневный от унижения, ворча сквозь стиснутые зубы и, вероятно, призывая на голову русского всевозможные проклятия, вызволил своего гусара. Шествие продолжалось уже втроем.

Вскоре подоспели навстречу на взмыленных лошадях три гусара с пиками. Четвертый, подобрав по дороге раненного Загорским в спину мадьяра и перекинув его через седло, вернулся с ним в штаб.

Когда гусары окружили обоих пленников, Загорский с усмешкой щелкал впустую, нажимая спуск своего револьвера.

Он пояснил лейтенанту:

– Ваш гусар мог подстрелить меня.

Лейтенант взвыл от бешенства. Волчьим взглядом сверкнули темные, узкие, чуточку монгольские глаза.

Возвращались, был уже вечер. Отгорал теплый пепельно-розовый июльский закат. Соседний лес дышал густым (таким густым – на вкус чувствуешь!) ароматом смолы и еще чего-то. Сонно перекликались птицы, сгушался сумрак под сенью деревьев.

Щеголеватый, в дорогой, отороченной мерлушками венгерке, лейтенант, шагая между потными, разгоряченными лошадьми, с морд которых падала пена белыми ключьями, отказывался понимать, – до того с кинематографической быстротой мелькали события. Всего два дня назад в Будапеште давал он прощальный обед, хвалился грядущими подвигами, затем догнал ушедший на границу полк, шутя вызвался в первую свою разведку, – и вот он уже в плену, в русском плену и шагает, измученный, весь ноющий от падения, шагает неизвестно куда... и какие еще там ждут его ужасы?

А в штабе ликование.

Это – первые пленные Черноградского гусарского полка. Допрашивал сам Пехтеев. С лейтенантом говорил по-французски.

– Ваша фамилия?

– Граф Арпад Тисса.

Ого! Все переглянулись кругом.

– Венгерский премьер ваш однофамилец?

– Я его родной племянник.

– Племянник венгерского премьера, это уже совсем шикарно!

На вопросы, которые выяснили бы неприятельские силы и расположение частей, граф Тисса либо отвечал уклончиво, либо совсем не отвечал.

Он встретил джентльменское отношение. Он принял участие в офицерском ужине под председательством полкового командира.

Пехтеев говорил с Тиссою о Будапеште, о красавицах венгерках, и было впечатление светской болтовни людей хорошего общества.

После этого перспектива плена уже не казалась графу такой кошмарной. Он совсем повеселел, когда к концу ужина ему был доставлен поднятый нашими гусарами в поле его красный кивер.

Новенькое, с иголки, строевое седло Тиссы Загорский в виде трофея поднес Пехтееву и был за это сердечно обнят полковым командиром. Да и не только за это. Пехтеев от души поздравил его с подвигом и в самой лестной реляции представил к Георгиевскому кресту четвертой степени.

Часть вторая

1. В когтях аббата Манеги

Мраморный, весь проросший зеленым, влажным мохом фонтан журчал посредине квадратного дворика, и черная резкая лунная тень падала на каменные плиты.

Яркий месяц на ущербе отточенным, холодно-золотистым лезвием горел в темных небесах. Силуэты четырех пальм в каждом углу дворика намечались как будто вырезанные из темного картона, и от них тоже падали резкие тени.

Бившая вверх алмазной пылью струя фонтана загоралась при свете месяца синевато-зеленоватой игрою, и, как вздохи из каменной груди надувшего щеки тритона, слышались немолчные всплески упругих, пенящихся зонтиком, ссыпаящих алмазную пыль струй.

И как бы в ответ – другие, уже чуть слышные вздохи. И уже из другой, не каменной, заросшей мохом груди, а из груди женщины, обвеянной этой лунной ночью, для одних – ночью волшебного-упоительного счастья, для других – мучительно недоговоренных, невыплаканных печалей.

У окна сидела синеокая Барб. И от лунного света и от черного платья, – она всегда теперь ходила в черном, как монахиня, – лицо казалось бледнее и глубже.

Княжна пятый месяц в Риме.

Она скрылась с петербургского горизонта неделю спустя после внезапного исчезновения аббата Манеги. И это не прошло незаметно. В обществе много и определенно догадывались. Никто не сомневался, что загадочный аббат увлек, получил себе богатую, одинокую, экзальтированную княжну, которая знала любовь и в «прошлом» которой никто не сомневался.

Сначала Манегу вспоминали по-хорошему. Некоторые сожалели, зачем он так внезапно покинул гостеприимные берега Невы. Он был таким интересным пятном в салонах.

Но лишь только вспыхнула война, Манега утратил все свое обаяние. И те самые, чьи гостинные он украшал так недавно своим присутствием, спешили отречься.

– Темный проходимец какой-то, а мы еще называли «монсеньор».

– Говорят, да что говорят! – как дважды два четыре, – что он австрийский шпион.

– Бедная княжна, как она себя скомпрометировала!

Да, синеокая Барб знала, что корабли ее сожжены.

Перед самой войной, когда уже вставали кровавые призраки, Басакина хотела вернуться в Петербург. Хотела, повинувшись каким-то воскресшим вдруг внутри в ней зовам... Но аббат не пустил.

– Зачем? Что вам делать в России? Ваше отечество, – единственное теперь отечество, необъятное как мир, это – католическая церковь, это – религия, которую вы исповедуете. Но даже если бы у вас и осталось какое-нибудь атавистическое чувство к России, вы, сидя здесь, принесете ей гораздо больше пользы, нежели там...

Как и в чем именно будет заключаться эта польза, аббат не говорил в точности, ограничиваясь туманными намеками.

Он учил ее:

– Вам надо жить открыто. У вас большие связи в русской колонии, бывайте, принимайте сами, держитесь поближе к посольству. Новости, слухи, мнения, так легче быть в курсе дела. Все, что узнаете, немедленно передавайте мне. Я ваш духовный отец, и никаких тайн не должно быть между нами.

Вначале Барб, призывая на помощь какие-то жалкие остатки воли, сознавая, что этот страшный, так нераздельно покоривший ее человек толкает ее на что-то позорное, бесчестное, пыталась протестовать.

– Я не могу. Вы хотите меня сделать шпионкой, и против кого же? Против страны, где целый ряд поколений моих предков...

Под властным гипнотизирующим взглядом аббата княжна умолкла, робея, теряясь.

– Полно, давно пора весь этот сентиментальный вздор выкинуть из головы! Предки, традиции... Предки давным-давно спят в могилах, а повелевают в действительности живущие – мы, и пусть они гримасничают и негодуют из своих гробов, этим никого не испугаешь. Что же касается вашего упрека, то какой же это шпионаж? Наоборот, осведомляя меня и моих друзей, вы принесете только благо России, несчастной России, которую так легкомысленно втянули в эту войну Англия и Франция.

Аббат Манега знакомил княжну со знатными патрицианками. Все это были преимущественно отъявленные клерикалки, влюбленно бредившие Ватиканом и враждебно косившиеся в сторону Квиринала, королевского дворца, где, по их мнению, засели узурпаторы и пришельцы.

Княжна скучала в обществе этих чопорных, ограниченных, словно блуждавших до сих пор еще в потемках средневековья римских аристократок.

Но так требовал Манега и так должно быть. И она ездила в обедневшие, одряхлевшие, как и владельцы их, эти живые мумии, палаццо и сама принимала у себя эти движущиеся мумии.

С большой опаской знакомил Манега синеокою Барб с австро-германскими дипломатами. Однажды он сказал:

– Сегодня после одиннадцати я приеду к вам с одним человеком. Ваш лакей Гаэтно должен спать... Вы сами откроете дверь...

Действительно, в половине двенадцатого, когда улица Четырех Фонтанов спала вся, вымершая, пустынная, к воротам палаццо Джустиньяни подъехала карета с опущенными занавесками. Вышли двое, и когда они очутились в гостиной, один оказался германским послом Бюловом.

За две тысячи франков в месяц княжна снимала небольшое палаццо со всей его музейной обстановкой. Владелец маркиз Джустиньяни служил где-то за океаном при одном из посольств военным агентом. Особняк его либо пустовал, либо отдавался внаймы знатным иностранцам.

И у себя в Петербурге синеокая Барб жила в старинной художественной роскоши. Но здесь она была чужая, пришлица, затерянная среди комнат и зал, где все, каждая мелочь дышала эпохой Возрождения. Мраморные лестницы, мраморные полы, мраморные бюсты и группы. Каким-то холодом веяло. И холодно глядели со стен герцоги и маркизы в бархатных беретах, в отороченных мехом одеждах и с цепью на груди.

Княжна признавалась Манеге, что боится этих людей, хотя и на полотне, но живых, с таким пронизывающим взглядом.

Аббат насмешливо улыбался.

– Игра воображения! Покрепче возьмите в руки свои нервы. Вот вам параллель между вашей культурой и культурой тех людей, предки которых внушают вам страх. Тогда, когда ваши русские бояре жили в бревенчатых, деревянных избах и одевались по-татарски, в то время Тициан, Рафаэль, Тинторетто писали этих людей, которых вы боитесь, и они, эти изысканные люди, жили в этом же самом палаццо среди утонченнейшей царственной, роскоши. Скажете, что это не убедительно?..

Княжна покорно соглашалась. Разве могла она в чем-нибудь не согласиться с этим человеком, убивавшим ее мысль, гасившим ее сознание?

Весь ужас Басакиной в том и был, что Манега оплел крепкими сетями своими не только ее душу, но и тело. Он был для нее не только священником, бросившим ее в цепкие, пленительные объятия католичества, но и любовником. По острым и хищным ласкам его она сходила с ума.

С головой ушедший в политические и ватиканские интриги, аббат очень редко ласкал княжну, и тем мучительнее томилась она и ждала этих коротких, как блаженство и как страдание, мгновений...

Она не могла, да и не хотела уgomонить свою здоровую бунтующую плоть. Церковь с ее мистическим сумраком, глухо рокочущими звуками органа, где так много было и телесной живописи, и вообще светского, не давая покаянных настроений, высоких, духовных взлетов, будила чувственность...

Княжна плакала, молилась и долго выстаивала на коленях, до полной истомы, до онемения ног, проклиная материнское наследие – эту вечную жажду поцелуев, туманящих рассудок прикосновений...

Да, это материнская кровь.

Кровь скрытной, купеческой Мессалины, под княжеской короной тешившей свою буйную, пышную плоть где-нибудь втихомолку за границей, чтобы никто ничего не знал. Но у матери, как-никак плебейки, это выходило грубо и резко, а дочь более тонкая, смягченная отцовской рюриковской породой, несмотря на беса, неугомонно сидевшего в ней, гнушалась откровенного, голого разврата. Ей нужен был экстаз. Хотелось, чтобы ее мучили, словом, необходим был загадочный и жестокий Манега, этот тигр с сутане, порою нежный и вкрадчивый, порою инквизитор, палач. Иногда, как в эту тихую лунную ночь с черными, замороженными тенями, шевелился в ней протест. Она чувствовала себя такой одинокой, несчастной и в этом музейном палаццо и в в этом городе-музее с его дворцами, Капитолием, Ватиканом, святым Петром и мутным Тибром.

И громче вставали неясные зовы, и хотелось в эти дни войны быть там, далеко на севере, и жить этой войной вместе с миллионами, десятками миллионов русских.

И стыдно было. Он словно каленым железом все тело жег – стыд... Она украдкой, как преступница, встречается с врагами своей родины, принимает их у себя, германских и австрийских дипломатов. И эти элегантные господа какими-то ночными грабителями проникают в палаццо Джустиньяни вместе с аббатом...

Напрасно княжна умоляла его, смачивая слезами и покрывая поцелуями сильные с гибкими пальцами руки, способные задушить человека.

– Ради всего святого... Эти посещения могут бесповоротно скомпрометировать меня в глазах русской колонии и нашего посольства. Все отвернутся от меня, я буду как зачумленная.

Аббат по-своему успокаивал синеокою Барб.

– Княжна, последнее вовсе не входит в наши общие интересы. Не зачумленной должны вы быть, а желанной и вне всяких подозрений. Только тогда и можете принести пользу. В противном же случае, разоблаченная, вы никому не нужны. А если некоторые дипломаты бывают у вас, это делается под покровом строжайшей тайны. Необходимы личные встречи, беседы. По-моему, палаццо Джустиньяни – самое удобное, самое безопасное место. Поверьте, всякий раз принимаются необходимейшие предосторожности. Надежные люди сначала осматривают все прилегающие кварталы, нет ли каких-нибудь подозрительных лиц, не следят ли за нами, и только тогда мы решаемся сделать ночной визит. Нет, бросьте ваши сомнения, вы сами не подозреваете, насколько мы бережем вас и вашу репутацию.

Что она могла возразить?

Однажды Барб поехала кататься на Пинчио. Выйдя из автомобиля, она тихо гуляла среди фонтанов, античных бюстов и развесистых пиний. Горестный был у нее вид. Неожиданно, так неожиданно, что княжна вздрогнула вся, появился перед нею Манега.

– О чем вы грустите?..

– Ах! – вырвалось у Барб. – Мне так хотелось бы в Россию! Хоть на один месяц. Я вернулась бы, клянусь, вернулась бы...

– Еще не пришло время. Увидим, как повернутся события, и тогда, тогда я сам, быть может, пошлю вас в Петербург с важной, очень важной миссией, – загадочно молвил аббат, – а пока взгляните, какой перед вами расстилается вид! Можно ли грустить, созерцая подобную, единственную в мире панораму? Этот купол святого Петра, этот гранитный массив башни святого Ангела, желтая ленточка Тибра и все это в нежно-золотистой дымке... Видите, намечается вилла Мадама. Ранним летом там поют соловьи, там хорошо и пустынно. Я советую вам проехать на виллу Мадама. Эта прогулка рассеет ваши грустные мысли. В Риме нельзя скучать. Это город вечной красоты, и каждый камень поет гимн небесам. Повторяю, скоро, скорее, чем ожидаете, вы помчитесь в Россию, которую до сих пор не можете забыть...

2. Участие барона Хеллера

Долго сидела неподвижно Вера Клавдиевна, ошеломленная. Сразу приоткрылась какая-то завеса, и она увидела и услышала такое, что заставило ее содрогнуться. Значит, прав, тысячу раз прав был Дима, говоря о Лихолетевой с таким презрительным осуждением! Он указывал даже дом на улице Гоголя, где эта высокомерная, холодная женщина продавала какие-то важные документы германскому военному агенту. Это скользнуло тогда мимо Веры, почти не задев ее. «Какие-то бумаги» для девушки, чуждой всяких политических интриг, это звучало слишком отвлеченно.

Теперь же, теперь, когда называют имена, называют реальное изобретение, которое во время войны будет служить врагам, будет, если этому не помешать самым энергичным образом, – теперь Забугина с ужасом верила во все и во вся.

И странное чувство овладело ею, до сих пор не знакомое, а может быть, просто дремавшее где-то в глубине.

Даже в лучших русских семьях дети редко получают настоящее патриотическое воспитание в благородном, широком значении слова. Гораздо чаще «патриотизм» понимается уродливо, однобоко. А английских, французских, итальянских, сербских семьях красивая, героическая любовь к родине прививается детям на самой заре, когда они начинают только лепетать.

Вера Забугина не была исключением. Она росла, как растет большинство детей видных петербургских чиновников. Ее учили языкам, танцам, хорошим манерам, но никто не учил, что надо любить Россию, радоваться всему хорошему в ней, болеть ее темной стороной, изъязмами.

А к тому же еще несколько лет международно-монастырского воспитания в «Сакре-Кер» способствовали тому, что Вера успела полюбить Францию и основательно позабыть Россию. Но сейчас эти два подслушанных разговора – один через дверь, другой у телефона – произвели какой-то чудодейственный переворот в девушке. словно ее, лично ее, Веру Забугину, какие-то темные силы пытались оскорбить, обокрасть, обессилить, по-вампирии высосать всю кровь... Она даже преувеличивала опасность в охватившем ее порыве. Ей чудилось, что от этих «потребителей» зависит слишком даже много, едва ли не исход войны.

– Как быть? Господи, научи меня, – беззвучно, с детски-горячим призывом шептала Вера, сжимая голову.

Ах, будь здесь в эту минуту Дима! Он такой сильный, умный, удачливый, он знал бы, как поступить, что делать. А между тем необходимо действовать не откладывая. Иначе... – и воображение рисовало катастрофу, целый ряд катастроф... Эти «истребители» – звено целого длинного ряда преступных дел, совершаемых этими людьми. Такие человеческие хитросплетения – можно с ума сойти! Этот ничтожный молодой человек в военной форме, невоспитанный, дурного тона, Бог весть откуда и кто, допускает развязный тон по отношению к Лихолетевой, даме с таким исключительным положением. Он бравировует своей близостью, своим знанием «прошлого». Значит, действительно эта бледно-восковая женщина, играющая чуть ли не в герцогиню, – в зависимости, в некоторой зависимости от проходимца в болгарской форме?

В третьем часу вернулась из Царского мадам Альфонсин. Шариком в бархатном платье вкатилась в контору.

– Я так устал, так устал! Ах, где я был! Какой сюксе имел мадам Карнац! Но что с вами, мадмуазель Забугин? Ви болен? Ву зет маляд? На вас такой лицо...

– Да, мадам Карнац, у меня болит голова, – ответила Вера.

Ответила вполне искренне. У нее действительно шумело все в голове, шумело каким-то гордым узлом нахлынувших, друг друга теснящих мыслей.

– В таком случай я вас отпускай. Ви может дома отдыхать. Я сама займусь на контора... Никто не звонил? Мадам Лихолетев не звонил?

– Нет.

– Синьор Антонелди не приставал к вам?

– Как он смеет! – гордо вспыхнула Вера.

– О, я знаю, вы очинь самолюбиви баришня. Ви очинь самолюбиви! Настоящи анфан де бон мезон. Смотрите на ваше лицо... Ви нездорови... Можете уходить.

Веру не надо было упрашивать. Нечем дышать здесь. Нечем! Ее тянет прочь отсюда, на воздух.

И вот она очутилась на Невском, подхваченная шумной толпой. Ее дивило самодовольное равнодушие этого людского потока. Никто из них не знает того, что знает она, Вера Забугина... Если б они знали! И таково уже свойство человеческой природы, – ей казалось странным, что все они, все не думают заодно вместе с ней. Когда подростком она ехала вместе с отцом в театр в карете, она не понимала, как в это время будничные люди самым прозаическим образом слоняются пешком вдоль скучных, никому не интересных улиц!

– Куда пойти, кому сказать, кого предупредить обо всем этом? Дима! Зачем его нет? Зачем он далеко, там, а не с ней? Он все знает, все умеет. Она же сама – как впотьмах. А время уходит, бежит. В четыре часа Шацкий будет у Лихолетьевой, и они сговорятся.

Отыскать Корешенку? Где его найдешь? И, кажется, его мастерская далеко за городом. А между тем надо спешить, так надо спешить, и на дорогом счету каждая минута!

Девушка лихорадочно торопилась. Так и прыгали, мелькая, фамилии. Перебирала всех своих «бывших» знакомых. Бывших, потому что она растеряла людей, которые посещали их дом, когда жив был отец.

Вспомнила корректного пожилого человека. Он всегда благоухал какими-то особенными духами. В учливой улыбке блестели белые ровные зубы, и трудно было сказать, свои ли это собственные или вставные. Барон Хеллер... – Вера пойдет к нему и... там будет виднее... Он сделает все зависящее от него.

Забугина в первом попавшемся магазине заглянула в телефонную книгу, позвонила.

– Квартира барона Хеллера. Кто изволит спрашивать? – Ясный и четкий голос отлично вышколенного слуги.

– Вера Клавдиевна Забугина... Христиан Леопольдович дома?

– Никак нет, господин барон у себя на занятиях, но только они будут через двадцать минут.

– Скажите, что я приеду через полчаса... по очень важному делу...

Барон встретил девушку с вежливым недоумением. Признаться, она ожидала несколько иной встречи. Хеллер часто бывал у них и, по крайней мере, дважды в неделю обедал. Старый холостяк, он не держал своего стола, обедая и завтракая у знакомых. Барон, хотя и обладавший крупными средствами, был скуповат. Кроме того, берег свой желудок.

В кабинете барон предложил Вере Клавдиевне сесть. Не дождавшись, пока она сядет, опустился у письменного стола в кожаное с круглой спинкой кресло.

– Как живете? Как ваши дела? – И не слыша ответа: – У вас какое-то очень важное дело ко мне?

– Да, барон, и, признаться, необыкновенное дело. Я вся дрожу, волнуясь, и... не удивляйтесь, если я буду говорить непоследовательно, сбивчиво.

«Денег попросит», – мелькнуло у Хеллера. Он успел оценить скромный, почти бедный туалет Веры и решил отказать.

– У вас какое-нибудь несчастье?

– О, нет! Лично я более чем когда бы то ни было счастлива! Дело, по которому я пришла, имеет скорее общественное и даже не общественное, а не знаю, право... политическое, что ли, значение...

«Не будет просить денег», – подумал барон. Им овладело другое беспокойство.

– Вы замешаны в какую-нибудь историю?

– Наоборот! Я совершенно случайно открыла... напала на след чужой истории... Измена, предательство, называйте как угодно...

– Однако это становится уже совсем любопытным.

И барон вместе с креслом сделал движение к Забугиной. Девушка подробно описала ему свои утренние впечатления и что говорили между собой черноротый с Шацким и что говорил в телефон Шацкий Елене Матвеевне Лихолетевой.

– Вы понимаете, барон, ведь это ужас! Один сплошной ужас! Вы займетесь этим, не правда ли? Займетесь, не теряя ни минуты. Я холодею при одной мысли... в то время, как наша армия борется там на позициях, льет свою кровь... здесь!.. – и в больших лучистых васильковых глазах девушки барон прочел тот самый холодный ужас, о котором она говорила.

Но это чувство не передалось Хеллеру. Он ответил спокойно; что-то соображая:

– Да... получается запутанная история... Хотя не верю... то есть я верю вам, вашим впечатлениям, но думаю, что этот милостивый государь прихвастнул своей близостью к такой уважаемой особе, как Елена Матвеевна... Во всяком случае, я этим займусь. Это – долг каждого русского гражданина. Займусь, как только останусь один. Соблаговолите сообщить мне ваш телефон. Вы, кажется, служите где-то? Впрочем, не где-то, а именно в этом самом институте красоты... Не скажу, чтобы это было подходящее место для барышни из общества...

Вера записала свой адрес и оба телефона – домашний и на службе. Барон встал, прерывая этим визит.

Хеллер действительно тотчас же по уходе Веры «занялся этим».

Владея собой, он в присутствии Веры хранил спокойно-невозмутимый вид. Наедине же с самим собой проявил озабоченность и даже тревогу.

– Эта глупая девчонка может надеть больших неприятностей!

Он позвонил Лихолетевой. И опять, как было с Шацким, телефонная барышня, прежде чем соединить, спросила его фамилию.

– Елена Матвеевна, вы? Здравия желаю!

– Какой у вас голос, барон... Что-нибудь случилось?

– Пока ничего, но может случиться, и надо принять немедленно же соответствующие меры. По телефону говорить неудобно, я сейчас же приеду к вам. Вы будете дома?

– У меня сидит Шацкий.

– Тем лучше! Мы вдвоем зададим хорошую головомойку этому болтливому дураку.

– Дураку?

– Хуже! Бессознательному мерзавцу! Больше ничего не скажу. Остальное – при свиданий.

Вера поспешила домой. Она всегда спешила, в надежде застать желанную весточку от Димы. Так и есть! Письмо! Это большая радость. Первое письмо. До сих пор были одни открытки.

Дима в юмористической форме описывал взятие им в плен венгерского лейтенанта. И только когда коснулся награды своей Георгиевским крестом, здесь уже зазвучали другие, теплые нотки.

«...Этот серебряный крестик радует меня, бесконечно радует! Не с точки зрения удовлетворенного самолюбия, а как одна из тех ступенек, что приближает наше взаимное счастье... Еще один крестик с бантом, еще один золотой, – и не будет „человеческого недоразумения“, и ты будешь женой человека с правами. Я так верю, хочу верить».

Девушка целовала эти написанные карандашом строки. Весь день, прошедший «на нервах», волнение, вызванное письмом любимого человека, – все это вместе охватило Веру чем-то жутким и радостным, и она расплакалась. Слезы перешли в истерику. Отойдя, выпив залпом стакан воды, Вера успокоилась, и так вдруг легко и празднично стало на душе. Она сидела, не выпуская из рук дорогого письма.

Перед вечером ее позвали к телефону. Она услышала голос барона Хеллера:

– Вера Клавдиевна, будьте внимательны: дело подвигается с быстротой гораздо большей, чем вы ожидали. Виновные будут обезврежены. Бумаги и планы не попадут в чужие руки. Вы же молчите! Никому ни одного слова! В абсолютной тайне – залог дальнейшего успеха. Необходимы ваши личные свидетельские показания в моем присутствии одному важному лицу. В десять часов вечера на углу Вознесенского и Екатерингофского вас будет поджидать автомобиль. Когда вы подойдете, шофер молча откроет дверцу и вы сядете внутрь. Эта романическая таинственность необходима. За вами следят, даже знают, зачем вы были у меня... Итак, до вечера... Вы сделаете все, что я сказал?

– Можно ли спрашивать? Конечно!

3. «Человек без костей»

Сухим сентябрьским днем приехал в «Семирамис»-отель новый постоялец. Его скромный багаж из одного чемодана не мог внушить особое уважение главному портье Адольфу. Но постоялец спросил комнату, нисколько не интересуясь ценой, и это отчасти примирило требовательного Адольфа с единственным чемоданом господина, значившегося по паспорту Урошем.

Этот Урош, видимо, без конца-краю колесил по белу свету. Он имел вид международного перекати-поля.

Он с первого впечатления удивлял, не худобой, нет, а скорее необыкновенной гибкостью тонкой фигуры своей. Казалось, это человек без костей. Ему ничего не стоит согнуться пополам, войти в себя, как входит перочинный нож.

У него были узкие руки, с запястьем, на которое пришелся бы впору девичий браслет.

Темный блондин, Урош брился начисто, оставляя на английский лад подстриженные усы. Глаза, маленькие, прочно угнездившиеся под тяжелыми надбровными дугами, медленно и пытливо буравили собеседника. Да не только собеседника, а все, что попадало в поле их зрения...

Приведя себя в порядок, умывшись, но в костюме, в котором приехал с вокзала, Урош очутился на Морской.

И хотя петербуржца вообще удивить трудно, а в особенности во время войны, когда видимо-невидимо понаехало европейцев, нейтральных и союзных, однако Урош все же обращал внимание, заставляя на себя оглядываться.

Он не шел, а скользил – до того легка, почти воздушна его поступь. Можно подумать, что под этим спортивным костюмом не человеческое тело из костей и мяса, а каучук. Английская куртка со множеством карманов. Такой же материи короткие, до колен, панталоны. Икры туго забинтованы колониальными гетрами защитного цвета, переходящими в желтые шнурованные башмаки. И, в довершение всего, нес этот человек плотную книжечку в переплете из черной тисненой кожи. Путеводитель? Но все путеводители красные – традиционный цвет всех бедекеров. Правда, «гиды» Жоана в черных переплетах. Но эти гиды редко, почти никогда в Россию не попадают. Кроме того, судя по тому, как уверенно шел человек «без костей», он не нуждался ни в каких гидах.

Те, кто кидали на него беглый взгляд, старались определить его национальность. По виду словно бы и англичанин. Только нет... Англичанин идет – дрожит земля, до того уверена и тверда его поступь. Весь «ритм» англичанина – гимн физической силе и мощи, а у этого – мягкая, неслышная, извивающаяся походка. Лицо хотя и довольно резких очертаний, однако нет в нем английской четкости, расы.

Он вышел на Невский, свернул в боковую улицу, нарядную, широкую, сплошь в зеркальных витринах. Вот особняк причудливой архитектуры с угловой башней, поднимающейся к небесам, словно рог тяжелого, неуклюжего чудовища. Весь особняк опоясан гигантской вывеской «Торговый дом Юнгшиллер». Витрины первого этажа славились во всем Петербурге. Заезжие провинциалы ходили на них смотреть, как ходят в Эрмитаж и в Русский музей. Да они, витрины эти, и напоминали отчасти парижский музей «Гревэго», знаменитый восковыми фигурами своими. С панели зритель видел через стекло целые человеческие группы в натуральную величину. Штатские франты, приподняв цилиндр или фетр, кланялись элегантно, одетым по крику последней моды красавицам. И тут же гусары в цветных, расшитых сереором и золотом венгерках, гвардейцы, студенты, инженеры. Весь этот восковой музей менял физиономию свою сообразно всем четырем сезонам. Теперь сезон осенний, и все кавалеры, дамы, студенты, офицеры, путейцы, все соответственно и одеты.

Урош, скользнув своими глазами-буравчиками по этой «музейной» витрине, вошел в магазин. Торговля кипела. Пестрая толпа штурмовала все отделения, прилавки, уютные уголки с драпировками, мягкой мебелью, зеркалами. Армия продавцов И продавщиц едва успевала удовлетворять все заказы и требования. Две подъемные машины опускались и поднимались, перебрасывая публику вниз и вверх, из этажа в этаж.

Урош, спокойно разобравшись в этой человеческой сутолоке, наметив себе щеголеватого приказчика, – они все здесь на одно лицо, вылощенные, с иголки, – обратился к нему:

– Можно видеть господина Юнгшиллера?

Приказчик оглядел Уроша с головы до ног.

– Если... если они вас примут... Они очень заняты... Во всяком случае, попробуйте... Возьмите ближайший ассансер, поднимитесь в четвертый этаж, пройдите в конец коридора. Господин Юнгшиллер в башне. О вас доложит курьер.

«В башне» – это звучало внушительно, даже гордо. Словно не купец-миллионер, торгующий платьем, а какой-нибудь средневековой рыцарь.

Урош чуть-чуть улыбнулся углами тонких губ.

Юнгшиллер находился у себя в круглой башне. Этот рыцарь не высматривал купеческих караванов. Он предавался более мирному занятию – читал утренние газеты. Юнгшиллер был в самом ликующем настроении. Куда ни глянешь, какую газету ни развернешь, повсюду бросается наше катастрофа под Сольдау. Юнгшиллер досадовал, что ему не с кем поделиться этой радостью. По крайней мере, сейчас; в этом кабинете со стеклянным куполом вместо плафона и громадным американским бюро, за которым сидел в клубах сигарного дыма Юнгшиллер...

– Это колоссально, это колоссально! – бормотал про себя румяный с двоящимся подбородком австриец.

Открылась дверь. На пороге кабинета-башни вытянулся представительный курьер, весь в галунах и позументах.

– Господин Урош просит доложить о себе...

– Урош? Какой Урош? Я не знаю никакого Уроша! Впрочем, пусть войдет.

Рыцарь круглой башни свысока встретил Уроша прищуренным взглядом.

– Что вам угодно, господин... Урош, если не ошибаюсь? Что вам угодно? – повторил Юнгшиллер, которому спортивный костюм, колониальные бинты и вообще весь вид худого, тонкого человека с подстриженными усами не внушили особенного почтения.

А маленькие глаза Уроша молча сверлили всю крупную откормленную фигуру Юнгшиллера, так смело и настойчиво сверлили, что рыцарь круглой башни заерзал на своем деревянном кресле с удобным, принимающим какое хотите наклонное положение сиденьем.

– Я могу вам уделить около минуты, не более.

– А я уверен, что воспользуюсь гораздо большим промежутком вашего драгоценного времени, – спокойно молвил Урош, слегка улыбнувшись одними глазами без участия губ.

Он поднял книжечку в черном переплете, держа ее на виду.

– А! – вырвалось у Юнгшиллера, и он сделал какое-то неопределенное движение.

– Страница 211, строка 19 сверху, – продолжал Урош.

Юнгшиллер вскочил, разлетелся к Урошу, схватил его за обе руки, тряс их, не выпуская.

– Простите меня, простите! Мог ли я подозревать? Садитесь, пожалуйста, садитесь. Вот сюда, здесь вам будет удобнее. Прикажете чаю? Вот сигары, курите, пожалуйста! Мог ли я думать! Ко мне так часто являются разные посетители... Уверю вас, что слыть богатым человеком – это уж совсем не такое большое удовольствие! Да, это налагает известное бремя... Очень рад, очень рад... Ну, теперь мы поработаем с вами вместе... Никак не подозревал, мне говорят: господин Урош, а я ждал господина Остоича.

– Остоича нет больше, он умер. Есть Урош.

– Я много слышал о вас, очень много... Вы, говорят, знаете восемнадцать языков, включая сюда все языки народов, входящих в состав нашей империи?

– Это не совсем верно. Я говорю на двадцати двух языках, а пишу совершенно свободно на восемнадцати.

– О, Мой Бог! Это же колоссально! Это сверхколоссально! – искренне восхищался Юнгшиллер. – Вы сами по происхождению чех?

– Нет, я словак, по отцу словак, мать же моя – боснийская сербка из Банья-Луки.

– Так, так... Пожалуйста, курите... Но что вы скажете про Сольдау? Какая победа, и все благодаря... знаете кому? – понизил голос Юнгшиллер.

– Благодаря Мясникову. Он выдал весь план русского наступления, что дало возможность германцам поймать армию в глухой мешок.

– Это же гениально! Организация Мясникова работает великолепно! Под его началом шестьсот агентов обоего пола... О, этот Мясников, если он только не свернет себе шеи, если его только не повесят, – он далеко пойдет! После войны ему обещан в Шварцвальде замок, где он будет спокойно в почете и комфорте доживать свой век... А мы здесь работаем вовсю, господин Урош. Это еще труднее, чем на передовых позициях. Необходима дьявольская осторожность. Малейшая, незначительная оплошность и сложный механизм может полететь весь к черту! На днях, например, один способный, ловкий, но болтливый агент чуть не погубил всего дела. Случай спас... Хорошо, что мы имеем почти везде своих верных людей... Вот в этом наша сила и неуязвимость. А все же необходим всюду самый тщательный глаз. Вот вам пример – до сих пор мы пользовались моим радиотелеграфом, а теперь становится опасно: более мощная русская станция перехватывает... Волей-неволей надо будет прибегнуть к старому, зато надежному сообщению при помощи голубиной почты. Вчера приехал через Швецию один субъект, он привез две дюжины голубей, воспитанных в Мемеле. По воздушному пути это самая ближайшая точка между Петербургом и границей Германии... Кроме того, на днях придут еще голуби из Курляндии, воспитанные в имении барона Шене фон Шенгауз. Вы, кажется, специалист по голубям?

Урош пожал плечами.

– Какая же это особенная специальность? Надо знать, чем их кормить, перед тем как они полетят на дело. Маленькая тренировка предварительная, вот и все.

– И отлично! В этом я полагаюсь на вас. По голубиной части я швах! Вообще, я вижу, мы не будем скучать... Ха-ха, не правда ли, господин Урош, скучать не будем?

– Скучают бездельники.

– Вот, вот, именно бездельники! Хорошо сказано. Который час? Ого, половина первого! Надеюсь, вы позавтракаете вместе со мной? Я не хотел бы, чтобы нас видели в ресторане вдвоем. Я сейчас позвоню, и через двадцать минут нам привезут сюда в башню завтрак от Контана. Мы и побеседуем за бокалом вина.

«За бокалом вина» Юнгшиллер окончательно пришел в благодушнейшее настроение. Урош, слегка молчаливый, слегка замкнутый, понравился ему. Это не болтун, это человек дела...

Отхлебывая короткими глотками холодное искрящееся шампанское, Юнгшиллер предложил гостю:

– Вы будете иметь у меня открытый счет. Я предлагаю вам экипироваться с ног до головы. Фрак, смокинг, зимнее пальто, жакетная пара – все, что угодно! Одну вас, как первейшего щеголя.

Урош молча кивнул с улыбкой, не то благодарственной, не то насмешливой.

В два часа покинул он круглую башню, дымя громадной сигарой. На Невском высокий молодой человек в пенсне окликнул его:

– Остоич!

Урош узнал Груича, секретаря сербского посольства.

– Молчи! – приложил он, к губам тоненький палец «без костей».

Груич смотрел на него вопросительно.

.....

– Молчи! Не спрашивай меня ни о чем. Не надо, чтобы нас видели вместе. Скажи, где ты живешь, и я зайду к тебе вечером.

Груич сказал.

– Запиши, забудешь...

– Я никогда ничего не забываю...

И, оставив ошеломленного секретаря, Урош скользящей походкой своей, гибкий, тоненький, затерялся в толпе...

4. Величавое и унижительное

В спокойное время, в особенности глухое летнее газеты, за отсутствием «боевого» материала, готовы любое ничтожное происшествие поднести в виде некоторой сенсации.

И не будь войны, наполнившей телеграммами, статьями, корреспонденциями все столбцы, загадочное исчезновение Веры Клавдиевны Забугиной возбудило бы несомненно много толков. Во всяком случае, в продолжение двух-трех недель, а то и целого месяца это была дежурная злоба дня.

Казенные и частные «пинкертон» занялись бы тщательным расследованием всей этой истории, и читающая публика осведомлялась бы ежедневно о ходе розысков.

Но теперь, в эти грохочущие дни, когда мы двигались по Восточной Пруссии к Кенигсбергу, французы отражали немцев на Марне, венгерская артиллерия громила Белоград, и сотни тысяч обездоленных беженцев напоминали великое переселение народов, теперь все газеты поместили скромную затерявшуюся среди «жирных» эффектных заглавий и кровавых животрепещущих новостей скромную заметку «петитом».

«Дочь действительного статского советника В. К. Забугина, жительствовавшая в меблированных комнатах „Северное сияние“ на Вознесенском проспекте, исчезла в ночь с 29-го на 30-е августа. Она вышла из дома в 10 часов вечера и не возвращалась в течение трех суток, не оставив по себе никаких следов. В последнее время Забугина служила конторщицей в „Институте красоты“ г-жи Карнац на Большой Конюшенной улице. По словам г-жи Карнац, Забугина днем 29-го августа почувствовала себя нездоровой. Г-жа Карнац отпустила ее ранее положенного времени. Больше исчезнувшая девушка на службу не являлась и о дальнейшей ее судьбе никто ничего не может сказать. К розыску В. К. сыскной полицией приняты соответствующие меры. Можно полагать, что мы имеем дело с таинственным, ловко задуманным и спрятавшим концы в воду преступлением».

Вот и все. Появившаяся утром, уже к вечеру затерялась самым основательным образом эта маленькая, глухая заметка среди последних телеграмм со всех фронтов, до колониальных стычек в Центральной Африке включительно. Что ни день – десятки тысяч обездоленных семей, десятки тысяч убитых и раненых. Цветущие города, превращенные в груды камней и пепелища, – где уж тут помнить и думать о судьбе исчезнувшей девушки?!

Единственный человек опечален был глубоко и сильно случившимся. Это – Лузиньян, король Кипрский. Мучительно ломал он свою старую голову! Куда же в самом деле могла так надолго, не оставив по себе никакой весточки, запропасть его милая Корделия? Сначала мелькнуло даже, не уехала ли она, подгоняемая тоской по любимому человеку, на позиции к Загорскому? Но Лузиньян тотчас же откинул эту мысль. Какой вздор! Во-первых, она исчезла более чем налегке, – так не ездят на фронт, – а во-вторых, она предупредила бы его. Нет, здесь что-то другое, совсем другое, необъяснимое...

Теряясь в самых невероятных и в то же время далеких от истины догадках, король Кипрский сознавал лишь одно, что с исчезновением Забугиной, – Бог знает, вернется ли она, – он остался одиноким, совсем одиноким и на белом свете, и в этом холодном каменном Петербурге, который всегда был ему чужим и чуждым и где гримаса судьбы определила ему закончить свой, теперь уже недолгий, век.

Девичья комната Веры наполнилась грубыми людьми. Развязно стучали тяжелыми сапогами городовые, дворники, околоточные, отечественный пинкертон в потертом пальто, с лоснящейся, утыканной рябинами физиономией. Все как полагается.

У подъезда «Северного сияния» остановился мотор. Вышла, богато и крикливо одетая молодая особа в громадной шляпе с дорогим эсэри. Особу сопровождал плотный краснолицый мужчина с бычачьим затылком, низким лбом, скуластый, с бульдожьей челюстью. Это – Анна

Клавдиевна Забугина и ее друг Калибанов, темная личность, без определенных занятий. Он жил на ее счет и тратил деньги.

Парочка вошла в комнату Веры. Околоточный спросил:

– Виноват-с, имеете какое-либо отношение?

– К сожалению, да, – бросила ему Анна Клавдиевна, – к сожалению, да! Я имею несчастье быть сестрой этой непутевой, развратной девчонки... Что с нею, господин околоточный? Она убита, покончила с собой?

– Не могу знать, сударыня, еще неизвестно. К разысканию будут приняты все меры.

– Никаких записок не оставила?

– Ничего-с, ровно ничего-с.

– Пойдем, нам нечего делать больше в этих мебелирашках! – фыркнула Забугина, покидая вместе со своим кавалером комнату.

На лестнице Анна тихо сказала Калибанову: – Видишь, сама судьба за нас, она исчезла навсегда. Нам не страшны теперь никакие процессы...

– Остается пожелать счастливой дороги на тот свет! – расхохотался Калибанов, сейчас более чем когда-нибудь похожий на бульдога.

Парочка, подхваченная автомобилем, умчалась на Корскую.

Итак, Лузиньян, король Кипрский, затосковал. И было отчего. За короткое время он лишился двух, друзей. Поехал далеко на войну этот милый, изящный Загорский, и вот прошел какой-нибудь месяц, исчезла его Корделия. Осиротел старый Лузиньян. Дни за днями идут, а девушки нет как нет. И так фантастично ее внезапное исчезновение; что порою Лузиньян спрашивает себя: «Да полно, была ли на самом деле его Корделия, или, может быть, какой-то лучистый, ласковый призрак, теперь сгинувший, смотрел на него ясными серо-голубыми глазами, так внимательно готовил ему вкусный кофе».

И все больше мрачнел и уходил в себя Лузиньян. В своих четырех стенах он протяжно вздыхал, и нет-нет – повиснут на ресницах слезы...

Он по целым дням сидел дома. Все чаще навевалась к нему злая гостья подагра, и, сидя в кресле, закутав ноги в плед, неподвижный, сосредоточенный, с длинной седой гривой и успевшей еще больше отрасти серебряной, всю грудь покрывавшей бородой, последний Лузиньян так походил на короля, изображаемого в детских сказках...

Сидел однажды перед вечером. Осенние сумерки тихо, – с обволакивающей мягкостью лились в окно, так же бесшумно и медленно, как шевелились осенние думы в голове Лузиньяна.

И вот стук в дверь испугнул и эти прозрачные сумерки и тихие думы. Страдальческая тень скользнула по крупным, бледным, как благородная слоновая кость, чертам...

Неужели опять за деньгами? Как это унижительно и как он безволен, что не имеет сил в себе разом прикончить все это. Давно уже, давно ему надо было уйти вовремя со сцены. Актер в костюме и гриме, оставшийся посреди кулис, когда кругом пусто, погашены огни и нет никого – смешон и жалок. И тем смешнее еще, если он в порфире и короне.

Но Лузиньян ошибся. На этот раз не за деньгами пришли.

– Господин король, – ах, это балаганное, терзающее уши «господин король»!.. – вас какой-то адмирал спрашивает.

– Меня?

– Да.

Коридорный тычет продолговатую визитную карточку: «Илиодор Илиодорович Обрыдленко, адмирал».

Это имя ничего не говорило Лузиньяну. Хотя, если вспомнить, он, кажется, встречал Обрыдленку в обществе, в том самом обществе, которое лет пятнадцать назад гонялось за королем Кипрским. Во всяком случае, теперь, когда, лишившись Загорского и своей Корделии,

Лузиньян больше не видел «порядочных людей», встреча с адмиралом сулила ему приятную беседу. Они с полуслова поймут друг друга, у них будет что вспомнить.

Значит, еще не все забыли о существовании короля Кипрского. Не все похоронили его заживо.

И вот Обрыдленко входит, в орденах, при кортике. Лузиньян делает движение приподняться. Ах, эта проклятая подагра! Нет, ему решительно незнаком этот старый с медвежьими глазками и свинцово-седой бородкой адмирал.

Обрыдленко с порога отвешивает низкий поклон.

– Ваше величество...

– Садитесь, адмирал, я очень рад вас видеть... Если не ошибаюсь, мы встречались?

– Так точно, ваше величество. Но это было очень, очень давно, и вряд ли вы меня изволите помнить. Это было в Тюильри. Я, тогда молодой лейтенант императорского флота, имел честь быть представленным вашему величеству.

– Какое приятное воспоминание! – оживился Лузиньян. – Увы, это было всего за несколько месяцев до этой фатальной войны семидесятого года... Как сейчас помню, я беседовал с принцессой Матильдой, и в этот момент герцог Морни представил мне вашего адмирала и вас. Вы были такой худенький, стройный...

– Я был молод и красив, как уверяли женщины, а теперь я старик, ваше величество, плохо вижу и начинают дрожать колени...

– Ну, какой же вы старик? В сыновья мне годитесь. Вы в отставке?

– Так точно, ваше величество... Выдумали какой-то предельный возраст, не желая знать того, что мы, перешедшие этот возраст, куда опытнее молодежи!

– С вашим положением вы, конечно, в курсе дел. Как идет на войне? Что за катастрофа под Сольдау? Это не очень серьезно?

– Кажется... Не знаю подробностей, – спешил отделаться Обрыдленко от мало интересовавших его вопросов. – У меня столько своих личных дел, что я не успеваю следить за войной.

– Как, вы не интересуетесь ею? – с изумлением вырвалось у Лузиньяна.

– Конечно интересуюсь, конечно, – опомнился Обрыдленко, что хватил через край. – Нельзя носить орлы на погонах и быть равнодушным к войне.

Чего доброго, эта живая мумия упрекнет его в отсутствии патриотизма. Скорее надо перейти к делу. И Обрыдленко перешел:

– Ваше величество, я позволил себе побеспокоить вас по следующему поводу: вы слышали фамилию банкира Айзенштадта?

– Айзенштадта? – поморщился король. – Нет, не слышал.

– Это очень, влиятельный банкир, большие знакомства, связи. Он здесь популярен в столице. Честнейший, уважаемый человек. У него есть серьезное дело к вашему величеству.

– У него ко мне серьезное дело? Не ошибаетесь ли вы, адмирал? Удивляюсь, ничего не понимаю...

– В сущности, я должен был заехать еще позавчера к вашему величеству, но кое-что помешало. Повторяю, очень серьезное дело и, по-моему, очень выгодное для вашего величества.

Король молчал, вопросительно глядя на адмирала. Адмирал собирался с духом.

– Он, ваше величество, очень занятой человек и поэтому очень просит вас пожаловать к нему для переговоров.

– Чтобы я поехал к нему? Так ли я понял вас, адмирал?

– Да... Он был бы счастлив принять у себя...

– Адмирал, я беден, я живу в обстановке, не требующей комментариев, но я не поеду к банкиру, будь он сам Ротшильд.

– Но почему?.. Это предрассудок...

– Что делать, я слишком стар для нынешнего века, живущего без всяких предрассудков. Неужели вас, адмирала этот банкир послал ко мне?

– Послал... это не то слово, ваше величество. Мы друзья, и он просил меня оказать, ему дружескую услугу.

– Нет, адмирал, я не поеду к вашему другу-банкиру. А если у него действительно есть ко мне дело, что меня, повторяю, удивляет до крайности, он от вас узнает мой адрес, и, если он явится, я обещаю его принять и выслушать.

Обрыдленко пожевал губами.

– Так и передать?

– Так и передайте.

– Хорошо, я думаю, что господин Айзенштадт найдет время заехать к вашему величеству.

– Это его дело.

Обрыдленко, недовольный результатами своего посещения, откланялся.

Лузиньян подумал ему вслед:

– Или я выжил из ума, или действительно ничего не понимаю. Адмирал на побегушках у банкира.....В мое время этого не было. Теперь другое время настало, другое... без предрассудков...

5. Дима горский преуспевает

Черноградские гусары давно перешли границу и все время двигались вперед по австрийской земле. Двигались с боем, потерями и той воинской доблестью, которой всегда славились черноградцы.

Они действовали то эскадронами, то полком, то вместе со всей дивизией, обрушиваясь несметной лавиной всадников на венгерских гусар, на уланские и драгунские полки русинов и чехов.

Стояла сухая, теплая осень. По словам Загорского, приятно воевать в такую погоду...

И если б не ночные пожары, если б не охватившие половину темных небес зарева факелами пылающих деревень, покинутых австрийцами, если бы не убитые и раненые, – право, было бы впечатление какой-то увеселительной прогулки. Буковые и дубовые леса на горах стояли во всем своем пышном желтеющем убранстве. В долинах с журчащими реками шумели водяные мельницы. Серые дороги и гладкие полотнища шоссе путей – все это манило продвигаться все дальше и дальше в этот заповедный край, такой чужой и такой близкий, с его магнатскими замками, белыми деревнями, пасеками, девчатами и мужиками в свитках и кожухах, так напоминающими Вольту, Черниговщину и Полтавщину.

И чуждыми казались на этом фоне кургузые австрийские мундиры и твердые головные уборы мелких чиновников, что не ушли в глубь страны, а преспокойно сидели на своих местах, как если б ничего не случилось.

По шоссе дорогам тянулись назад в русский тыл бесконечные колонны взятых и сдавшихся в плен австрийцев. Эти колонны были так же разноязычны, как и сама «лоскутная монархия».

Вот как описывал любимой девушке Загорский этих пленных в одной из своих весточек:

«... Я думаю, что никогда в обычной жизни все составляющие монархию Габсбургов народности не соединялись так близко и вместе, как в этих бесконечных колоннах. Тут-то сказывается, чувствуется вся мозаичность. Даже объединенные, казалось бы, одной участью, они все же взаимно косятся. А славяне и венгры – те прямо и откровенно ненавидят друг друга.

Вот боснийцы... Между прочим, это самая высокая в мире пехота. Одинаковые шинели, фески, одна и та же форма, но сколько ненависти. А почему? Это – боснийские мусульмане и боснийские сербы. Для первых Франц-Иосиф – любимейший халиф. Они его янычары. Славян терпеть не могут, русский плен для них – скрежет зубовой. Для вторых... эти искали русскую часть, чтобы ей сдать, так как не желают ни свою, ни нашу кровь лить за интересы швабов. Ах, какая это запутанная политика... Венгры – те же самые мусульмане по духу: волчья порода. Глянет на вас – огнем обожжет. Хотя недавнего величия нет и следа. Вообще кавалерист, „вынужденный“ идти пешком, – жалок.

Сколько их!.. Чехи, румыны, итальянцы, хорваты, словаки, русины... Ты не поверишь, до чего странно слушать из неприятельских уст совершенно чистую русскую речь, не украинскую, нет, а именно русскую. Сколько их, пленных... Даже притупляется чувство удовольствия при виде этих бесконечных колонн – мы „объелись“ австрийцами».

Загорский часто писал Вере. Писал в мужицких халупах, в княжеских замках, где-нибудь в лесу под шум косматых вековых сосен, когда его эскадрон прятался в ближайшем от передовых линий резерве.

Ответные письма – она каждый день посылала их – с трудом и неаккуратно догоняли, настигали Загорского. Полевая почта не успела еще наладиться, и, кроме того, извольте угнаться за кавалерийским полком, все время наступающим!

И случалось так: за целую неделю ни одной весточки, а потом вдруг сразу целая пачка, семь-восемь писем. И хотя так много было ярких впечатлений и таким хаосом вытесняли они

все, что не было и не называлось войной, хотя каждый миг острыми переживаниями захватывал самых нечутких, самых нетонких людей, но даже среди всей этой кипени Загорский читал и перечитывал письма любимой девушки с неизведанным до сих пор острым наслаждением. С этих покрытых косым крупным почерком страниц веяло таким свежим, отдающим себя целиком без остатка чувством такой благоуханной чистотой прекрасной души...

Нельзя было не умиляться. И пусть сам Загорский всегда вышучивал это слово – «умиление», называя его отжившим, сентиментальным, но письма Веры его «умиляли». Он огрубел, как грубеют все на войне – и темный солдат, и образованный офицер, много читавший и видевший. Кровь своих и чужих, страдание, игра человеческой жизнью, превращающая мгновенно вчерашних богачей в сегодняшних обездоленных нищих, – все это закаляет нервы, притупляет сердце и душу. И потому, что он огрубел, и потому, что прежде всего он был мужчина, Загорский, читая письма Веры, такой далекой, физически далекой, в каждый любой момент испытывал прилив чувственности. Особенно суровой чувственности солдата, всадника, вырвавшегося на волю центавра. Разъединенный с ней тысячами верст и войной, Загорский мучительно хотел ее целовать и сделать ей больно своим сильным стискивающим объятием. И все чаще и чаще видел он в ней молодую обаятельную женщину, которую если она сама и подозревала в себе, то разве смутным инстинктом. Ему не давал покоя свежий рот Веры с такой благородной линией губ. И порою жмурил глаза, ослепленный сверкнувшей вдруг так близко-близко беломолочной упругой, красивых форм и линий грудью. И он мысленно распускал волосы Веры и, погрузив лицо в них, жадно и хищно вдыхал аромат, аромат всего тела, которое еще никому не отдавалось...

И вот эти невинные, так жарко бунтующие кровь письма прекратились. Ни звука, ни весточки. Минула неделя, другая, пошла третья. Полк отдыхал в Тернополе и будет еще отдыхать. Почта наладилась. Всем кругом приходили письма, а от Веры ни одной строки.

Загорский волновался, не находя объяснения этому непонятному молчанию. Писала изо дня в день и сразу как рукой сняло. Хотя частые телеграммы не разрешались в армии, но Загорский, добившись разрешения, послал срочную депешу девушке, умоляя телеграфировать. Но – никакого ответа.

Мучимый неизвестностью и, как всегда в таких случаях, неизменной спутницей – ревностью, он ждал с нетерпением «оказии». Оказия – это если кто-нибудь из знакомых офицеров поедет в Петербург. Загорский поручил бы ему зайти к Вере на Вознесенский и узнать, что с Верой.

Но кое-кто уехал уже раньше в кратковременный отпуск, а новых отпусков не давали, так как со дня на день предвиделись большие бои. Полк мог в любую минуту сняться с отдыха и уйти, куда его перебросят.

Первоначальное желание Загорского, вполне искреннее, – жить в эскадроне, как полагаются обыкновенному рядовому, – не осуществилось. Слишком он был ярок, талантлив и, это самое главное, полезен, чтоб мог слиться с солдатской массой. Пехтеев потребовал его в штаб полка.

– Дима, ты нам нужен, и никаких разговоров!

Действительно, был нужен. Как-то само собой вышло, что Загорский, обладавший гибким литературным языком, писал все отчетные репортажи. В штабе дивизии восхищались красочной литературностью этих репортажей. Однажды Пехтеев, самодовольно улыбаясь выпуклыми глазами с поволокой, сообщил Загорскому.

– Командующий дивизией генерал Столешников желает перетащить тебя к себе в штаб. Что ты на это скажешь?

– Я хотел бы остаться в полку.

– Я так и думал. Во всяком случае, я тебя так легко, без борьбы, не отдам Столешникову. Если же он будет слишком наседавать, к сожалению, – воля начальства, – придется уступить.

Загорский не одними только режаниями проявил себя. Им сделано было много ценных разведок. Иногда, спешившись ночью, подползал он к линиям неприятельского расположения, проникал в тыл, почти к самым артиллерийским позициям и возвращался в штаб полка, сделав подробнейшие «кроки», где какая стоит батарея, где замаскированные пулеметы и как идут одна за другой линии окопов.

Однажды на основании таких «кроки», сделанных с мастерством офицера генерального штаба, предпринято было наступление, завершившееся полной удачей, до уничтожения австрийских батарей включительно. Грудь Загорского украсилась вторым серебряным крестом.

Спустя несколько дней он был представлен к третьему – золотому. Это случилось перед тем, как полк пришел на отдых в Тернополь. Штаб его стоял в покинутом графском имении Ягельницы. Боев не было. В шести-семи верстах от Ягельниц – местечко, занятое и укрепленное неприятелем. Штаб не имел никаких сведений, а надо было путем самой тщательной разведки выяснить силы австрийцев и степень их укрепленности.

Штаб с комфортом расположился в графском палаццо. Покинувшие усадьбу владельцы отдали приказ оставшимся слугам ни в чем не отказывать русским офицерам. Графский повар готовил вкусные обеды и завтраки. К столу подавалось выдержанное в погребах венгерское, столетний мед в запыленных бутылках.

В «белой» гостиной Загорский, подсев к роялю, отыскивал в горах нот шумановский «Карнавал».

Звон шпор. Загорский увидел перед собой полную, откормленную фигуру Пехтеева.

– Телефонограмма из штаба дивизии, Будь другом, ты, как никто, сумеешь угодить Столешникову...

Через десять минут, пригибаясь на широкой рыси своего мощного «Лузиньяна», выехал Загорский в сопровождении двух гусар за каменные ворота усадьбы.

Липовая аллея. Мягкая плотина; пружинящая под копытами лошадей. Блеснула, внизу вода. Кони зацокали по камням шоссеного полотна. Вдаль тянулась вереница телеграфных столбов. Кое-где обвисла, кое-где совсем оборвана проволока. Австрийский императорско-королевский телеграф безмолвствовал.

Впереди начиналось «мертвое» пространство, не занятое ни другом, ни недругом. Это мертвое пространство горело все в пепельном пурпуре сентябрьского вечернего солнца. И на фоне этого холодного пламени резким силуэтом намечалась колокольня костела местечка, где засели австрийцы.

Сначала план Загорского был таков: дождавшись сумерек и оставив одного гусара с лошадьми где-нибудь в овраге или кустах, он с другим спутником незаметно проберется к местечку, чтобы выведать необходимое, если, разумеется, не обломает себе зубов в прямом и переносном смысле о первое же проволочное ограждение.

Так думал Загорский вначале. Но потом, когда уже несся широким галопом по обочине шоссе, разгоряченный ездой, под впечатлением этого ликующего пространства и бьющего в лицо ветерка, овладела им, – иначе ее не назовешь, – вдохновенная дерзость. Он и сам не мог потом объяснить, как это случилось. Инстинкт, который сильнее человека, подсказал ему нестись без всякой опаски все вперед и вперед.

Не имея никаких оснований, без всяких данных, он был «уверен», что австрийцы покинули местечко, отошли к себе вглубь.

И вот, уже пьянея от перешедшего в карьер галопа, несетя прямо на самые австрийские рогатки, баррикадирующие шоссе. Оба гусара еле успевают за ним, задевая остриями пик листву деревьев.

Уже близко, совсем близко... И странно, что никто не встречает их ружейной трескотней. Молчит, зловеще молчит паутина проволоки, молчат окопы. И рогатки смешались, скомканные, можно проехать свободно.

Вымерли окопы. На дне их блестят пустые обоймы, сверкнула бутылка. Измятый головной убор пехотного гонведа, тряпица...

Мимо...

Единственная улица местечка. Никого, ни души. Только сидит на призьбе хаты слепой старик в теплом кожухе, русин. Да еврейка в белых чулках и пантофлях испуганно прижалась к стене. Тошую, с грязной, клочьями висевшей шерстью козу чуть не раздавила большая могучая лошадь.

Загорский, бросив повод гусару, полез на колокольню ветхого серого костела. Очувтившись в башенке, среди небольших католических колоколов, приводимых в движение за верхнюю «коронку», он, вооружившись «Цейсом», стал зорко нащупывать далеко убежавшую окрестность. И хотя все понемногу заволакивалось вечерней дымкой, еще ясно проступали реки, луга, поля, опушки лесов, деревни. Видимо, австрийцы успели отступить далеко. Ничего не видно, ни одной колонны. Однако вот открытие... И сердце забило шибче. Верстах в трех отступал по проселочной дороге растянувшийся обоз. На глаз примерно этак семьдесят-восемьдесят фурманок, и можно различить пехотное прикрытие, в общем, около роты.

Загорский, добыв из полевой сумки бумагу и сверяясь с картой участка, набросал план местности, обозначил дорогу, с без малого полутораверстной линией обоза и написал карандашом записку Вавусе.

«Обнаружил неприятельский обоз примерно в восемьдесят подвод. Охранение около роты. Главные силы отошли далеко. Горизонт чист на пятнадцать верст, немедленно атакуйте обоз всем полком в голову, в тыл и во фланг».

Спустившись с колокольни, Загорский передал гусару план и записку.

– Хорольский, скачи в штаб карьером и передай это полковнику Пехтееву.

– Слушаю, – весело блеснул крепкими молодыми зубами на, фоне смуглого запыленного лица Хорольский. Через минуту уже Бог знает где цокали камни под копытами его лошади.

Дима закурил папиросу, молча глядя на гусара, державшего двух коней в поводу.

– Обнаружили, Дмитрий Владимирович? – спросил гусар.

– Обоз, – ответил коротко Загорский, думая о чем-то своем.

Не спеша возвращался он, только б успеть присоединиться к своему эскадрону для атаки.

Атака получилась на славу. Вихрем налетели черноградцы. Многих порубили, многие, бросая винтовки, сдавались в плен. Обоз с ценной военной добычей – патронными ящиками, радиотелеграфной станцией, заградительной проволокой и всяким другим, не менее интересным добром – очутился в наших руках.

За это представлен Загорский был к Георгиевскому кресту второй степени. Все шло так гладко. И он сам говорил, что ему везет анафемски. Но это до поры до времени, стучалась и над его головой, вместо ликующих ясных небес, черная туча...

6. Западня

Большая закрытая машина ожидала Веру на углу Вознесенского и Екатерингофского. Громадные очки закрывали все лицо шофера. И это было зловеще. Молча кивнув головой, он, перегнувшись назад, распахнул дверцу.

Забугина села, дверца захлопнулась. В купе от плотно спущенных занавесок – темень кромешная. Вера почувствовала рядом с собой кого-то другого. А думала, что будет одна. Дрогнув, вырвалось:

– Кто здесь?

Под шум уже мчавшегося полным ходом автомобиля ей ответил незнакомый и в то же время как будто где-то, когда-то уже слышанный голос.

– Не извольте беспокоиться, сударыня... С вами рядом – лицо, хорошо известное барону и основательно посвященное во всю эту историю...

У Веры отлегло чуть-чуть. Она спросила тихо:

– Куда же мы едем?

– Я не могу вам сказать, куда мы едем, но там, где мы будем через десять-пятнадцать минут, вы расскажете одному высокопоставленному лицу все, что слышали, и все, что вы знаете...

– Я так мало знаю... мои сведения так случайны...

– Пустяки, сударыня... Кто это сказал: мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

Ужасный французский выговор! Да и вообще... это «сударыня»... Однако неужели барон послал за ней кого-нибудь из своих лакеев? Спутник, во всяком случае, не из особенно приятных.

А «спутник», вдруг схватив обе руки девушки, так сжал их своими железными пальцами, что занули все суставы. В другой руке вспыхнул электрический фонарик.

– Посмотри. Узнаешь?

Совсем-совсем близко – усатое румяное лицо, казавшееся загримированным. И глаза казались чужими, взятыми напрокат с другого лица, нахальные, карие глаза.

Похолодевшая Вера сделала несколько беззвучных движений губами. Не хватало воздуха, сил не хватало. В кошмарном сне или в столбняке так бывает...

– Узнала теперь? А помнишь, как ты кочевряжилась, как своему хахалю жаловалась? Что, небось далеко, за тридевять земель этот самый бритый лорд? Теперь не заступится! Молчи, все равно никто не услышит! Впрочем, так будет надежней...

Фонарик погас. Генрих Альбертович вынул откуда-то влажный, неприятно пахнущий платок и прижал его к лицу Забугиной, плотно закрыв нос и рот. Через несколько секунд Вера откинулась на кожаные подушки без сознания...

Дегеррарди, усмехнувшись, отпустил ее руки.

Вера очнулась, вернее, мало-помалу приходила в себя, лежа на диване.

Она слышала вокруг какие-то сдавленные голоса. Слышала – как в густых-густых потемках... Да это и были потемки. Глаза Веры плотно и крепко-накрепко завязаны чем-то непроницаемым. И первым движением было сдернуть эту повязку, но рука остановилась на полдороге, вспугнутая зычным окриком:

– Не смей! Руки прочь, если дорога жизнь!

Забугина повиновалась. Что будет дальше – один Господь Бог знает, но пока она всецело во власти этих заманивших ее бандитов. Всецело! Можно ли было так глупо, наивно довериться?

Вера сидела, ощупью одернув платье. Видимо, пока ее несли сюда из автомобиля, по дороге шляпка ее откололась. В суматохе буйно разметались пряди волос. Вера, чувствуя это, не могла себя видеть, не могла привести в порядок растрепанную прическу.

Черная лента поверх глаз, до боли стянутая на затылке грубым узлом, сообщала что-то особенное, почти трагическое всему лицу.

Неужели барон так предательски поступил с нею? Неужели этот человек, несмотря на свое положение, заодно с ними? Неужели? Она так доверчиво пошла к нему, все рассказала...

И вот каковы результаты. Она похолодела вся, вздрогнули покатые, круглые плечи при одной мысли, что ее ждет впереди. Заманили ее сюда не для того, чтобы... Она сама не знала ничего, не хотела знать... До того пугали ее призраки, обступившие кругом, и эти наполовину живые призраки с глухими голосами и какие-то дальние, бесплотные, еще более пугающие.

Дима, Дима, где ты? Какая она беспомощная теперь! Одна-одинешенька... А он далеко, далеко. Голос, громкий, самодовольный, голос человека, не совсем хорошо и чисто говорящий по-русски, вернул пленницу к действительности.

– Госпожа Забугина, потрудитесь отвечать, зачем вам понадобилась вся эта нелепая история? Зачем вы подслушивали?

– Я не подслушивала нарочно. Я была невольной свидетельницей всего, что говорилось...

– Но в таком случае вам надо было молчать, а не звонить на весь город. Зачем это сделали?

– Я это сделала вполне сознательно. Каждая русская женщина поступила бы так на моем месте. Я об одном жалею, что обратилась к барону, оказавшемуся...

– А, патриотизм! – усмехнулся тот же самый голос. – Что же, вы хотите быть российской Жанной д'Арк, спасительницей отечества?

– Я не желаю отвечать на ваши вопросы. Больше вы от меня ничего не услышите...

– Подумаешь, какая восхитительная гордость! – подхватил Генрих Альбертович. – Величаво замкнуться в своем высокомерном молчании? Ну, а если мы заставим вас быть словоохотливой, прибегнем к маленьким инквизиционным приемам?

Вера молчала.

– Довольно, затыкайте ваш фонтан! – оборвал Генриха Альбертовича первый голос, продолжая по адресу Забугиной: – Вас ждет суровое наказание. Мы должны вас обезвредить. Но чтобы вам было еще больнее, мы вас ударим с другой стороны. Вашего, будем говорить, жениха ждут не особенно лестные перспективы... Это он внушил вам все эти фокусы, и он за это поплатится! И Георгиевский крест не поможет. Когда ему предлагали хорошее место, он закапризничал, теперь пусть сам жалеет. Но довольно болтовни, потрудитесь встать и следовать куда вам прикажут...

Дегеррарди крепко схватил Веру за локоть. Она рванулась с, отвращением. Ей пригрозили.

– Ведите себя тихо и смирно! Малейшее – и мы спеленаем вас, как египетскую мумию. Ступайте!

Ее повели. Она шла, поддерживаемая с двух сторон, по скользящему паркету. Паркет сменялся коврами. Она уже чувствует под ногами каменные плиты, раскрылась дверь. Обвеял ночной воздух. Шуршит гравий, и чем дальше, тем свежей дыхание сонной реки.

– Осторожно!

Несколько рук схватило Веру. Ее опустили на дно, – так ей почудилось, – на дно лодки. Большая моторная лодка, самая большая из всей, флотилии господина Юнгшиллера. – Нагнитесь; или вы расшибете лоб.

Вера очутилась в каюте.

– Теперь можете снять повязку.

Захлопнулась дверь, шелкнул с эластическим звоном ключ, Вера осталась одна. Глаза долго не могли привыкнуть к перемене света. И когда освоились наконец, кругом было темно. В каюте чувствовался комфорт – мягкий плюшевый диван, руки угадывали прикосновением холодную бронзу отделки. Вера нащупала выключатель, повернула, каюта озарилась электрическим светом. Впечатление нарядной бонбоньерки, и здесь, в этой бонбоньерке – плюш, бронза, красное дерево, зеркало, столик с курительным прибором, – она как в тюрьме.

А оттуда из-за двери голос:

– Погасить электричество!

Лодка с шумом уносится куда-то вдаль, в пугающее неведомое. Потрясенная всем пережитым, девушка, плотно сомкнувши веки, сжавшись в комочек, откинулась на диван, хотела забыться. Но даже самая прозрачная легкая дрема ускользала и целый клубок гнетущих тяжелых дум не давал ни забвения, ни минуты покоя...

А потом, когда она измучилась думать, какая-то апатия овладела ею. Как бы мучительно ни работала мысль, нет ни спасения, ни просвета. Чем дальше, тем больше будет она во власти своих врагов.

Отгорел последок ночи. Сквозь щели в занавесках глянул сначала сизый рассвет, а потом все смелей и смелей заструилось белое, обещающее яркие солнечные радости утро.

Но девушке было не до радостей. Посмотревшись в зеркало, увидев похудевшее, бледное, серое какое-то лицо, отшатнулась, – до того не узнала себя.

А лодка давно бежала среди открытой морской глади.

В девять часов распахнулась дверь, и сам Генрих Альбертович Дегеррарди, выспавшийся, с мокрыми от воды усами, внес пленнице на подносе кофе, хлеб, масло.

– Кушайте, сударыня, кушайте на здоровье! Мы вовсе не желаем морить вас голодом. В час вы получите завтрак, что же касается обеда, вы будете обедать уже на твердой земле. Морское путешествие адски полезно. Ничто так, черт возьми, не возбуждает аппетита!

Вера не взглянула даже на него. Кофе остался нетронутым.

Прошел день, томительный, бесконечный, взаперти в тесных стенах каюты.

Ее не выпускали на палубу. Зачем? Лишняя фигура, лишнее подозрение. И так Дегеррарди, вооруженный биноклем, увидел на горизонте русский миноносец. Хорошо, что их не заметили. А если бы заметили, Генрих Альбертович имел вполне определенные инструкции – утопить пленницу.

К вечеру лодка остановилась в полуверсте от низкого пустынного берега. Тогда только было позволено и даже не позволено, а приказано девушке выйти на палубу. От берега отделилась четырехвесельная лодка с двумя гребцами. Причалили.

– Автомобиль есть? – спросил Генрих Альбертович по-немецки.

– Сейчас будет.

Экипаж моторной лодки ждал приказаний штурмана дальнего плавания.

– Возвращайтесь и скажите, что все благополучно. Я вернусь через несколько дней по железной дороге.

Три немца в морских фуражках четко, по-военному козырнули.

– Мадам, же ву зан при! Пожалуйста в лодку. Здесь уже не такой комфорт, но путь самый ничтожный.

Гребцы взмахнули веслами. Едва лодка причалила к берегу, подоспел автомобиль.

– Пожалуйста... Садитесь. Вот сколько способов передвижений, и все бесплатно! Автомобиль открытый, не вздумайте кричать по дороге. Самой себе только напакостите. В этом крае мы – господа.

Генрих Альбертович сел рядом с Забугиной. Розовея в лучах вечернего солнца, белые чайки с тоскливым криком носились над песчаным, берегом.

Вере чудилось что-то родное, близкое в этих острокрылых чайках. Чудилось, что они ей сочувствуют...

Действительно, момент-другой они покружились высоко над покидавшим берег автомобилем, а потом широко полетели в открытое море...

Остался позади берег. На перекрестке двух проселочных дорог – каменная корчма, одна из тех монументальных корчм, принадлежащих остзейским баронам, которые на выгодных условиях арендуют у них батраки. Две-три подводы с кладью. Старые латыши в коротких полушубках и меховых шапках о чем-то своем калякают. Седые бороды их растут словно из самой шеи. Губы и верхняя часть подбородка начисто выбриты.

Генрих Альбертович сжал руку Веры.

– Не вздумайте кричать!

Автомобиль пронесся мимо корчмы и был уже далеко...

7. Вокруг «истребителей»

Днем, катаясь на островах, Искрицкая заехала «на службу» к Корещенке. Службой опереточная примадонна окрестила раз навсегда мастерскую своего друга, где он так усердно создавал свои «истребители».

И вот она, такая странная среда этих станков, «цилиндров», поршней, винтов, мелькающих в каком-то бескогечном беге ремней. Опилки, железо, клещи самых разнообразных величин и форм. Корещенко, перепачканный, синей блузе, невымытый, взлохмаченный, и Надежда Фабиановна, распространяющая вокруг себя аромат духов, в эффектной шляпе, оттеняющей широкими полями красивое лицо, и в дорогом, – чего-чего только нет: и мех, и атлас, и кружева, – длинном, чуть ли не стелющемся за нею манто.

Рукой в перчатке взяла Корещенку за подбородок.

– Смотри мне в глаза. Ты чем-то недоволен, золотце?..

– Я? С чего ты взяла? И не думаю! – ответил он, освободив свой подбородок из мягких замшевых тисков...

– Смотри! Чудный, сухой день, солнце, на Островах одно очарование! Понемногу желтеют листья... На Стрелке была – никого нет... Хорошо, тихо... А ты сидишь в этой своей коптилке... Ты – человек без поэзии. Ты не любишь природы, ты ничего не любишь!..

– А ты ее любишь, природу?..

– И природу, и музыку, и цветы, и любовь... А ты – копченый окорок... Посмотри, на лице какая-то сажа. На руках опилки...

– И это поэзия!..

– Сажа? Ха, ха, вот дурачок!

– Нет, не сажа, а то, над чем я работаю, – мои истребители! Незаметные, маленькие, они будут страшны самым чудовищным броненосцам! Это особенная поэзия, которая тебе непонятна, поэзия стали, железа, двигателей, орудий, мечущих на много верст разрушение и смерть...

– Понимаю, Володя. Понимаю, но не сочувствую. Это ведь вы, мужчины, народ кровожадный... Вы... А нас тянет к солнцу, тряпкам, объятиям... Но ты-то, ты-то? Откуда у тебя такие взлеты?! Ведь ты ни в Александры Македонские, ни в Наполеоны, ни в Скобелевы не метишь?

– Это – завоеватели. – Я не чувствую в себе ни призвания, ни таланта... Но совершенствовать изобретения, которые могут пригодиться завоевателям, – отчего же? И вообще это у меня с детства...

– Нянька уронила, – усмехнулась Искрицкая.

– Слушай, Надя, мне сегодня не нравится твой тон... Какая тебя муха укусила? Если кто из нас двоих может запускать друг, другу занозы, так это я...

– «Через почему» – так говорят у нас в Киевской губернии.

– Сама знаешь «через почему»... Мне твой платонический роман с господином Айзенштадтом начинает надоедать...

– Платонический?

– А то как же иначе? – опешил Корещенко. – Или... с тебя, пожалуй, станется?

– Дурачок, пошутила! Поверь, когда я захочу тебе поставить рога, ты первый узнаешь об этом... Айзенштадт, – он, впрочем, теперь не Айзенштадт, а господин Железноградов, – не моего романа. У него большой живот, а я терпеть не могу мужчин с большим животом...

– Но ведь и я не Аполлон Бельведерский.

– И даже очень не Аполлон. Ты некрасивый, грязнуха, но ты мне нравишься, и не за твои миллионы, а сам по себе... Ну, вот, хорошенького понемножку, поехала! Ты сегодня обедаешь у меня?

– С удовольствием, но этак попозже, в половине восьмого...

– С ума сошел, обалдеть можно, ведь я сегодня играю!

– А...

– Бее... Жду тебя без четверти семь.

– Постой, ты обещаешь мне реже показываться с этим Чугуноградским, или как там его?

– Нет, не обещаю, – ты меня имеешь, чего же еще? Всю имеешь, а если я с ним раза два-три в неделю покажусь, я... – Искрицкая нагнулась к его уху, – я от этого не стану менее... вкусная... Мне нравится его дразнить, он мало-помалу выходит из роли платонического содеражателя, ему хочется большего. Моя близость раздражает его, ему не сидится на месте, и он визжит поросенком... Но, кажется, к тебе идут... Какой монументальный мужчина... Да ведь это всем известный Мясников... Только я не хотела бы с ним знакомиться... До свидания...

Искрицкая быстро прошла мимо уже входившего в мастерскую сквозь широко настежь раскрытые, двери Мясникова.

Этот громадный мужчина окинул плотоядным взглядом с ног до головы артистку и облизнул кончиком языка полные чувственные губы.

Искрицкая, пересекши дверь, села в коляску и, отъезжая, сделала ручкой своему другу.

Мясников, звякнув шпорами, отдал честь маленькому, невзрачному инженеру.

– Я имею удовольствие видеть Владимира Васильевича Корещенко?... Моя фамилия Мясников... Давно хотел с вами Познакомиться, да все не было предлога. Теперь он как раз налицо – и весьма важный предлог.

Корещенко смотрел на неожиданного гостя и не мог отделаться от мысли: «Какое неприятное лицо!»

В самом деле, наружность Мясникова скорей отталкивающая, чем привлекающая. Большое, одутловатое, красно-сизое лицо говорило о многих пороках, явных и тайных. Пьяница, кутила, развратник... Под глазами, серо-кошачьими, холодными, жестокими, дряблые мешки... Когда он улыбался, оскал зубов не давал покоя собеседнику чем-то назойливым. Усы росли какими-то мышинными закрученными хвостиками у самого носа... Нижняя половина расстояния между носом и верхней губой тщательно выбривалась...

Мясников без церемонии шарил глазами по всем углам мастерской...

– Извините, Владимир Васильевич, мое любопытство, но я так много слышался о ваших «истребителях».

– Да... – неопределенно ответил Корещенко.

– Сам по себе я не стал бы отнимать у вас время, но явился с официальной, так сказать, миссией. Елена Матвеевна Лихолетьева заинтересовалась вашим изобретением. Это весьма логично и приятно, принимая во внимание положение Елены Матвеевны и то, как ей близко и дорого все касающееся жгучих отечественных интересов. Там хотят возможно скорее ознакомиться со всем тем, чему вы отдаете себя с таким самоотвержением. Вы понимаете, какие для вас перспективы? Все это будет немедленно двинуто, закипит работа, и ваши истребители на страх врагам будут бороздить все моря – Черное, Балтийское и даже Средиземное. Надеюсь, вам это улыбается в принципе?

– Это моя мечта!

– Мечта, как нельзя более близкая к осуществлению. Итак, не будем тратить понапрасну драгоценнейшего времени. Мне поручено – с вашего, конечно, согласия – взять у вас все чертежи, планы, словом, весь материал.

– Зачем?

Мясников улыбнулся отвратительной улыбкой...

– Странный вопрос... Я же докладывал вам, что группа сведущих людей-специалистов, занимающих, видное положение, хочет ознакомиться с вашими истребителями, дабы скорее осуществить и применить их к нуждам войны...

– Но ведь ваши специалисты не разберутся без меня во всем этом хаосе. Мне кажется, если кто и мог бы им объяснить и растолковать, это – ваш покорный слуга.

– Какие же могут быть сомнения! Мы воспользуемся вашим содействием в самом недалеком будущем... на ближайших днях, но... пока я, к сожалению, не вправе... Есть на первый глаз маленькие, непонятные военные тайны... Пока разрешите без вас... Неужели вы нам не доверяете? Если, наконец, не нам, то Елене Матвеевне... Это в полном смысле слова жена Цезаря.

Корещенко колебался.

– Впрочем, как хотите, Владимир Васильевич, – переменял тактику Мясников, видя нерешительность «этого молокососа», – как хотите, настаивать больше считаю неудобным... Но, вернувшись, я обязан доложить Елене Матвеевне, что вы ей не доверяете, – так я вас понял?

Корещенко пожал плечами.

– Если вы так ставите вопрос... Но я все же не могу согласиться... В моем присутствии – другое дело, но отдавать материал в чужие руки, хотя бы и очень почтенные и уважаемые, это – не в моих правилах.

Мясников с наслаждением хватил бы по голове этого мальчика-миллионера в синей блузе, обнаружившего такую «твердость», но с покорным видом развел руками.

– В чужой монастырь, сами знаете... Со своей точки зрения, вы совершенно правы... Я думаю, что первое знакомство с материалом будет в вашем присутствии... Были некоторые основательные мотивы, но теперь они отпадают. Завтра вы свободны?

– Могу быть свободным.

– Отлично! В это же самое время, если вас устраивает, я заеду за вами. Вы соберете все, что надо, и мы помчимся на Мойку. Хорошо?..

– Хорошо, – не без некоторой запинки ответил Корещенко.

Положительно этот Мясников не внушал ему доверия, и, не явись он от Елены Матвеевны Лихолетьевой, Корещенко постарался бы сплавить его от себя возможно скорее...

На другой день Мясников минута в минуту заехал в указанное время к инженеру.

– Вы готовы, Владимир Васильевич? Не забыли?

– Я помню все, что обещаю... Переодеться и захватить нужное десять минут мне дадите?

– Полноте, Владимир Васильевич, я весь, в вашем распоряжении, – галантно поклонился, шелкнув шпорами, гость.

Угол мастерской отгорожен ширмами. Там Корещенко переодевался. Там задребезжал телефон.

– Алло!

Мясников облизнул губы. Это означало у него удовольствие и нетерпение.

– Ледя, ты?

– Я переодеваюсь, милая... Меня ждут по очень важному делу...

– Подождут, эка важность. Куда ты едешь? Оставь, на всякий случай свой телефон... Я в таком настроении, какая-то ерунда с маслом... Хочу иметь тебя под рукой...

– Не знаю, право, удобно ли туда звонить, я буду первый раз в доме, совершенно деловым образом и, наконец, там несколько телефонов...

– Семьсот одиннадцать пятьдесят девять, – подсказал Мясников, – это ближайший, где мы будем работать.

Корещенко повторил.

– Семьсот одиннадцать пятьдесят девять... Уехали.

Автомобиль остановился у главного подъезда, рядом с которым был другой, незаметный, маленький. Швейцар, осанистый, в медалях и крестах, бросился высаживать Мясникова. Вслед за Мясниковым Владимир Васильевич нес тяжелую, туго набитую картонами и чертежами папку.

– Возьми, Дементий, – приказал Мясников швейцару.

Глубокий вестибюль с камином, колоннами, сводчатым куполом. Широкий малиновый ковер, перехваченный медными прутьями, оттенял бело-мраморную лестницу. Какие-то чиновники, какие-то курьеры в сюртуках с металлическими пуговицами. Мясников с видом вполне своего здесь человека уверенно шел вперед, оставляя позади целые анфилады комнат... И вот они в гостиной, относительно небольшой, но в средней частной квартире это была бы громаднейшая комната.

Здесь уже сидело за круглым столом несколько мужчин и дам. Корещенко узнал Елену Матвеевну, хотя не был с нею знаком.

И первое впечатление было: «Какая холодная, какая она вся холодная!» И рука холеная, бледная, тоже холодная.

Елена Матвеевна давным-давно успела забыть и растерять свое прошлое... То самое прошлое, на которое намекал Шацкий. В темном, очень простом и очень дорогом туалете, высокая, с крупными, бело-воскового цвета чертами, напоминала владетельную герцогиню, – столько было величия во всей фигуре и так она владела своим черепаховым лорнетом на тончайшей, искусной работы золотой цепочке. Лихолетьева познакомила Корещенку с мужчинами.

– Садитесь, Владимир Васильевич, очень рада... Я люблю талантливых людей, в особенности, как вы, делающих такие технические завоевания... Родина так теперь нуждается в них. Что же, господа, приступим.

Корещенко развязал тесемки туго набитой папки, Мясников ходил вокруг стола, покручивая свои мышинные хвостики.

Корещенко раскладывал чертежи... Здесь и общий вид на воде, тронутый для большей наглядности акварелью, и двигатели, разработанные детали, подробности механизма...

Господин средних лет в черном сюртуке, в очках, с бородкой, особенно заинтересовался чертежами. С трудом говоря по-русски и думая на каком-то другом языке, задавал он Корещенке вопросы, задавал как специалист.

Откуда-то из глубины донесся телефон.

– Я узнаю, – сказал Мясников.

Через минуту вернулся.

– Владимир Васильевич, вас просят. Корещенко поморщился.

– Елена Матвеевна, разрешите?

Разрешение последовало.

Мясников проводил Корещенку через три комнаты в четвертую, обставленную по-казенному, с телефонной будкой.

– Пожалуйста, я вас покараулю, а то вы не найдете дороги.

– У телефона...

– Ледя, мне скучно, развлекай меня...

– Я занят...

– Пустяки. Я места не нахожу себе. Слышишь, это гораздо важнее твоих занятий.

Болтая всякий вздор, Искрицкая продержала Корещенку минут десять в будке. Насилу отделившись, пообещав заехать к ней после спектакля, он вышел, наконец, из будки. Мясников взял его под руку.

– Переговорили? Ах, эти женщины, ах, эти женщины...

За десять минут господин с профессорской внешностью успел зарисовать и записать все, что ему было надо. К возвращению Корещенки схема его истребителей лежала в кармане «профессора».

На прощанье Елена Матвеевна еще раз милостиво уронила молодому инженеру.

– Я очень люблю талантливых людей... Очень...

И только у себя Корещенко вспомнил, что Лихолетьева и словом не обмолвилась, вопреки обещанию Мясникова, дать скорейший ход «истребителям».

8. В последний момент

Юнгшиллер был человек толстокожий, «бронированный». Эта броня – миллионы его, во-первых, и немецкая самовлюбленность, во-вторых.

Непроницаемой казалась подобная толща жира, самомнения, денег и еще чего-то. Людей Юнгшиллер самым прямолинейным образом делил на две категории, – которые ему нужны и которым он, Юнгшиллер, нужен. Первых было подавляющее меньшинство, вторых – угол непечатый, ибо кто только не нуждается в богатом, влиятельном человеке с целой армией служащих, «его» служащих?

Первых он всячески умасливал, вторых презирал откровенным и грубым презрением. Между этими двумя крайностями ничего не было... Пустота... Слишком негибок и схематичен был сам Юнгшиллер, чтобы вмещать в себе другие, промежуточные отношения к людям, более тонкие, менее азбучные...

Впрочем, не один Юнгшиллер повинен в этом и не только его немецкая порода была причиной. На какой угодно точке земного шара человек любого цвета кожи и любой расы так же по-звериному бывает прямолинейен. Холопствует перед тем, кого боится и кто ему нужен, и с высоты своего хамства снисходит к маленьким, слабым и жалким...

Но вот появился в круглой башне «человек без костей», с глазами-буравчиками, этот, как снег на голову свалившийся Урош.

Что-то новое почувствовал к нему Юнгшиллер, до сих пор неведомое, тем более, что одетый спортсменом человек, знавший, на какой странице надо открыть молитвенник, принадлежал скорее уж ко второй категории, чем к первой. А между тем сразу начал относиться к нему Юнгшиллер, как если бы Урош являлся для него существом перворазрядным...

Что такое Урош? В особенности в глазах архибогача немца? Человек без роду без племени, хотя и владеющий двадцатью двумя языками. Славянин вдобавок... Сам же сказал, что отец словак, а мать сербка из Банья-Луки. Серб, хоть и австрийский и более культурный, однако все же серб – славянин, человек низшей расы.

Общественное положение?

Никакого! Отрицательное положение. Темная личность, ренегат. Ренегат – пожалуй, слишком; так или иначе этот Урош – подданный австро-венгерской короны. Во всяком случае, в то время, когда все южные славяне делом, словом, помышлением восстают против владычества Габсбургов, – этот Урош?.. Факт налицо. Он здесь, он раскрыл молитвенник, там-то и там-то и обещал заняться голубиной почтой. Хотя он и не мелкая рыбешка, хотя его знают и, видимо, с ним считаются, но все же он в подчинении у Юнгшиллера, и блистательный «король готовых платьев» может ему приказывать. Может и будет, зависимость очевидная, хотя и не писаная, или потому именно такая очевидная, что не писаная.

И все же Юнгшиллер не может найти «надлежащий» тон с этим человеком. Пробовал, но Урош всякий раз как-то незаметно сбивал его, сбивал своим спокойствием, скорей загадочным, чем уверенным, сбивал взглядом своих пытливых «буравчиков», сбивал чуть заметной улыбкой тонких губ...

Другой на месте Уроша поспешил бы воспользоваться «открытым счетом» в магазине, и в два-три дня с ног до головы оделся бы... Другой... А Урош не спешит, щеголяя в своем спортивном костюме всесветного перекаати-поля.

С Шацким, Дегеррарди, агентами покрупнее Юнгшиллер не церемонится ничуть. Он третирует их, если и не как своих слуг, то приблизительно в этом роде. С Урошем такие номера не проходят. Наоборот, Юнгшиллер, сам не замечая, а может быть, и замечая, но не желая сознаться, переходит иногда в заискивающий тон. Откровенностью своей, – я, мол, от тебя

ничего не скрываю, – Юнгшиллер хотел снискать доверие и расположение Уроша. Он угощал его завтраками и в башне, и в соседнем ресторане, и звал обедать к себе на «Виллу-Сальватор».

Вот и сейчас они обедают в «Семирамис»-отеле, в кабинете, напоминающем белую людовиковскую гостиную с гелиографюрами на стенах. Юнгшиллер уже раскраснелся от шампанского, Урош пьет в одинаковой мере с ним, но свеж, бледен и замкнут.

Юнгшиллер посвящает его в историю Забугиной.

– Кушайте рябчик, хороший рябчик... Так вы представляете себе эту дрянную девчонку? Представляете? Могла бы наделать большой «бум», но у нас организация! Эйн, цвей, дрей – и готово! Я приказал ее отвезти в имение барона Шене фон Шенгауз. Это совсем недалеко от Либавы, почти на самом берегу моря. Там она будет под домашним арестом, пока... пока не придут наши. А если она понравится какому-нибудь этакому бравому лейтенанту, я ничего не имею против... Это будет очень аппетитный кусок. Хотя и не в моем вкусе. Я буду очень рад, если она достанется немцам раньше этого мошенника Загорского, который меня так нахально обманул.

– Как называется имение?

– Лаприкен. Я там был один раз. Хороший господский дом с башней. Эта башня, нужно ли пояснять, – наблюдательный пункт... Там есть подвальный этаж. Одна комната будет бесплатной квартирой для этой девчонки. Дегеррарди должен на днях возвратиться... Кушайте вино, господин Урош, кушайте, нас еще ждет бутылка...

Постучавшись, в кабинет вошел итальянец-лакей.

– Меня?

– Один господин спрашивает...

– Извиняюсь, господин Урош, через минуту буду назад.

Юнгшиллер с салфеткой на груди вышел. Спустя добрых минут десять он вернулся, улыбающийся, довольный.

– Абгемахт! «Истребители» у нас в кармане... Ах, какой он дурак, какой он колоссальный дурак, этот мой сосед Корещенко! О, профессор Нейман – голова! Он за десять минут все украл, пока тот говорил в телефон. Всю ночь и весь день профессор будет работать, а завтра к вечеру материал поедет на моторной лодке. А там, около финских берегов, ее будет ждать германская субмарина. И дело в шляпе! Через двадцать часов после этой встречи все чертежи будут в Киле. Это я понимаю! Это чистая работа! Что вы скажете, господин Урош?

– Чистая работа, – согласился с ним Урош.

– Но уже будет! Довольно про этих истребителей! Три месяца я не знал покоя! Три месяца! Конечно, и хорошо! Но, вообще, – довольно. Давайте говорить на общую тему. Вы человек умный, господин Урош, что вы скажете про общую ситуацию? Мы дождемся разгрома России? Знаете, ведь это же Сольдау, – это колоссально! Еще будет, много будет! Организации нет, порядка. Вы верите в разгром?

Глаза Уроша пытливно остановились на Юнгшиллере, на его полном красном лице.

– Ну, ну? – послышалось из набитого всякой всячиной рта.

Урош скептически покачал головой.

– Признаться, плохо верю. Страна, которая упирается в два океана и которой тесно в одной части света, – так не боится разгрома. Она сама себя не знает, тем более не знает ее враг. Это полярное чудовище поднимется еще на дыбы, и много-много придется с ним повоевать...

– Да? – разочарованно протянул Юнгшиллер. – А я думал, что я знаю Россию. Я думал, ей скоро капут...

– Не думайте. Долго ждать придется. А что касается ваших знаний, вы ее знаете с внешней точки зрения рынка финансов, промышленности, знаете, как должен знатб сведущий коммивояжер...

Сравнение это не польстило Юнгшиллеру. Он глянул на собеседника довольно свирепо.

– Обиделись? Но ведь, право же... Вот вам общий недостаток германского шпионажа: учитывают внешность, а духа не могут понять и постичь, так как дух – славянский. И долго будет еще стоять славянство неразгаданным сфинксом перед Европой...

«Неразгаданным сфинксом перед Европой» – это была слишком отвлеченно для Юнгшиллера, к тому же еще с отяжелевшими головой и желудком.

– А куда мы едем после кафе? Хотите, живет на Казанской улице одна почтенная особа... Салон, понимаете, салон... И там есть карточки и можно познакомиться с дамой из хорошего общества. Естественно, необходимо платить и хорошо платить...

Юнгшиллер с лукавым видом сделал движение пальцами.

Урош молчал, не поощряя своего собеседника, но и не останавливая.

– Поедем, что ли? Надо кутнуть, освежиться. Вы не бойтесь, я плачу! Вы мой гость, я буду вас угощать хорошенькой дамочкой.

– Я с вами не поеду, господин Юнгшиллер, в этот салон и вы не будете угощать меня хорошенькой дамочкой...

– Почему?

– Целый ряд причин, и прежде всего – я занят вечером, очень занят... Я сижу с вами, а мысли мои далеко. Извиняюсь, должен откланяться.

– Так скоро? Это невозможно! А думал: мы пьем кофе, ликер, курим одну сигару и едем в салон.

– В другой раз... Имею честь кланяться...

– В таком случае до завтра... Приходите в башню. Будет стерлядь и будет рейнвейн. Я получил очень хороший рейнвейн...

Урош не слышал. Незаметный, скромный и в тоже время обращающий на себя внимание шикарной международной толпы «Семирамис»-отеля, пробирался он сквозь гущу мундиров, смокингов, дамских кружев и туалетов.

Холодный осенний месяц сиял высоко в небесах. Величавая пустынная площадь. Темный силуэт Исаакия чудился какой-то сказочной декорацией, – до того это было красиво и непохоже на правду. Урош видел одновременно и горящий огнями «Семирамис», и родственное «Семирамису» по духу казематной архитектуры германское посольство с ослепшими окнами-бойницами. В такую ночь могли почудиться в этих залах темные, мрачные призраки. Они кружатся сатанинским хором над чем-то неподвижным. Это неподвижное – труп...

Есть легенда, что чины германского посольства, перед тем как покинуть Петербург, отправили на тот свет одного канцелярского служителя, знавшего значительно больше, чем это полагалось в его скромном положении... И вот на чердаке брошен впопыхах этот забытый труп и по ночам призраки совершают вокруг свою бесовскую тризну...

Мимо проезжал таксомотор. Урош сделал ему знак остановиться, сел и умчался туда, где мыслью был уже давно.

Через два дня появилась в печати глухая заметка, что несший в водах Финского залива сторожевую службу миноносец заметил моторную лодку. Она неслась с потушенными огнями, не обращая никакого внимания на сигналы, приказывающие остановиться. Миноносец, пустившись в погоню и видя, что ему не догнать быстроходной беглянки, осветил ее прожектором, обстрелял с удивительной меткостью и потопил, ничего не было найдено, ни трупов, ничего. Плавали только деревянные обломки. Газеты целый ряд вопросов задавали. Что это была за таинственная лодка? Куда держала свой путь и какую везла секретную почту или контрабанду? Несомненно везла, иначе какой смысл удирать от сторожевого миноносца?

Ответ на эти вопросы могли дать люди, предпочитавшие молчать.

Весть о катастрофе произвела ошеломляющее впечатление на Юнгшиллера и Лихолетеву. Она чуть ли не во второй раз в жизни потеряла самообладание. Юнгшиллер плакался Урошу с глазу на глаз в круглой башне.

– Проклятие! Нам колоссально не везет с этими истребителями! А я еще, дурак, хватался – чистая работа! Нечего сказать! Это они, мерзавцы, «чистая работа»! Бедный профессор Нейман! Такая ученейшая голова, такой знаменитый инженер... Такой великий мозг достался в пищу морским крабам... А чертежи, бумаги? – Юнгшиллер сам не знал, утрата чего ему больнее профессора Неймана или чертежей.

– Морская авантюра всегда опасней, – заметил Урош.

– Вот вы теперь так говорите! А что же вы тогда не отсоветовали? Проще было бы все это отправить поездом на Швецию. Но самое главное в этом – ведь я же, я мог влопаться! Хорошо еще, что все погибли. Никто не знает, что это моя лодка. Никто, как вы думаете?

– Вероятно, никто...

– Боже мой! Человек солидный, с таким положением, и вдруг капут! Все насмарку. Нет, я, кажется, брошу заниматься всеми этими глупостями... Патриотизм вещь хорошая, но если тебе угрожает веревка...

– Да, это перспектива не из приятных, – согласился Урош.

Юнгшиллер ни за что не отгадал бы: сочувствует ему этот владеющий двадцатью двумя языками сербо-словак или иронизирует?

9. В баронском замке

Юнгшиллер сказал, что имение Лаприкен, куда он сослал Веру Забугину, стоит почти у самого моря. На самом же деле от берега до имения – доброе двадцативерстное «почти». И даже с высокой башни, действительно прекрасного, наблюдательного пункта, даже оттуда в ясную погоду чуть-чуть скорей угадывалась, нежели намечалась, полоска моря...

Усадьба – типичная усадьба «остзейских» баронов, если и не магнатов, не богачей, из ряда вон выходящих, то, во всяком случае, живущих припеваючи.

Где-нибудь в Калужской или в Рязанской губернии такой каменный двухэтажный барский дом был бы достопримечательностью нескольких уездов. Но прибалтийские бароны любят строиться монументально. И под Ригой, Либавою, Митавой, Венденом таких усадеб, как Лаприкен, без конца-краю.

Такие же мрачные столовые с громадным камином и массивным гербом владельца под самым потолком, гостиные, бильярдная, детская, портреты закованных в железо рыцарей и курфюрстов.

Вот куда попала Вера Забугина.

Кроме прислуги, многочисленной обоюга пола челяди, – никого не было в замке.

Имение – собственность барона Шене фон Шенгауз. Молодой человек делал дипломатическую карьеру и заглядывал в эти края не часто. Арендовал у него Лаприкен другой барон – Вальдтейфель. Но и этот годами отсутствовал. Жил где-то за границей, а вспыхнувшая война застала его в Германии, где он чувствовал себя, вероятно, не плохо.

Управлял имением господин Шписс, маленький, кругленький человечек, такой мяконецкий, такой смеющийся – вот-вот рассыплется. Но это лишь казалось. Господин Шписс, вечно в зеленой охотничьей шляпе и высоких сапогах, – кремень хоть куда.

Жил он в маленьком уютном флигеле, под сенью вековых лип. Когда автомобиль с Генрихом Альбертовичем и узницей въехал на круглый, густо заросший травой двор, Шписс распекал по-латышски кучку толпившихся перед ним без шапок рабочих. Управляющий рысцой подбежал к автомобилю на своих плотных коротеньких ножках.

– Здравствуйте, господин Шписс! Тысячу лет, тысячу зим. Я привез вам душевнобольную, требующую самого тщательного ухода.

Вера не слышала. Измученная, потрясенная и, в конце концов, отупевшая, полулежала она в автомобиле в каком-то равнодушном ко всему забытии.

Шписс подмигнул усачу, погрозил ему пальцем, коротеньким пальцем-обрубком.

– О, я вас знаю... Помещение готово. Я даже приказал натапливать печь. Уже почти зима. По ночам холодно... Можно смотреть? – Шписс подошел вплотную к машине. – О, красивый барышня! – он чмокнул кончики пальцев.

Генрих Альбертович тронул Веру за плечо. Девушка вздрогнула, открыла глаза. Он в них прочел ненависть.

– Вера Клавдиевна, прошу вас следовать за мной, обопритесь на мою руку. Мы всем будем говорить, что вы – душевнобольная, и вы должны играть именно эту роль. Пойдемте!

Шписс галантно приподнял свою охотничью шляпу. Все трое миновали главный фасад. Шписс приоткрыл боковую дверь, взвизгнувшую на блоке. Каменный пол, каменные ступени вниз, коридор, еще дверь.

– Здесь будет «пансионат» для фрейлен...

Глубокая комната со сводчатым низким, потолком. Единственное окно, забранное железной решеткой, выходит в сад. Начинается окно у самой земли. Впечатление подвала. Это и есть подвал, но жилой, сухой, теплый. Железная печь так и пышет жаром.

Обстановка почти тюремная, ничего лишнего. Кровать, покрытая дешевым байковым одеялом, стол, умывальник, тяжелое, обитое кожей кресло, видимо принесенное сверху.

– Вот вы у себя, Вера Клавдиевна. Можете располагаться, как вам удобнее, – издеваясь, молвил с комическим поклоном Дегеррарди. – Но предупреждаю, всякая попытка к бегству будет наказана учетверенным в смысле строгости режимом. Имейте в виду – жаловаться некому. Никто вас не возьмет под свою защиту. Вы отрезаны от всего мира. Здесь так называемое тридешатое царство. Если вы будете вести себя паинькой, то возможны небольшие прогулки в границах двора и сада, конечно под надлежащим присмотром... Если вы голодны, вам дадут есть. А ко всем вашим услугам будет горничная... Не вздумайте с ней откровенничать... Пока до свидания, мы еще увидимся, я не уеду, не попрощавшись... Да, имейте в виду самое главное: никаких писем, никаких переписок! Всякая малейшая попытка в этом направлении будет караться строже, чем что бы то ни было. Зарубите себе на кончике вашего хорошенького носа... Пойдемте, господин Шписс, у нас есть еще кое о чем поговорить...

Вера осталась одна. Бездальним, погасшим взглядом окинула свою темницу. В большой кусочек истерзанных нервов сжалось ее сердце. Отсюда не убежишь. Все такое чужое, враждебное...

Сев на кровать, оглянулась, ничего не видя. Подхватило что-то, какой-то клубок тяжелым удушьем остановился в горле, мешая дышать. Она расплакалась, жалея себя каким-то забытым детским чувством. Тихий плач перешел в громкие рыдания, и судорожным, беспомощным комочком, припала Вера к белой накрахмаленной подушке.

А кругом тихо толпились немые тени осеннего вечера. И густился странный, пока еще прозрачный сумрак. Стушевывались очертания, линии. Продолговатая сводчатая келья Веры напоминала какой-то инквизиционный застенок. Скрипнула дверь, остановилась на пороге женская фигура. Откашлялась. Вера – ни звука, ни движения, застыла вся черным комочком.

– Балисня, мосет бить, вам сто-нибудь нусно, мосет бить, ви хотите кусать?

Смутно, как сквозь глубокую дрему, услышала это Вера, вспугнутая в своем забытии. Опять ее будут мучить.

– Оставьте меня, оставьте, ничего я не хочу. Оставьте меня, Бога ради, в покое!

Женщина подошла к столу, чиркнула спичкой. Заколебалось пламя свечи. Сначала огонек больно резанул свыкшиеся с мраком глаза Веры, а потом она увидела перед собой мощную, широкоплечую девушку с миловидным, пожалуй, красивым лицом. Какая-то стихийная фигура! Могучим и в то же время пропорциональным формам, широким костям, всему облику этой светловолосой исполинши было тесно под форменным коричневым платьем горничной.

Вера перехватила полный сочувствия взгляд. Это не взгляд тюремщицы.

– Вы немка? – спросила Забугина. Монументальная горничная поспешно замотала головой.

– Нет, я латыска.

– Латышка? А я думала... Как вас зовут?

– Гельтлуда, а только совете меня, балисня, Глуда... Мне все так совут, так лехсе... Мосет бить, ви хотите кусать?

– Сейчас – нет, милая... Потом... Вы меня покормите потом? – И это вышло у Веры по-детски, и она взаправду чувствовала себя ребенком под защитой мощной Труды, из которой смело можно было бы выкроить двух-трех обыкновенных девушек.

– Труды, кто это приходил сюда, маленький, толстый?

– А это управляюсий. Это Списс, такой сволоць! Через Списса моего папасу в 1905 году повесили. Он бьет людей, он сорт снает сто делает! Нехоросий человек... Балисня, мосет, вы устали? Спать лясете? Я вам кловать приготовлю...

– Спасибо, милая Труды, лягу... А здесь есть какая-нибудь задвижка, чтобы можно было запереться? – с ужасом вспомнила Вера усатую физиономию Генриха Альбертовича.

– Как се, как се, есть... Мосете бить спокойней. Я плиготовлю все, а тогда ви саплетесь.

Одним своим несокрушимым физическим видом Труда действовала успокаивающе. Такая любого мужчину собьет с ног. Эти большие рабочие кулаки могут на славу постоять за себя.

Труда с первых же шагов скрасила заключение Веры. Девушку привезли сюда в чем была. Ни вещей, ни белья... Труда сбегала в замок и вернулась с целым большим пакетом, – принесла нижнюю юбку, ночную сорочку, две пары шелковых чулок, гребень и даже шипцы для завивки волос.

– Это все систое, балисня, вимитое.

– Но откуда же у вас такое белье?

– У нас большой сапас на слусай, если приедут в гости сестли насего балона...

В довершение всего появилась гуттаперчевая ванна.

– Ласденьтесь, балисня, я вас оболью.

Вымытая, освежившаяся, Вера почувствовала себя бодрее. Вместе с бодростью явился аппетит. Горничная принесла на подносе кофе с жирными сливками, ветчину, масло и целую глыбу швейцарского сыра с мутной слезою.

– Это нас латыский сир, осень вкусный!

Сложив на груди свои сильные руки, Труда наблюдала, как Вера ест, подбадривая:

– Кусайте, балисня, на сдоловье кусайте!

– Труда, вы далеко отсюда помещаетесь?

– Я сплю в самке. Утлом сайду к вам, балисня.

Вера закрыла дверь на крючок и легла. С помощью Труды она попытается дать о себе весточку Диме... Где он, что с ним? Если б он знал, если б...

Ленивей и тяжелей шевелятся мысли. Совсем незаметно уснула.

А Генрих Альбертович ужинал в обществе господина Шписса. Горячую, шипящую на сковороде колбасу, приправленную луком и салом, они запивали водкой.

– Черт побери, хорошо жить на свете! – говорил штурман дальнего плавания, опрокидывая рюмку за рюмкой. – Где вы меня положите спать, господин Шписс?

– В замке, вам, готова комната для гостей.

– А там не холодно? Может быть, Труда меня согреет? Вы бы ей намекнули... ге-ге, – заржал Генрих Альбертович.

– Это очень строгий девушка и очень тяжелый кулак имеет, – молвил уклончиво Шписс, на своей собственной особе испытавший тяжесть кулаков Труды.

Поужинали. Шписс проводил гостя в замок. Миновали громадную гостиную с роялем, зеркалами и мягкой мебелью, еще какие-то комнаты, и Дегеррарди очутился у себя. Было впечатление номера хорошей гостиницы. Большая деревянная кровать со свежим бельем, комод, шкаф, умывальный столик с тяжелым фарфоровым тазом.

Шписс пожелал гостю доброй ночи и вышел почему-то на цыпочках.

Генрих Альбертович позвонил. Далеко и долго дребезжал звонок.

Минуты через две появилась Труда в своем коричневом платье и белом переднике.

– Сто вам угодно? – спросила она.

– Что мне угодно? Вы забыли мне поставить ночную вазу.

– Там все есть в тумбоске.

– Вы думаете? Да вы не бойтесь меня, идите ближе.

Труда не двинулась.

Тогда Генрих Альбертович сам подошел.

– Вам не скучно одной... спать?

– Не скучно. Большее вам нисего не надо? Я ухосу.

– Нет, вы не уйдете... Мне надо вкусную штучку одну... Верно вкусная? Где, где...

Генрих Альбертович крепко обнял Труду и уже искал губами ее свежие, молодые губы. Но вместо поцелуя Труды такхватила его кулаком в грудь, что он, сильный, даже очень сильный человек, пошатнулся и у него захватило дыхание.

Побледневший, с выпученными глазами Генрих Альбертович хотел броситься на Труду, но ее уже не было.

– Проклятая девка, дрянь! Кобениться вздумала... Я ж тебе покажу!

Через минуту, повалившись на кровать, полуодетый Генрих Альбертович храпел вовсю.

10. Армянский крез

Сильфида Аполлоновна Железноградова кокетничала своим богатством. Если кто-нибудь говорил ей:

– Помилуйте, с вашими средствами...

Она отвечала с гримасой:

– Какие же особенные средства? Что значит каких-нибудь пятнадцать миллионов? Что значит?.. У кого теперь нет пятнадцати миллионов? Хачатуров, Аршак Давыдович Хачатуров – это вот действительно человек не бедный!

Если Железноградов считался в миллионах, – армянский крез Хачатуров имел их большие десятки. Он получал свои миллионы прямо из-под земли, в виде стихийных фонтанов бьющей к небесам нефти.

Сам Хачатуров недоноском на всю жизнь остался. В детстве его выхаживали, вынашивали в оранжерейной атмосфере искусственного питания, завертывая в теплую вату, словно «полуденный» экземпляр какого-нибудь привезенного из-под экватора диковинного зверька.

Слизняк человеческий, плюгавый, тоненький, с громадным носом и прозрачными, сонными, как у трупа, всегда полуопущенными веками.

Воспитывали его за границей в самом аристократическом колледже, где «человек» начинается с виконта и где Хачатурова, несмотря на все его папенькины миллионы, презирали... Но так уже сплошь да рядом бывает, что сыновья выскочек готовы стоически глотать все унижения, только б воспитываться в привилегированных учебных заведениях.

Юноша Хачатуров знал, что все на свете продается. Продаются женщины, с виду такие недоступные, добродетельные, продаются герцогские замки со всей их бурбонской и орлеанской стариной. Продаются, потому что один из таких замков Хачатуров-отец, еле грамотный армянин, поднес своему сыну в день совершеннолетия.

К этому великому дню Аршак Давыдович являл собой уже пресыщенного старца без увлечений, без молодости, без порывов.

Где-нибудь у «Максима» или у Паяра он, сидя с самой красивой и самой «знаменитой» женщиной, лениво, с видом кастрата, цедил сквозь длинные, выдававшиеся вперед зубы холодное шампанское. Глаза мертвеца тускло смотрели куда-то из-под опущенных дряблых и бледных век.

Эти глаза вспыхивали тщеславным блеском, когда Хачатуров, – маленький, носатый, коротконогий, – осматривал купленный ему отцом замок.

В оружейном зале – ряды закованных в железо рыцарей в доспехах, предков герцогского рода. Эти миланские и падуанские брони покрыты благородной ржавчиной веков.

– Надо их вычистить!

Это было первое замечание нового владельца.

Одной из священнейших реликвий замка Хачатурова был портрет нежной красавицы с покатыми плечами и в пудреном парике. Это произведение кисти Виже-Лебрен, значилось во всех путеводителях. В груди красавицы зияла рана... Холст во дни революции был разорван ударом штыка санкюлота.

– Убрать! – велел Хачатуров.

Ему объяснили происхождение раны. Он отвернулся, повторив:

– Убрать!

Этого слизняка чуть ли не с самой колыбели испортили всеобщим раболепством. Когда он говорил глупости, потому что умные вещи даже случайно никогда не срывались с его губ, все кругом так лучезарно улыбалось, так млело, словно он вещал необыкновенной глубины откровения.

Он входил куда-нибудь расштанной, цепляющейся походкой, ни на кого не глядя, все смолкало, и волной пробегал восхищенный шепот:

– Хачатуров... тот самый... знаменитый...

Женщины искали его взгляда, как счастья искали. Еще бы, он умел дарить такие чудовищные бриллианты, умел швырять целые состояния. И главное, сплошь да рядом ничего не требовал или требовал очень мало...

На единственной, пожалуй, струнке Аршака Давидовича можно было играть, это – на его честолюбии, честолюбии ничтожества с десятками миллионов, с чужим герцогским замком, но без личного дворянства. Ему хотелось быть дворянином, действительным статским советником, хотелось иметь Станислава, Владимира... Он готов был тратить большие сотни тысяч на оборудование питательных пунктов, санитарных поездов «имени Аршака Давыдовича Хачатурова», только б это давало ему желанные почести и чтоб он мог, в конце концов, украсить плоские пуговицы своих лакеев дворянской короной.

Это – слабость всех очень молодых, «вчераших» дворян. Сейчас же короны везде: на посуде, каретных и экипажных дверцах, и прежде всего – на пуговицах ливрейной, – непременно ливрейной! – челяди.

Елена Матвеевна Лихолетьева давно присматривалась к Хачатурову своими холодными, прозрачными глазами. Впрочем, особенно и вглядываться было нечего. Весь как на ладони, такой нехитрый, несложный со всей своей пресыщенностью, со всем своим честолюбием.

Несмотря на свои многомиллионы, парижское «воспитание» и замок в Нормандии, в Петербурге, Хачатуров был «провинциалом». Ему Елена Матвеевна рисовалась величиной масштаба весьма и весьма крупного.

А тут еще нашлись «друзья», общие друзья. Возьми и шепни:

– Лихолетьева – вот женщина! Министерская голова, да и только! Много может. Вам бы за нее, Аршак Давидович, вот как держаться! Вы только ей в благотворительных ее начинаниях помогите.

В самом деле, «благотворительные начинания» этой особы нуждались в самой широкой помощи. Тщеславная Елена Матвеевна теперь, во время войны, особенно желала обогнать, оставить далеко за собой тех родовитых дам-патронесс, что смотрели на нее сверху вниз.

– А, вы считаете меня проходимкой, неизвестно откуда взявшейся? Так я вам покажу! Увидим, чья патриотическая деятельность богаче и шире!

И закипела работа.

Доброхотными даяниями поставщиков, нуждавшихся в Елене Матвеевне, оборудован был новенький, с иглочки, лазарет «имени Е. М. Лихолетьевой», Она привозила туда подарки, милостиво беседовала со «своими» ранеными, и об этом писалось в газетах. Елена Матвеевна устраивала концерты в «своем» лазарете с участием лучших артистических сил.

Но все это лишь начало, первые шаги. Нужно оборудовать склад теплых вещей и белья. Склад, о котором заговорили бы. Надо, чтобы несколько поездов бегало взад и вперед ко всем фронтам, до кавказского включительно. А это уже расход, подкатывающийся к миллиону. Здесь уж самые ревностные поставщики беспомощно разведут руками.

Вот когда понадобился Хачатуров. Крючок был закинут. На нем в виде приманки висело все то, о чем лишь мечтал этот «блазированный» крез. Дворянский мундир, чины, ордена – все было так или иначе обещано. Хачатуров пошел на удочку.

Елена Матвеевна раскусила Хачатурова с первых же слдв. Поняла, что одних только деловых взаимоотношений будет мало.

Останавливаться на полдороге нельзя. Она поняла, что, чтобы окончательно поработить этого молодого человека, надо стать его любовницей. Во-первых, она ему нравилась как женщина. Высокая, белая, крупная, надменная такая, Елена Матвеевна подавляла своим величием хлипкого рамолитика. Конечно, будь она женой какого-нибудь столонячка, он не обратил

бы на нее внимания, пройдя мимо с оттопыренной губой. Но с ее положением, ее именем в глазах Хачатурова она была окружена каким-то запретным ореолом обаяния, недоступности.

Он вырастет в собственных глазах, если кругом будут говорить:

– Хачатуров... тот самый, тот самый, который живет с Лихолетевой...

Они поняли друг друга. Их связь носила характер коммерческой сделки, с той лишь разницей, что если сама Елена Матвеевна и осталась верной себе до конца в своем ледяном эгоизме, Хачатуров же незаметно для самого себя превратился в готового на все унижения влюбленного раба.

Состоялось чрезвычайно торжественное открытие склада Елены Матвеевны. В нескольких комнатах кроилось и шилось белье. Эта «черная» работа лежала на дамах победней и попроче. В эти комнаты, комнаты «плебса», Елена Матвеевна почти никогда не заглядывала. Она показала, да и то ненадолго, в большом зале, где происходила сортировка белья и где оно штемпелевалось. Здесь общество более избранное, тщательней процеженное. Однако и здесь Елена Матвеевна относилась не ко всем одинаково.

Когда все уже в сборе, она появлялась, как владетельная особа, с целой свитой. Вслед за ней раскачивался на тоненьких ножках маленький Хачатуров.

Двум-трем наиболее почтенным дамам Елена Матвеевна подставляла свою бледно-восковую щеку, делая вид, что целует воздух. С остальными здоровалась за руку, – впрочем, не со всеми. Были ограничения в виде снисходительных кивков, и только.

Создавалось какое-то подобие придворной атмосферы, расцветало самое грубое искаительство. Дамы, независимые, с хорошим положением в обществе, вовсе не нуждавшиеся в милостях Елены Матвеевны, изо всех сил старались привлечь ее внимание. Когда она подходила к нам, они ловили ее взгляд, энергично заклеивая штемпелем солдатские рубахи. Вообще штемпелевать белье считалось на складе не малой честью. Добивались ее супруги тайных советников и мирные, не воюющие генералы.

Но для мало-мальски поверхностного наблюдателя «светскость» этого внушительного с виду муравейника была поверхностная, сомнительная, такая же сомнительная, как и весь искусственный «аристократизм» Елены Матвеевны. Слишком уж крепкие нити связывали ее и в прошлом и в настоящем с некоторыми темными, подозрительными людьми, чтобы она могла их совсем вычеркнуть из своего обихода. Своего «права» бывать здесь ни за что не уступали они. Еще бы, для них это было очень важно, являясь «патентом», своего рода кредитом. Их видели. Они могли говорить, что бывают у Лихолетевой. Довольно, чтоб уже открывались перед ними новые двери, куда их никогда не пустили бы.

Появлялись какие-то дамы, которых никто не знал, а если и знал, то скорей с отрицательной стороны.

Заглядывала в своем неизменном бархатном платье мадам Карнац. Иногда приводила с собой какую-нибудь нарумяненную, с крашеными волосами особу в подозрительно крупных бриллиантах.

Развязно держал себя улыбающийся Шацкий. Его болгарский мундир являлся «дежурным блюдом» как дневных, так и вечерних занятий на складе. Приносил все свои разухабистые манеры и усатый наглец Генрих Альбертович Дегеррарди. Не «спросивши броду», господин этот начинал бесцеремонно ухаживать, давая волю своим ручищам. На него было несколько жалоб. Елена Матвеевна выслушивала потерпевших с гордо-непроницаемым видом, оставляя жалобы их без последствий.

11. Анекдоты банкира и анекдотический сановник

– Надо вести светский образ жизни. Надо бывать на людях. Мало этого, надо им мозолить глаза, черт их побери, а то иначе забудут! – поучал жену свою Мисаил Григорьевич Железноград. – Кроме того, почему не соединять приятного с полезным: посмотришь на человека – и уже явится какое-нибудь новое дело. Почему?..

Мисаил Григорьевич вспомнил, что давно не был у Лихолетьевых.

– Поедем на склад! Там, говорят, интересно у них на складе. Кстати, надо будет провести одну крупную поставку. А ты, что ты можешь предъявить? Бриллианты твои все уже наизусть выучили... Есть! Соболеву накидку еще мало кто видел! Пускай бабы лопнут от зависти! Слава Богу, моя супруга имеет что предъявить.

За последнее время Айзенштадты не выезжали иначе, как в обществе Обрыдленка. Почтенная особа «второго класса» исполняла роль при шустром дельце не то чиновника для поручений, не то адъютанта, хотя адмирал давным-давно перезрел для адъютантских обязанностей.

Сильфида Аполлоновна навьючивала его своими золотыми мешочками, накидками, веерами. Иногда и Мисаил Григорьевич, словно по рассеянности, совал ему свою шляпу и перчатки. Обрыдленко, перегруженный всей этой белибердой, терпеливо выстаивал целыми часами где-нибудь на балу, на вечере, пока Сильфида Аполлоновна танцевала или кокетничала с теми, кто был достоин этой высокой чести.

Подгибались адмиральские коленки, а порою и стыдно бывало, когда Обрыдленко ловил на себе чей-нибудь косой, презрительный взгляд.

Но слабость Обрыдленка, давнишняя и общеизвестная – вкусно есть и пить на чужой счет, а уж не у Мисаила ли Григорьевича были тонкие вина и вкусные обеды и завтраки! Да и перехватить можно тысчонку-другую... Ну, и приходилось терпеть.

Шумно появилось на складе примелькавшееся всему городу трио. Впереди величественно выступала каким-то раззолоченным, сверкающим индийским божеством, вся в золоте и драгоценных камнях Сильфида Аполлоновна. Корсаж ее пышно и густо расшит по фиолетовому бархату золотом. Исторический корсаж – об этом писалось в газетах – переделан из дорогого художественного камзола, принадлежавшего Бирону.

Несколько лет назад камзол был куплен с аукциона. Сильфида Аполлоновна «перебила» его у одной весьма шикарной, громкотитулованной дамы.

Над твердой высокой «вавилонской» прической дрожал, ослепительно искрясь и горя бриллиантами, султан – копия потемкинского султана, хранящегося в Петровской галерее Эрмитажа. Но «гвоздем» туалета Сильфиды Аполлоновны была на этот раз пышная соболя накидка – последний подарок мужа.

– Какая прелесть! – обратила внимание Елена Матвеевна.

– Это меня мой Мисаил так балует... Влюблен, так влюблен! – сияла счастьем Железнограда.

Она была центром внимания. Кругом все дамы, бросив штемпелевать солдатские рубашки, смотрели с завистью то на соболя, те на «потемкинский» султан.

А Мисаил Григорьевич, с брюшком, чисто выбритый, низко выстриженный, с хищным профилем, в смокинге, семена коротенькими ножками, пожимая руки направо и налево, трещал скрипучей, самодовольной скороговоркой.

– Мы не баклуши бить приехали! Не такое время – война! Мы приехали работать У меня, ей-Богу, руки чешутся. Каждый должен приносить посильную пользу на алтарь священной-освободительной войны! Дайте мне штемпель, генерал, дайте мне штемпель!

Мягкая, с обкусанными ногтями рука схватила штемпель, и закипела работа.

Мисаил Григорьевич, словно вступив с кем-то в борьбу, сыпал энергичные удары, чуть ли не продырявливая насквозь грубый холст.

– Вот у нас какой рьяный сотрудник... Браво, Мисаил Григорьевич, браво! – услышал Железноградов старческий шепелявый голос...

Перед ним был сам Лихолетьев.

– А... Андрей Тарасович, здравия желаю вашему высокопревосходительству, здравия желаю, – угодливо расшаркался Железноградов. – Видите, как стараюсь во славу русского оружия!

– Старайтесь, старайтесь, да будет вам благо.

Мисаил Григорьевич вспомнил про поставку. Надо задобрить Лихолетьева. Ничем не задобришь его, как еврейско-армянскими анекдотами, до которых Андрей Тарасович такой большой охотник.

– Ваше высокопревосходительство, папиросочку... египетскую, по особенному заказу моему из Александрии... Но где мой портсигар? Так и есть, у адмирала. Адмирал!

Обрыдленко, уже получивший «на хранение» соболью накидку, подошел.

– Мой портсигар? Угостите, пожалуйста, Андрея Тарасовича, да и меня заодно египетской.

Обрыдленко извлек откуда-то массивный золотой, весь в бриллиантовых монограммах и автографах портсигар. Закурили.

– Действительно, ароматная, – похвалил Андрей Тарасович.

– А я что сказал? По особенному заказу. Ваше высокопревосходительство, свеженький анекдот... У нас, у русских, есть чудесное выражение: с пылу горячие – именно с пылу горячие! Армянский. Дюша мой, скажи мне, что это такое: шесть ног и два женщина. Атгадай, дюша мой!

– Да, да... – насторожился своим пухлым бабьим лицом Андрей Тарасович, предвкушая «смак».

– Нэ можешь атгадать... Амазонка на кобыле. Понимаешь, амазонка на кобыле – шесть ног и два женщина... А ведь ловко, ваше высокопревосходительство?

– Занятно, очень занятно, – смеялся Андрей Тарасович, и в темп ходуном ходил его обширный живот.

«Дело наполовину в шляпе, – решил Железноградов, – надо окончательно завоевать на сегодня лихолетьевские симпатии».

«Шесть ног и два женщина...» – повторил, чтобы не забыть, Андрей Тарасович. – Ловко пущено, ловко... Нет ли чего-нибудь еще?

– Жидовский анекдот! – воскликнул самым решительным тоном Мисаил Григорьевич. – На перекрестке двух виленских улиц стоит бравый городовой. Мимо проходит жид, шумит, скандалит чего-то. Городовой возьми и бац – залепил ему в морду. Жид возмущенно подступает к нему, размахивая руками. «Ну, попробуйте еще!» – «Хочешь еще? На!» – хлоп вторично его в морду. «А ну, попробуйте еще!» Тот залепил ему третий раз по морде. Тогда жид спрашивает: «Господин городовой, это вы шутите или серьезно?» – «Вполне серьезно», – отвечает городовой. «Ну, то-то же, шутить со мной я вам так не позволю»... Табло!

– Шуток не признает, серьезный жид, – хохотал от всей души Лихолетьев. – Надо запомнить, прелестный анекдот... Положительно вы душа общества, Мисаил Григорьевич!

– В каком смысле прикажете вас понимать, Андрей Тарасович? Душа общества – это по-армянски иначе называется, не при дамах будет сказано... А теперь я вам третий анекдот расскажу.

– Жидовский?

– Нет, русско-американский, – Железноградов понизил голос. – Некто Икс имеет в Америке пятьсот тысяч пудов подковных гвоздей... Некто Игрек в Петербурге...

– Продолжение следует, – молвил Андрей Тарасович, беря Железноградова под руку, – продолжение следует в моем кабинете... Там нам никто не помешает...

В громадной, как лабиринт, хаотической, с запутанными коридорами казенной квартире Лихолетьевых смело можно затеряться. На одном конце где-то стучали швейные машинки «плебса», по соседству – выстукивание аристократических штемпелей, и Бог знает где, на другом конце, в громадном кабинете своем Андрей Тарасович выслушивал русско-американский «анекдот» Железноградова. А совсем в противоположной стороне, в будуаре Елены Матвеевны происходило объяснение между хозяйкой и Аршаком Давыдовичем. Елена Матвеевна в гладком темно-синем платье, с жемчужной ниткой до пояса, была великолепна в своем гневе. Вздрагивали ноздри белого крупного носа, а холодные глаза смотрели с откровенным презрением на этого маленького Хачатурова. Он имел вид жалкого прибитого щенка.

– Зачем вы побежали сюда за мной? Как вы смеете меня компрометировать?

– Но я... но вы...

– «Но я, но вы»... Двух слов сказать не умеете! Зачем вы здесь?

– Я хотел выяснить, за что вы на меня сердитесь? Ведь я же так люблю вас... так люблю! – и задрожали мертвые прозрачные веки.

Взгляд армянского креза был полон самой рабской мольбы.

– Ах, ваша любовь! – передернула плечами Елена Матвеевна. – Я вне себя, буквально вне себя!

– Но что же такое... Господи! Приказывайте, все будет сделано, будет исполнено...

– Вы сами должны чувствовать... видели соболя этой жидовки?

– А!.. Вы бы сразу сказали... Завтра же будут у вас такие соболя, – сама Айзенштадтиха лопнет от зависти!

– Благодарю! Теперь поздно, Аршак Давыдович, поздно... Аршак – до чего противное имя... Аршак – ишак...

– За что вы меня оскорбляете? Меня, который готов целовать ваши следы...

Хачатуров упал на колени и, омерзительно напоминая чудовищного краба, подполз к Лихолетьевой. Не успела она отшатнуться, схватил душистый подол ее платья и, уткнув в обшитую кружевом мякоть свой гигантский нос, припал губами.

Носком туфельки она ударила его в грудь.

– Встаньте... Встаньте же! Вы отвратительны... Встаньте же, сумасшедший... Сюда, слышите, идут...

– Леночка, можно? – послышался из-за портьеры голос Андрея Тарасовича.

– Конечно, можно, что за вопрос? У меня с Аршаком Давыдовичем, нет никаких секретов.

А между тем Лихолетьев думал, что именно с Аршаком Давыдовичем имеются какие-то секреты у его жены. Словом, старик безумно ревновал свою Леночку, в которую был влюблен последним чувством, пылким, страстным, как самое мальчишеское.

Чрезвычайно одоблив последний анекдот Железноградова, Андрей Тарасович вышел вместе с банкиром «на склад». Но там не оказалось жены. Вместе с ней исчез и Хачатуров. Старик бросился по горячим следам. И вот всегда восково-бледная такая Леночка порозовела от какой-то непонятной ему причины, а нефтяной крез смущенно обмахивает платком свои дряблые острые коленки.

– Я хотел узнать, друг мой, ты скоро позовешь нас к чаю?

– Скоро, скоро... сию минуту.

Лихолетьев с укоризной смотрел на жену. Елена Матвеевна медленно подошла к нему, гипнотизируя взглядом, нежно-обволакивающим. И он сразу оттаял. Она провела холеной рукой своей по его глянцевиной лысине.

– Ах ты, мой дурачок!

Он с пухлым блаженным лицом, сладко зажмурившись, поймал ее руку и стал сочно выцеловывать каждый пальчик.

Ревнивый зверь смирился под мягким шелковым хлыстом опытной укротительницы.

– Довольно нежностей! Пойдем пить чай...

В столовую «под темный дуб» приглашались только избранные. Публику попроще обносили чаем «на складе». А в задних комнатах, где шилось белье, чая совсем не полагалось.

В столовой сидела за самоваром Августа Францевна, бесцветное, гладко причесанное существо – компаньонка Елены Матвеевны.

Железноград, набив себе полный рот печеньем, разглагольствовал во всеулышанье:

– Господа, внимание! Аттенсион! Не за горами праздник Рождества Христова. Наши герои-солдатики, наши святые защитники ждут теплых вещей. Я лично сам везу три вагона. Я сам буду свой собственный уполномоченный! Я уже заказал форму... Буду раздавать в окопах, на самых передовых позициях.

– Смотри, Мисаил, тебя еще убьют! – вмешалась Сильфида Аполлоновна. – Вы себе представить не можете, Елена Матвеевна, какой он храбрый! Он ничего не боится! Его так и рвет на позиции!

– А что же? Чего я имею бояться? Я верю в свою звезду. Не родилась еще та бомба, которая меня убьет! На крупновских заводах еще таких бомб не выдeldывают. И наконец, мои славные предки дрались ва Коссовом поле...

В столовой появился Юнгшиллер. Он был здесь своим человеком, всегда и во всякое время желанным. Обыкновенно пышущий густым румянцем, сейчас он бледен и маскирует наигранной улыбкой полную растерянность.

Он склонился к ручке Елены Матвеевны. Они обменялись неуловимым сообщническим взглядом. Елена Матвеевна угадала, что Юнгшиллер принес плохую весть.

Улучив момент, он шепнул ей:

– У меня есть к вам два слова.

– Ганс Федорович, – молвила она громко, – вы хотели взглянуть картину Крачковского, которую я купила на осенней выставке. Пойдемте...

Она увела его в соседнюю гостиную. С глазу на глаз спросила...

– Что случилось?

– Ах, нам не везет... Колоссально не везет за последнее время... Сейчас получил из Лаприкена шифрованную телеграмму. Забугина убежала!

– Не может быть?!

– Увы, депеша у меня в кармане... Вот она.

Елена Матвеевна закусила губы, и страшно было ее лицо в этот момент.

12. Дорогому капиталу!..

Железноградову анафемски везло.

Его финансовые операции с такой же завидной легкостью осуществлялись, как и все его честолюбивые дерзания.

В самом деле, чего уж лучше. Разлетелся к супругам Лихолетьевым, продырявил штемпелем несколько солдатских рубаш, угостил Андрея Тарасовича парой избитых анекдотов, и, глядишь, комбинация с подковными гвоздями прошла. Это добрых чистеньких полтора миллиона в пользу Мисаила Григорьевича. Правда, из этой суммы он выкроит изрядный процент на «благотворительность» Елены Матвеевны. Пусть! Так что же из этого? Сам же Мисаил Григорьевич любит повторять:

– Полумиллионом больше, полумиллионом меньше, не все ли равно?

Так и здесь. Он свое наворачстает. Сегодня гвозди, завтра – шипы, сталь, йод, марля, противогазные маски. Господи, хозяйство теперешней войны так сложно, так многогранно, что деятельности талантливых, знающих, где зимуют раки, людей – угол непочатый.

Мисаил Григорьевич – большому кораблю и большое плаванье. Не мудрено, что миллионы его растут и пухнут, как в сказке. Он и до войны был человеком богатым. Война лишь окончательно его расцвету способствовала. Ему и книги в руки.

А вот подозрительная, темная мелкота в заношенном белье, пресмыкавшаяся по трущобным кофейням, вот даже кто пошел в гору. Вся эта мразь, жонглирующая сталью, бензином, йодом, солдатскими сапогами, приодевшись, помывшись, почистившись, хлынула в дорогие кабаки и там «держит фасон», платя две четвертых за бутылку шампанского.

Со дня на день ждал Мисаил Григорьевич камергерских ключей от его святейшества. Ждал, хотя брало его некоторое сомнение.

– Ой, он крутит... он что-то крутит, Манега, – жаловался Мисаил Григорьевич супруге, показывая письма и телеграммы аббата.

Зато выгорело относительно республики Никарагуа. Вернувшись от Лихолетьевых, Железноградов застал у себя в кабинете официальную бумагу, извещавшую, что с момента ее получения он, Железноградов, «аккредитован» защищать коммерческие, политические и всякие другие интересы граждан упомянутой республики. Правда, на берегах Невы не имелось в наличии в данное время ни одного гражданина далекой Никарагуа. Был один-единственный, и тот уехал. Но тем лучше, меньше хлопот, а красивый консульский мундир от этого нисколько не потеряет, и золотое шитье его ничуть не потускнеет.

Надо женить Кипрского короля на Искрицкой, и все будет хорошо. Мисаил Григорьевич добился своего. Об Искрицкой все говорят, все интересуются ею. Даже Лихолетьев спросил его в кабинете, перебив деловой разговор:

– Ваша милость ухаживает, кажется, за этой... Искрицкой?

Мисаил Григорьевич сострил умильно-лукавую физиономию, забежав глазами-мышатами.

– Ухаживает... ухаживает... Ваше высокопревосходительство, по этому поводу имеется великолепный армянский анекдот... Спрашивают армянина: «Скажи, пожалуйста, Амбарсум Карапетович, правда, что ты ухаживаешь за такой-то?» – «Ухаживаю, ухаживаю... Тыфлис – сплэтник город... Живешь с бабой два года, и сейчас гаворат: ухаживает!»... Так и я вам скажу, ваше высокопревосходительство... Петербург – сплэтннк город.

Оба собеседника смеялись, Лихолетьев – хриплым баритонным сановничьим смехом, Железноградов – тоненьким, визгливым тенорком.

Когда, вернувшись с Вознесенского проспекта, Обрыдленко доложил своему патрону в смягченном, приукрашенном виде, что король Кипрский «не может» приехать к Мисаилу Григорьевичу, банкиру шибко не понравилось это.

– Почему не может, почему не может? Что значит? Подумаешь, какая важная персона! Король без штанов... Но я к нему не поеду, как себе хочет...

– Если желаете, чтобы вышло что-нибудь, придется... И наконец, сам он, король, «ничего не хочет»...

– Но почему он не может приехать?

– Слишком стар, болят ноги, у него подагра, он еле двигается...

– Что такое подагра? Я же не верхом на палочке жду его к себе. Вы должны привезти его на моем ото... Нет, адмирал, вы, я вижу, никуда не годитесь.

– Мисаил Григорьевич, я сделал все, что надо, скажу больше: я поступился своим самолюбием.

– Ай, какое там самолюбие!

– Позвольте, как это какое? Король вспомнил нашу беседу в Тюильрийском дворце, и вдруг...

– Где Тюильри, а где Петербург? Что такое? Что вы поехали к нему от моего имени? Ваша беседа в Тюильри была пятьдесят лет назад. Теперь другое время, время финансовой аристократии. Мы, мы повелеваем, так как у нас миллионы. А после этой войны мы дадим еще сильнее почувствовать власть и могущество финансовой аристократии. Берите меня, берите меня! Передо мной все двери открыты. Все! Родовая аристократия вымирает, вытесняемая капиталом... Дорогу капиталу!..

– Однако вам хочется, чтобы ваша содержанка была королевой? Хочется самому сделаться папским графом?

– Почему вы это вспомнили? Ну, да, хотелось бы! Одно другому не мешает. Игрушки, багательки! Почему же нет? Но я надеюсь, что мы не будем об этом спорить до бесконечности... Мой дорогой адмирал, надо выяснить вопрос, как же быть с этим нищим королем? Поехать разве к нему? Что? Ведь, в сущности, корона с моей головы не упадет, надеюсь? Скажите, адмирал, там очень... грязно?

– Не очень. Если хотите, даже, скорее, чисто.

– В таком случае, собираетесь! Едем!

– Мисаил Григорьевич, а нельзя ли, чтобы меня миновала чаша сия?

– Ого, ваше высокопревосходительство, вы евангельским текстом заговорили! Нет, я без вас не поеду.

– Мисаил Григорьевич...

– А я хочу, и мое слово должно быть законом! Хочу! Я привык ездить с вами, привык обедать с вами, завтракать, ужинать, привык видеть вас у себя, в своей ложе.

Обрыдленко понял: прозрачный намек, будешь артачиться – все блага насмарку. Ничего не поделаешь.

– В таком случае я хоть предупрежу его по телефону.

– Зачем? Раз он еле волочит ноги, значат, всегда торчит дома. Что же спрашивать у него аудиенции?.. А самом деле, вы его держите за какую-то коронованную особу, а я его держу за большое дерьмо...

– Мисаил Григорьевич, вы забываете, что он действительно коронованная особа... В каких условиях очутившаяся – это уже другой вопрос. Но факт остается фактом. Из песни слова не выкинешь. Хуже будет, если мы разлетимся и он нас не примет.

– Не принять? Меня? Как же он смеет?

– Это право каждого. Поймите, не король нуждается в нас, а мы в нем. Не он искал нас, а мы его... Следовательно...

– Уговорил! Согласен! Вы имеете резон. Я привык считаться только со своими желаниями... Но черт с ним, в конце концов, звоняйте ему. Звоняйте... Где это я слышал, в каком фарсе?

Обрыдленко позвонил. Король не пошел, а через телефонного мальчика указал день и час, когда банкир вместе с адмиралом могут к нему пожаловать.

Лузиньян Кипрский давно потерял надежду, – в первые дни она была, хоть смутная, но все же была, – увидеть вновь свою Корделию.

Сгинула. Вот уже третья неделя, а ни слуху ни духу.

Загорский оттуда, из Галиции, забросал его срочными телеграммами, настойчиво добиваясь ответа, где Вера, чем объяснить упорное молчание, и, наконец, что с ней? Король очутился в неприятном положении. Как быть, в самом деле? Ответить правду, так, мол, и так, девушка исчезла, – этим он нанес бы сильный, жестокий удар молодому человеку. Солгать – не хватило бы духу. Да и солгать нельзя, ничего не выдумаешь мало-мальски правдоподобного.

После долгих размышлений, колебаний Лузиньян решил, что лучше самая ошеломляющая правда, чем фальшивая надуманная ложь. Будь хоть проблеск надежды на возвращение Веры, он написал бы Загорскому... Мог бы написать, что больна, лежит, не в состоянии лично ответить и вместо нее пишет он, Лузиньян Кипрский.

В то самое время, когда, тонко обдумывая каждое слово, король сочинял «дипломатическое» письмо в далекий завоеванный Тернополь, в это самое время позвонил Обрыдленко.

В назначенный королем час приехал банкир с адмиралом. Мисаил Григорьевич был в цилиндре и по холодному осеннему времени в пальто с бобровым воротником. Он сказал Обрыдленке:

– Я так и войду к нему в пальто. Мне нравится эта элегантная заграничная манера делать кратковременные визиты в верхнем платье. Посмотрите, в кинематографе во всех великосветских пьесах элегантные мужчины при деловом визите не снимают пальто... Я тоже не сниму.

Адмирал ничего не ответил, пожав плечами.

При всем своем апломбе, при всем своем великолепном презрении к нищему королю, которого он хотел купить, Мисаил Григорьевич, однако же, волновался. Как-никак прав Обрыдленко, все же король – его величество.

– Ваше величество... – Железноград произнесет впервые за всю свою жизнь эту фразу. Или, может быть, лучше говорить ему *siге*? Нет, ваше величество будет эффектнее. С одной стороны, ваше величество, а с другой – «не угодно ли вам жениться на моей содержанке?» Черт побери, извольте примирить непримиримое. Ну, была не была...

Поборов свое волнение, Мисаил Григорьевич с самым решительным видом, держа в одной руке цилиндр на отлете, в другой перчатки и трость, подражая великосветским героям кинематографических пьес, вошел в комнату Лузиньяна Кипрского. И он пожалел, что у него прозаический цилиндр, а не шляпа с громадным страусовым пером.

– Государь, я мету пол пером моей шляпы...

Дьявольски шикарная фраза... Но вслух ее при всем желании не скажешь, только подумывать можно. И Мисаил Григорьевич подумал, а вслух произнес:

– Ваше величество, я весьма рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение...

Как ни храбрился Железноград, а этот величественный, сидевший в кресле старик с закутанными в плед ногами придавил его своей торжественностью именно торжественностью, такой спокойный, выдержанный, благородно уверенный в себе.

Сделав движение подняться, Лузиньян подал руку обоим посетителям. И, желая сразу перейти к цели визита, спросил банкира:

– У вас дело ко мне?

– Да, ваше величество, очень важное дело... Оне как будто носит немного щекотливый характер, хотя, в сущности, ровно ничего щекотливого...

Молча и строго смотрели глаза короля из-под седых бровей. Железноградова смущал этот взгляд, но Мисаил Григорьевич решил пойти напролом.

– Ваше величество, вы можете легко облагодетельствовать одно весьма достойное существо. Я принимаю живейшее участие в судьбе одной талантливой артистки... Наш «общий друг», почтенный адмирал знает ее как вполне достойную особу...

Обрыдленко, готовый провалиться сквозь землю, хочешь не хочешь, должен был поддерживать своего патрона.

– Ваше величество, я могу засвидетельствовать, что это воплощенное совершенство... На моих глазах воспитывалась...

– Но позвольте, господа, я решительно никак не могу быть полезным этой артистке при всех ее добродетелях, в которых ничуть не сомневаюсь...

– Можете, ваше величество, можете! – очертя голову, бросился вперед, зажмурившись, Мисаил Григорьевич. – Я немного прошу... Совсем немного, дайте ей ваше имя, дайте ей ваше имя, и я не постою ни за какими расходами... В ваши годы Это не опасно... вам осталось пустяки жить...

13. Бегство

Дегеррарди загостился в Лаприкене. Да и чего ему было спешить? Не житье, а масленица! Шписс кормил его на убой, и оба приятеля дружно за обедом и завтраком насасывались пивом и коньяком.

Кроме того, весьма и весьма основательный удар, полученный Генрихом Альбертовичем в грудь от латышской девы Труды за излишнюю развязность рук, ничуть не охладил его завоевательных порывов. Твердо веря в свою неотразимость, он не терял надежды покорить суровую, замкнутую горничную с кулаками боксера. Тем более Труда была как раз в его вкусе.

– Понимаешь, – говорил он Шписсу, – они успели выпить на брудершафт, – король девка! Есть за что подержаться!

– О, да, яволь, ди бруст! Большой грудь! – облизывался Шписс, округляя впереди себя руки.

– Не бруст, а целый бруствер! – скаламбурил Генрих Альбертович. – Бруствер, который я, штурман дальнего плавания Дегеррарди, черт побери, должен, наконец, взять!

И Генрих Альбертович пожирал Труду своими нахальными глазами, вспенивал усы, колесом выпячивая грудь, отпускал тяжеловесные, словно камень, выброшенный катапультной, комплименты, но ничего из этого не выходило.

Труда не замечала его, плотно сжимая губы, храня неприступный вид.

– Гибралтар, а не девка! – сокрушался Генрих Альбертович.

Он основательно пустил корни в Лаприкене, застрял на целую неделю. Юнгшиллер вызвал его телеграммой.

– Надо ехать, ничего не попишешь, – заявил Генрих Альбертович управляющему, наказав ему крепко-накрепко следить за узницей.

– Ты отвечаешь за нее!

Шписс улыбнулся.

– Ничего не может быть легче. Здесь мы полновластные господа. Здесь наш край. Куда она убежит? Куда? Кругом наши друзья немцы, а эти дураки латыши ни слова не понимают по-русски.

– Ну, смотри, дело твое... ты будешь в ответе.

Генрих Альбертович укатил на машине в Либаву по шоссе через Газенпот.

Вера томилась, не находя себе места. Если бы не Труда с ее теплым участием, можно было б с ума сойти.

Забугина похудела, побледнела. Заострились черты красивого личика. Глубже и больше стали глаза. Она почти лишена была воздуха. Шписс допускал получасовую прогулку в саду под наблюдением конюха, рыжего Ганса, неотступно следовавшего за Верой. Это было так унижительно, что девушка предпочитала оставаться у себя в комнате.

– Труда, я хочу написать письмо. Помогите мне, дорогая, если только не навлечете на себя неприятностей?

– Подосдите, балысня, ессо не влемя. Этот Списс, этот поганый солт свой селовек во всех постовых конторах... Вы куда хотите писать?

– В действующую армию.

– Садерсут письмо, садерсут! Будет нехолосо и вам и мне... Подосдем, я сто-нибудь выдумаю... Пускай этот солт Списс куда-нибудь уедет. Он састо едет в Либаву.

Труда сообщила свой план. С письмами легче влопаться, а главное, жди у моря погоды. Самое лучшее бежать. Она, Труда, кое-что надумала. Только б уехал Шписс! У нее имеется двоюродный брат, глухонемой дурачок Павел. Дурачок-то он дурачок, но преданный, и ему можно вполне доверять. Важно добраться благополучно в Ригу, а там барышня явится к воен-

ным властям и расскажет все. Путь таков: надо будет ночью пройти, – это недалеко, всего четыре версты, – до корчмы Азен. Содержит ее латышская семья, хорошо знакомая Труде. Павел проведет барышню. В Азене ей дадут тележку, на которой она и проедет в Гольдинген. Из Гольдингена восемьдесят верст до Туккума, а там рукой подать до Риги по железной дороге. У барышни имеется двадцать с чем-то рублей. Этих денег вполне достаточно.

Забугина верить не хотела.

– Труда, неужели это возможно?

– Восмосно, балысня, осень восмосно!

– А я не подведу вас?

– Сто они мне сделают? У, вацеси (немцы) проклятые! Как я их ненавижу!

Подмерзло к ночи. Первый снег выпал. Вера сквозь решетку своего окна видела кусочек белой поляны сада, видела опушенные серебристым убранством деревья. Зима!..

Однажды горничная принесла узнице утренний кофе.

– Сегодня сорт уссает в Либаву.

– Значит, сегодня?

– Да, балысня.

Вера похолодела вдруг, а потом ее всю залило какой-то теплой жуткой волной.

Уже смеркалось. Уже сизые тени легли на снег. Донесся шум автомобиля, гудит, захлебываясь, тише и тише, смолкло... И гуще сумерки, и сизый снег стал фиолетовым.

Минуты вытягивались в бесконечные часы. Ползли черепашьям шагом. Вера, ни живая, ни мертвая, прислушивалась с жадным волнением. Чудилось, что кругом затаились враждебные пугающие шепоты.

Неужели, неужели она будет на свободе? Ах, если б вырваться из этого подземелья!

Вошла Труда, крепкая, сильная. За ней – плечистый белесоватый молодой человек, а может, и не молодой. По лицу, безбородому, желтому, не прочтешь возраста. На славу сбитой фигуре тесно в худом пиджачишке. Шея повязана красным шарфом. Дитина мнет фуражку с треснувшим козырьком. Торс юного Геркулеса, а душа и лицо идиота. Павел захныкал, закивал головой; и какие-то давящиеся, булькающие звуки вылетали из его горла. Труда махнула ему рукой. Он виновато посмотрел на нее, поперхнулся, умолк.

– Балысня, вот мой двоюродный брат Павел, он вас ведет на Асен. Серес сас мосно будет ийти. Ай, ай. Труда сабыла, сто у вас нисего нет теплого. Холодно! Я сейчас принесу...

Труда ушла, Павел остался. Он мял свою фуражку с треснувшим козырьком, напоминаям раздвоенное копыто. Вера смотрела на него с испугом. Она всегда как-то особенно боялась сумасшедших. Нельзя сказать, чтобы этот глухонемой чичероне внушал ей доверие. Четырехверстный путь вместе с ним – перспектива не из отрадных.

А Павел, мотаясь всем телом, кивал головой, и что-то переливалось, булькало в горле.

Вернулась Труда, неся старенький жакет свой на вате.

– А ну, пошюбуйте, балысня?

Хороша, нечего сказать, примерка. Хрупкая, тоненькая Забугина вся утонула в этой необъятной кофте.

– Холосо! – поощрила Труда.

Затем начался между нею и Павлом оживленный разговор, казавшийся Вере китайской грамотой. Труда объяснялась мимикой, и дурачок понимал ее с полуслова, вернее, с полужеста мелькавших быстро-быстро пальцев. И когда все наставления были даны, Труда сервировала чай, последний – как хотелось думать – чай в этом каземате. От волнения беглянка не могла ни пить, ни есть. Зато Павел обжигался на славу горячим чаем, сокрушая волчьими зубами своими громадные куски сахару.

– Теперь мосно уходить!

Вера обняла Труду.

– Спасибо вам, милая, хорошая, сердечная, спасибо за все... Погодите... – стала рыться в портмоне Вера.

– Сто вы, сто вы, балышня, сто вы, я ни са сто не восьму! Вам самой нусны деньги. А когда вы будете самусем в Петербурге, я буду у вас слусить.

– Ах, Труда, я сама была бы очень рада, я так успела к вам привязаться...

Вера, ее проводник и Труда вышли с оглядкой. Темно. Мороз пустяковый, но ветер сухой, колючий. Так и швыряется полными горстями рассыпчатого снега, сдуваемого с крыш, с деревьев.

Свернули мимо каменных построек... И сейчас же пошел плетень вдоль узенькой, меж огородами, улочки.

– Плосайте, балышня. Я хосу, стобы меня на кухне видели...

– Труда, вам нагорит за меня! Я лучше вернусь. Труда...

– Сто са глупости, балышня. За вас будет рысий конюх отвесать, а не я. Он спит пьяный... такой сорт, собака, вацеш!

И вот Вера одна в обществе идиота среди поля, занесенного сугробами. Вера – вся несуразный комочек – в жакете монументальной горничной. Добрая девушка, золотое сердце. Если когда-нибудь счастье и улыбнется Вере, она возьмет к себе Труду.

А ветер гудит целыми сонмищами нераскаянных душ. По сторонам дороги темнеет сосновый лес.

Час, а может, и больше. Маячит какой-то огонек впереди. Павел показывает рукой, и сквозь его неясное бульканье можно угадать:

– А-а-сен...

Угрюмая корчма из дикого серого камня. Здесь ждали путников. Открыла дверь седая старуха, бормоча что-то непонятное, латышское.

Прикрученная лампочка освещала длинную комнату с двумя большими, сколоченными из досок, столами. Вера объяснялась при помощи знаков.

– Лошадей...

Старуха замотала головой, показывая в окно. Явилась откуда-то другая латышка, помоложе, говорившая кое-как по-русски.

– Лосадей нет, мус уехал на Курскениг, вернется только на рассвете, и только утром мосно будет ехать на Гольдинген.

Только утром! Ужас один, всю ночь промаяться в Азене, в четырех верстах от Лаприкена, где могут ежеминутно хватиться беглянки. Вера погасла вся. Волей-неволей пришлось покориться.

Обе латышки предлагали ей кровать в соседней комнате. Девушка, поблагодарив, отказалась. Она лучше пересидит ночь. Там душно, спертый воздух, полно спящих детей.

И, сидя на скамейке у стола, Вера цепенела в каком-то полузабытьи. Не заметила, как исчез Павел. Смутно слышала детский плач. Старуха выходила куда-то с фонарем. Глубокой ночью затарахтели колеса, донеслась через окно какая-то брань на чужом языке. Донеслась вместе с лошадиным фырканием...

14. Она умерла...

С Балкан приходили тревожные вести...

Выяснилась предательская, темная роль Болгарии. Выступало с каждым днем все ясней и ясней сквозь вероломную маску настоящее лицо ее...

Официально Болгария хранила, по ее словам, строжайший нейтралитет. А между тем четы комитаджиев, подонки продажной сволочи, комплектуемой из самых разбойничьих элементов болгарской Македонии, нападали врасплох на сербские пограничные посты, желая пробиться к Вардару и взорвать железнодорожный путь, единственный, которым сообщалась отрезанная со всех сторон Сербия с внешним миром. Австрийский и германский посланники снабжали четников деньгами, пулеметами, бомбами, взрывчатым веществом.

Ни для кого, за исключением союзной дипломатии, не было секретом, что выступление комитаджиев – это партизанские авангарды, вслед за которыми при первом же удобном случае бросится на Сербию вся болгарская армия.

Первое время Шацкий уверял:

– О, я знаю болгар! Я с ними дрался плечо к плечу в первой балканской войне! Молодцы братушки... Они покажут себя, когда пробьет час! У меня есть кое-какие ниточки... Я знаю доподлинно, что они выступят заодно с Россией.

– Ну, а Фердинанд?

– Что такое Фердинанд? – презрительно пожимал Шацкий плечами. – Фердинанд и пикнуть не посмеет, а чуть пойдет против воли народа – болгары не задумаются вздернуть его на фонарном столбе!.. Они полны благодарности к своей освободительнице России.

И он щеголял в своем болгарском мундире с болгарскими орденами.

Но вдруг после всех речей молодой человек с костистым лицом начал появляться в штатском.

– Что за перемена?

– А ну его к черту, паршивый мундир этот самый! Не хочу его носить! Я и ордена отошлю Кобургу! Пускай повесит на свой длинный нос... Не нравится мне их политика. Чует мое сердце: продадут нас эти каналы-братушки... Продадут!..

Но как-никак избалованный формой, он не хотел долго оставаться «в партикулярном виде», тем более кругом сотни, тысячи молодых людей, да и не только молодых, надели полувоенную форму всевозможных санитарных и благотворительных организаций. Шацкий не хуже других, и почему бы ему не записаться в одну из этих организаций? Он томится в бездействии в глубоком тылу, хочет поработать на пользу отечества где-нибудь на фронте.

Так он говорил всем. А вот что говорил ему Юнгшиллер с глазу на глаз в своей круглой башне:

– Вы околачиваетесь здесь, в Петербурге, без всякой пользы для дела.

– Как без всякой пользы?

– Так! Вы не перебивайте, когда я говорю. Когда я говорю, надо молчать и слушать... Здесь мы управимся и без вас, а вот на фронте мало наших агентов... Поезжайте в действующую армию.

– В качестве кого?

– Мы найдем в качестве кого. Необходимо изобрести такую должность, которая дала бы вам право ездить с позиции на позицию. Что-нибудь вроде уполномоченного с инспекторскими обязанностями... Ревизия лазаретов ближайшего тыла, перевязочных пунктов и так далее в таком роде. Я переговорю с Еленой Матвеевной, у нее ведь целые десятки питательных пунктов, летучих отрядов, автомобильных колонн. У Хачатурова денег много, и «патриотизм» госпожи Лихолетевой здорово ему влетает...

Юнгшиллер, не откладывая в долгий ящик, переговорил с Еленой Матвеевной. В результате Шацкий через несколько дней с ног до головы весь облачился в новую форму. Защитный китель с погонами титулярного советника, широченные «бриджи», скрадывающие худобу ног и уходившие в высокие сапоги с шпорами. Шинель, кривая кавалерийская шапка, серая папаха. Иногда для шику бывший болгарский подпоручик ездил на фронт в тяжелой длинной шубе. Распахивая шубу, он как бы невзначай показывал красовавшийся на кителе солдатский Георгиевский крест.

Интересовавшись, за что именно его наградили, Шацкий пояснял:

– В сущности, пустяковое дело. Хотя, конечно, это зависит... Видите ли, под очень сильным неприятельским огнем я благодаря своей энергии и распорядительности эвакуировал двести семьдесят человек раненых...

Где он совершил этот подвиг, Шацкий скромно, вернее, благоразумно умалчивал.

Шацкий не всегда щеголял со своей «декорацией». Он кокетничал ею главным образом в Петербурге, на железной дороге. Когда же появлялся в штабах армии, корпусов и дивизий, серебряный крестик исчезал, перекочевывая до поры до времени в карман.

На фронте Шацкий держался по-хамски. Фанаберии хоть отбавляй. Распекал на чем свет стоит сестер милосердия, – да что сестер! – докторам медицины, старшим врачам лазаретов и перевязочных пунктов влетало.

И чуть что-нибудь, сейчас же угрозы.

– Я должен буду сообщить об этом тетушке своей Елене Матвеевне Лихолетьевой...

Это имя производило впечатление фугасного действия. В самом деле, если госпожа Лихолетьева приходится ему тетушкой, следовательно, какую твердую почву имеет под ногами сей развязный молодой человек!

Знакомясь с кем-нибудь, кого надо было поразить, Шацкий представлялся:

– Племянник Елены Матвеевны Лихолетьевой – Шацкий.

Но тетушки своей племянник не обременял никакими докладами. Возвращаясь из своих «командировок», он первым делом являлся с докладом к Юнгшиллеру. Через Шацкого этот упитанный рыцарь круглой башни узнавал многое, что делается в армии. Кроме того, Шацкому давались и самостоятельные поручения, иногда весьма рискованные, опасные.

Вот, например, одно из таких поручений:

– Господин Шацкий, вы читали в газетах о подвигах Загорского?

– Как же, как же, дьявольски везет человеку! Уже к первой степени представлен. Скоро полный бант будет. А там и в корнеты могут произвести. Того и гляди, все вернут – права, дворянство...

Юнгшиллер злобно скомкал газету.

– Этого не должно быть! Это мошенник – Загорский! Я его звал на австрийскую службу, предлагая ему хорошие условия, а он меня обманул. И теперь пробует заново реставрировать свою испорченную карьеру. Этого не должно быть! И вот, Шацкий, я вам приказываю: вы поедете туда, где он находится, и... надо что-нибудь такое придумать... Или вы его дискредитируете, или еще лучше, если б он как-нибудь совсем исчез... Мало ли что – смерть, плен... О, если б он очутился в плену, будьте спокойны, я бы уж постарался, чтобы из него вытянули жилы... Так вот, займитесь этим, в случае успеха вам будет хорошая награда.

– Ну, знаете, господин Юнгшиллер, уж и порученьице вы мне дали, нечего сказать! Здесь еще свою собственную голову чего доброго сломаешь. Уж на что Дегеррарди хвастун, а, я думаю, и он отказался бы.

– Не думаете ли и вы отказаться? Что же, я даром хлопотал за вас? Всюду разъезжаете, деньги, положение! Что же это, ради ваших глаз, ваших зубов, на которые я не могу смотреть без раздражения? Я на вашем месте вырвал бы их и вставил новые...

– Мои зубы касаются только меня, – обиделся Шацкий, мнивший себя неотразимым красавцем.

– Я пошутил, я, кажется, имею право шутить? А сейчас говорю без всяких шуток: поезжайте и займитесь как следует Загорским... Или, если нет, я вас вышвырну, и тогда вам придется круто...

Шацкий поехал. Не оставалось ничего другого.

А Загорский уже не был в своем полку. Так и случилось, как говорил Пехтеев: командующий дивизией генерал Столешников взял к себе в штаб Загорского.

Столешников был живым олицетворением бодрого духа в слабом теле. Действительно, откуда что бралось! Маленький, худенький, болезненный, весь в контузиях и ранах, только-только залечившихся, дивизионный проявлял везде и во всем неустанную кипучую энергию.

Он вечно принимал какие-то микстуры, глотал пилюли, вид был – краше в гроб кладут, а работал по восемнадцать часов в сутки и, презирая автомобиль, верхом объезжал фронт своей дивизии.

– Аптека ходячая, а посмотрите, какой молодчага! Боевой с ног до головы наш Столешников! – восхищались офицеры.

Столешников долго и внимательно присматривался к Загорскому и, в конце концов, против желания Пехтеева взял его к себе в штаб. Мало этого, прислушивался к его голосу, чем выводил из себя начальника штаба дивизии, хлыщеватого полковника Теглеева. Это был типичный «момент», высокомерный, трусливый, кичившийся своей кастовой премудростью, почерпнутой им на Суворовском проспекте.

Он считал себя чуть ли не богом войны, метил в Наполеоны, и вдруг Столешников явно считается гораздо больше с каким-то нижним чином, нежели с ним, Теглеевым. Блестящий полковник забывал, что этот нижний чин – явление совершенно исключительное и сам в свое время прошел все то, чему в течение нескольких лет учат на Суворовском проспекте.

Но разница была в том, что Теглеев жречествовал в своем кабинете с помощью телефонов, телефонограмм и рассылаемых повсюду мотоциклеток, а Загорский, давая теоретические советы, в случае надобности превращался в отличного разведчика, пускавшего в самые гололобые авантюры.

В последнее время он с какой-то сжигавшей все его существование энергией искал работы, и чем опасней, мятежней – тем лучше. Постоянной встряской нервов он хотел заглушить свое горе. Уходили месяцы, и он убедился, что Вера навсегда исчезла. И если были сомнения, то несколько писем, полученных им от короля Кипрского, развеяли окончательно эти сомнения.

Веры нет и, увы, не будет! Она умерла. Немало бессонных ночей провел он в бесплодных хаотических догадках о ее судьбе... Главное, никаких следов, ничего. Хоть бы малейший, неуловимый, как паутинка, намек.

Порой смутный инстинкт подсказывал ему, что ключ к разгадке тайны необходимо искать на Конюшенной в «заведении» мадам Карнац.

И он казнил и каялся, зачем посоветовал идти ей на службу в этот подозрительный дом. Быть может, Вера узнала что-нибудь действительно важное, компрометирующее шпионскую организацию, группировавшуюся вокруг Лихолетевой, узнала, и – вот расплата...

Ей ли под силу бороться, юной, неопытной, с бандой этих опытных двуногих шакалов?..

Тяжелый удар был нанесен Загорскому. Другой, более слабый, на его месте упал бы духом... Он уже теперь другими глазами смотрел на свои успехи, отличия и награды. Прежде, во имя своего чувства, во имя будущего, их будущего, он так мучительно желал отвоевать вновь все потерянное, чтобы возродиться из «человеческого недоразумения» в прежнего Загорского. Теперь, с исчезновением главной притягательной силы, это желание, если и не погасло совсем, значительно ослабело.

У него три креста, унтер-офицерские нашивки, четвертый крест он должен получить со дня на день. Столешников, принявший в нем самое живое участие, обещал хлопотать о производстве в корнеты, минуя подпрапорщика и прапорщика. Это возможно потому, что было известно, как благосклонно относятся к Загорскому в самых высоких сферах. Возможно... И какой ужас: теперь, когда сон превращается в такую трезвую явь, теперь нет дорогой девушки... Она умерла, и вместе с ней умерла его первая любовь, такая прекрасная, чистая, какой он не знал до сих пор никогда...

15. Соперница

Народилось за последнее время в Петербурге несколько газет и журналов, посвященных вопросам банков, биржи и вообще финансов. Тираж этих узкоспециальных тетрадок и листов ничтожный – несколько сот экземпляров на самый лучший конец. Но вот, подите ж, издатели, как угорелые, носятся по городу на собственных автомобилях и вид имеют весьма упитанный...

В этих «органах» считалось злободневным и модным травить Мисаила Григорьевича Железноградова. Чего только не писалось про него! Доставалось тщеславному банкиру и дельцу на орехи!

Но Мисаил Григорьевич на все эти нападки и наскоки и в ус не дул! Он был того мнения, что всякий лишний выпад – реклама.

Правда, не каждому поздоровится от такой рекламы. Каких только «перлов» не подносили читающей публике издатели. Перлов из интимной жизни, финансовой и общественной деятельности Мисаила Григорьевича Железноградова.

Железноградов пользовался исключительной популярностью в Петербурге. Им интересовалась и большая публика, охотно раскупавшая специальные листки. Тираж финансовых газет увеличивался.

Правда и вымысел сплетались вокруг легендарного имени сверхбанкира, и трудно было сказать, где кончается ложь и начинается истина. Один из анонимных авторов чуть ли не клятвенно уверял, что видел собственными глазами визитные карточки, на которых значилось: «Мисаил Григорьевич Железноградов, рожденный Айзенштадт».

И вслед за этим подробно, красочно и «со вкусом» описывалось, как члены правления одного из акционерных обществ в большом южном городе спустились с лестницы Железноградова, который мало того что пытался их обмануть, но еще держал себя вызывающе нагло.

Корреспонденция заканчивалась анекдотом:

– Мисаил Григорьевич, правда, что вас спустили с лестницы?

– Подумаешь, какая лестница! Всего десять-двенадцать ступеней...

Не успело забыться это пикантное приключение, как на смену явилась новая сенсация.

Вдохновители финансовых листков, неусыпно, с искусством добровольных Шерлоков следившие за каждым шагом Мисаила Григорьевича, пронюхали о его посещении Короля Кипрского, о цели этого посещения и, самое главное, о результате.

А результат вышел обидный для самолюбия, если только Мисаил Григорьевич обладал этой добродетелью, потому что самолюбие как-никак добродетель.

Лузиньян Кипрский выгнал от себя Мисаила Григорьевича, выгнал вместе с Обрыдленкой, едва успел банкир предложить ему позорный брак с Искрицкой. Турманом вылетел Железноградов из комнат «Северное сияние». С больной головы на здоровую – накинута на Обрыдленку:

– Это все ваша вина? Вы поставили меня в глупое положение, почему вы не предупредили меня, что это выживший из ума старик?

– А по-моему, король в здравом уме и свежей памяти! Но, согласитесь, нельзя же требовать, чтобы все короли женились на ваших содержанках...

– Все! Все! – фыркал Железноградов. – Не говорите глупостей, ваше высокопревосходительство! Человек, живущий в меблированных комнатах, должен свой гонор спрятать, раз в брюхе пусто...

Весь остаток дня патрон был в мерзейшем настроении. Еще бы! Он так предвкушал в самом недалеком будущем увидеть опереточную примадонну королевой Кипрской и вдруг

афронт, да какой! Его, Железноградова, у которого на побегушках особы второго класса, его самым форменным образом выгнал этот нищий... – Нельзя ли выслать этого короля?

– За что?

– Так, вообще, без всяких причин... Я ничего не пожелал бы за право доставить себе это удовольствие...

Железноградов, кормил Обрыдленку в одном из модных трактиров обедом. И как назло, очутился за соседним столиком издатель «Городских тайн» Лиходзеевский.

К концу обеда, за кофе, Мисаил Григорьевич уронил массивный золотой портсигар. Уронил и ждет.

Адмирал, кряхтя, нагибается.

– Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство... Гассан, подними!

Упитанный бритоголовый татарин поднял портсигар.

А на другой день в «Городских тайнах» появился фельетон «Королева Кипрская», где с полными именами и с беззастенчивой откровенностью описывалась неудачная попытка Железноградова выдать Искрицкую за последнего в роде Лузиньянов. Влетело и Обрыдленке за его роль в этом деле. Автор, не щадя красок, – не забыл он и случая с портсигаром, – целиком привел фразу банкира:

«Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство... Гассан, подними»...

«Городские тайны» покупались нарасхват. Жадный до всяких скандалов, читатель рвал у газетчиков журналец господина Лиходзеевского.

После такого публичного шельмования Обрыдленко хотел подать «в отставку». Но в конце концов философски махнул рукой.

К чему? Все равно этим не обелишь себя. И так уж треплют имя и будут еще трепать...

– Плюньте, – успокаивал Железноградов, – кто же читает подзаборный листок? Если хотите, даже реклама...

– Благодарю вас за такую рекламу! В моем положении с такими вещами не шутят... Да и вам настало время избегать подобной рекламы... Вы теперь дипломатический представитель республики Никарагуа.

– А ведь верно! – спохватился Железноградов. – Я теперь персона грата, член дипломатического корпуса. Надо будет взяться за эту каналью, как его там, Добродиевский, что ли? Надо ему зажать рот... Я так сделаю, что его вышлют...

Искрицкая полушутя задала Мисаилу Григорьевичу головоломку.

– Ну, и заварили вы кашу, мой платонический покровитель, чтоб вам ни дна ни покрышки! Ославили меня, можно сказать, на всю столицу... «Королева Кипрская», – нет мне другой клички...

– А чем же я виноват? Я хотел сделать вас настоящей королевой Кипрской – не вышло. И боги ошибаются. Но знаете, моя очаровательная, что я вам скажу? Уж кому-кому, а только вам жаловаться не на что! После этой бешеной рекламы вы подцепите себе такого содержателя, что даже и вашему Корешенке дадите коленом в известное место...

– Вашими бы устами... – задумчиво молвила Искрицкая. – И хотя я очень привязалась к моему Володе, но в конце концов должна буду с ним расстаться... Он слишком много времени уделяет своим изобретениям. Ко мне приходит усталый, измученный, и... я получаю одни объедки... Зачем? Почему? Отчего? Если б еще соперница была интересная, а то какая-то грязная слесарня, где он, выпачканный, вымазанный, пропадает целыми днями... Женщины, в особенности избалованные, как я, не прощают такого небрежного к себе отношения... Нет, довольно с меня!

– Смотрите, какой он паскудник, ваш Володя! Ей-Богу! Иметь кусок такого тела и не... Кстати; я вам расскажу один еврейский анекдот, может быть, слышали? «Володя, Володя, вам зовут...»

– Ах, это генерал в вагоне... Старо... слышала...

– Кому старо, а кому молодо... Надо будет рассказать Андрею Тарасовичу Лихолетьеву. Не корми хлебом, а давай ему анекдоты... Нет, Надежда Фабиановна, ваш Володя – круглый дурень... Будь я на его месте, я бы вас...

– И я его бы возненавидела! Никогда не надо пересаливать ни в ту, ни в другую сторону. Женщина – инструмент очень тонкий. С нашей сестрой надо ох как умеючи обращаться... Ласка не вовремя даже от любимого человека – не ласка, а отвращение!

– Ну, извините меня, я таких тонкостей не понимаю. Я человек деловой, и создавать настроение – этого уже, ах, оставьте... Хочу – вот и все! А хочет ли она – какое мне дело? Лишь бы мне было вкусно...

– Рабовладельческая теория...

– Теория человека, могущего всякое свое желание щедро оплачивать...

– С вами не сговоришься... Хорошо, что мы с вами только в платоническом альянсе...

– К сожалению, волшебница моя, к сожалению!.. Слушайте, скажите мне, от кого это вам подают на сцену каждый вечер такие здоровенные корзины цветов в полтора человеческих роста? Кто же этот... – дурак, – хотел сказать Железноградов, но спохватился, – счастливец?

– А вам какое дело? Это касается меня, и только меня.

– Позвольте, ведь официально я же считаюсь вашим покровителем! Город безмолвно согласился, что мы делим вас пополам вместе с Корещенкой. Но при чем же здесь третий? Третий игрок – под стол!

– Так не угодно ли вам отправиться под этот стол? Я могу вас освободить, и, право, мой друг, ваша назойливость вовсе не окупается тремя тысячами в месяц...

Не один только Железноградов обратил внимание на действительно чудовищные корзины, подававшиеся каждый спектакль Искрицкой.

Два рослых капельдинера в униформе с трудом втаскивали к рампе эти цветочные оргии. По военному времени каждая такая корзина обходилась тароватому поклоннику рублей в пятьсот.

Но тароватый поклонник мог позволить себе и не такую роскошь, ибо звался он Аршаком Давыдовичем Хачатуровым.

Это был он.

Хачатуров несколько не охладел к Елене Матвеевне, влюбленный по-прежнему, если даже не больше прежнего. Но она замораживала его своей ледяной холодностью, и вместо наслаждения – одни муки. Ей, высокой, белой, такой свежей, несмотря на все под сорок, он, этот маленький смуглый краб, этот хлипкий недоносок, был противен физически. И если она иногда без всякого желанья отдавалась ему, то потому лишь, чтоб не потерять его, вернее, его миллионы, во вкус которых успела войти.

И вдруг появляется соперница. Да, соперница, иначе он не забрасывал бы ее цветами. Хачатуров обратил внимание на Искрицкую, обратил от скуки, от вечных своих неудовлетворенных Еленой Матвеевной томлений. Кроме того – шикарная модная артистка! Связь с Лихолетьевой – вопрос честолюбия, связь с Искрицкой, вернее, пока тяготение к связи, – вопрос тщеславия.

Елена Матвеевна всегда холила себя, отвоевывая у времени красоту и уходящую молодость. Когда на ее горизонте появился Хачатуров, она удвоила культ своего тела, обратившись к услугам Альфонсинки. Теперь же, с появлением на горизонте соперницы, Лихолетьева ежедневно проводила на Конюшенной два-три часа.

Обе исполинские шведки, меняясь попеременно, массировали ее, а чтобы время не уходило понапрасну, мадам Карнац ухаживала за лицом Елены Матвеевны. Прикладывала какие-то особенные компрессы, надевала резиновую маску, пропитанную какими-то мазями. Бюст

затягивался, словно в кирасу, в гуттаперчевый корсет, чтобы сообщить грудям упругость и чтобы не отвисали.

Словом, Елена Матвеевна приняла вызов. Мадам Карнац на седьмом небе! Во-первых, чрезвычайно выгодная клиентка, а во-вторых, самое главное, благодаря такой интимной зависимости, Лихолетьева должна, охотно или неохотно, все равно, пойти ей навстречу в делах.

Однажды, когда Елена Матвеевна сидела в «институте», откинувшись на «гигиеническом» кресле, сидела в красно-коричневой маске, такой зловещей, как будто кожа с лица была вся содрана, мадам Карнац, улучив момент, подъехала к ней:

– Экселлянс... у меня есть к вам одна просьба, для вас это не трудни. Се не па дифи-силь! У меня есть один человек... Это очинь большой патриот, у него есть одна очинь полезни поставка для войны... Пур ля гер... Это очинь вигодни... Он пе ганье кельк шрз!..

Большие светлые глаза прямо и жестко смотрели в разрез коричневой маски на Альфонсинку.

Елена Матвеевна молчала. Женщина-шарик в бархатном платье немного смутилась...

– Уверяй вас, экселлянс, это очинь чисти дело... Се тре, тре патриотик...

– Мадам Карнац, нас никто не слышит?

Альфонсинка подкатилась к одним дверям, к другим, понюхав, назад вернулась.

– Никого, экселлянс... Персонн!..

– Вот что скажите, мадам Карнац, у вас бывает Искрицкая?

– Какой Искрицки? – спросила Карнац, выгадывая время и соображая ответ.

– Не притворяйтесь, пожалуйста... Искрицкая – одна известная артистка, – и, желая причесечь колебания Альфонсинки, Елена Матвеевна продолжала. – Если ее нет в числе ваших клиентов – очень жаль...

– Ну, да! Мэ уй, экселлянс! – обрадовалась Альфонсинка. – Она бивает в мой институт... Се не па зюн дам дю монд... но это очинь порядочни женщин, тре комильфо!

– Что вы ей делаете?

– Я ему дяляи лицо.

– Скажите, вы очень заинтересованы провести «патриотическую» поставку вашего знакомого?

– Конечно! Я бедни женщин, и я хочу маленький приватный заработок, маленький сюплеман...

– Я берусь вам помочь, но... с одним условием.

– Пожалуйста, пожалуйста, экселлянс, говорит!..

– В вашей работе возможна оплошность... Ну, рассеянность, что ли... Раз вы делаете госпоже Искрицкой лицо, вы можете перепутать крем, или мазь, или компресс, я уж не знаю что, словом, вы меня понимаете?.. Вчерашняя красавица – сегодня может подурнеть... Какая-нибудь злокачественная сыпь, какие-нибудь лишай...

Холодно, испытующе смотрели глаза на фоне красно-коричневой маски, ожидая ответа...

16. Женщина на букву «С»

Вслед за телеграммой о бегстве Забугиной, так всполошившей Елену Матвеевну, что эта величественная дама вышла из своего обычного олимпийского равновесия, Юнгшиллер получил другую шифрованную депешу, более успокоительного свойства...

«Беглянку поймали. Водворена вновь на место прежнего заточения».

А затем «надежный» человек привез от Шписса обстоятельное письмо. Содержанием его Юнгшиллер поделился с Урошем.

– Я думал, что нам окончательно не везет, и старый немецкий Бог, о котором так хорошо говорил кайзер Вильгельм, отвернулся от нас! Действительно, целый ряд неудач. Гибель моторной лодки, Забугина, чуть не выдавшая всех нас с головой, и, наконец, ее попытка к бегству.

Противная девчонка. Но и здесь, благодарение Богу, нам помог случай. Это колоссально! Все шло удачно. Мерзавец латыш повез ее в Гольдинген из корчмы Азен и вот они были уже в трех верстах от Гольдингена. Понимаете, всего в трех верстах. Надо же, что в это время самое навстречу едет верхом курмаленский помещик Сильвио фон Бредерих, большой приятель Шписса и барона Шене фон Шенгауз. Имение Бредериха – в двух верстах от Гольдингена. Очень хорошее имение – Курмален. И вот Бредерих видит на подводе какую-то женскую фигуру, закутанную в старую кофту; Он знал о существовании в Лаприкене девицы Забугиной и даже видел ее мельком, – Шписс показывал...

Бредерих поступил, как добрый немец. Остановил бричку, вытянул хорошенько стеклом негодяя-латыша и допросил беглянку... С первых же слов и с первого взгляда убедился он, с кем имеет дело... Но вы представьте себе, до чего эта девчонка набралась храбрости! Соскочила, думая убежать. Тогда Бредерих крикнул конюху – его сопровождал конюх... Они вдвоем крепко связали ей руки и бросили на дно рабочей фурманки из Курмаленской экономии. Сверху посыпали ее сеном, соломой и таким образом доставили назад в Лаприкен. Шписс был вне себя от радости. Латышу влетело. Шписс обещал выгнать его из корчмы, так как Азен принадлежит Лаприкенскому имению. Для этой негодной девчонки установлен более суровый режим, тюремный. Вот, я вам доложу, история! Что вы скажете?

– Ничего! Меня только одно удивляет: к чему столько возни и страхов? Отчего сразу не покончить с такой компрометирующей свидетельницей? – испытующе смотрел Урош на собеседника своими глазами-буравчиками. Юнгшиллер пожал плечами, пустив клуб сигарного дыма.

– Знаете, это тоже рискованно! Куда же вы денете труп? Послать ее в чемодане наложенным платежом – это очень возможно в бульварном романе... А в жизни? Кроме того, необходимо несколько соучастников. А в наше время ни за кого не поручишься. К тому же скоро весь Прибалтийский край займут германцы. Девица там и останется, – махнул рукой Юнгшиллер, словно рисуя этим жестом всю дальнейшую участь Забугиной.

– Как фамилия этого помещика?

– Который задержал? А вам на что?

– Странный вопрос. Во-первых, вы уже назвали его, а во-вторых, такие надежные люди могут нам всегда пригодиться... Я могу, например, в любой момент очутиться в тех местах... И, разумеется, первым делом...

– Адресуетесь к нему... Вы правы! Сильвио фол Бредерих, усадьба Курмален. О, это молодец, я вам доложу. Его брат и теперь служит в померанских уланах. Он часто гостил у Сильвио и знает местность, как собственную ладонь... Кроме того, вплоть до самого объявления войны в Курмалене под видом рабочих находилось несколько германских офицеров-топографов... Если б вы его видели! Шире меня в плечах, огненная борода.

«Бредерих, Курмален», – мысленно заучивал Урош.

– Кстати, – вспомнил Юнгшиллер, вас видели на днях выходящим от полковника генерального штаба... Там, на Лиговке... Что это значит?

– Я вас, господин Юнгшиллер, должен спросить, что это значит? Контршпионаж? Вы поручили следить за мной?

– Я ничего никому не поручал, но, согласитесь, я должен знать, что делают мои агенты? Я вам больше скажу, – мне известно, что вы бываете в сербском посольстве.

– Ваши сведения совершенно правильны. Да, я бываю у полковника на Лиговке. Да, я бываю в сербском посольстве... Что же из этого? Вы должны хвалить меня, за мою разностороннюю осведомленность, а не язвить какими-то подозревающими упреками.

– Виноват. Вы правы, как и всегда... Чем лучше мы знаем наших врагов, тем... и так далее... Не правда ли?

– Я полагаю. Это азбука всякой разведки. Если б я не утратил давным-давно способности удивляться, я удивился бы вашей наивности.

– Ну, будет, будет... – сконфузился Юнгшиллер. – Я действительно сказал не подумавши. Но бросим это... К весне назревают серьезные события, очень серьезные события, и вот когда пригодится голубиная почта. Помните, я всецело в виду имею вас.

– Я уже вам сказал, что дело это, которое изучил и знаю, беру на себя. Можете располагать мною.

– Говорят, надо очень мелко писать?

– Так мелко, что лицо читающее вооружается лупой. Текст я беру на себя. Ваш покорный слуга – каллиграф. На клочке пергамента, величиной с почтовую марку, я вмещаю около пятидесяти слов.

– Около пятидесяти! Но ведь это же колоссально! Это же... Вообще, господин Урош, вы удивительно талантливый человек.

– О, вы еще не знаете всех моих талантов, господин Юнгшиллер, – улыбнулся этот гибкий человек без костей углами тонких губ. – Однако пора ехать. Дадите мне свой экипаж?

– К вашим услугам. Вы куда же?

– В сербское посольство.

– Если узнаете что-нибудь интересное, поставьте в известность.

День был праздничный, Юнгшиллер сидел дома с утра и вызвал к себе Уроша на «Виллу-Сальватор» завтракать. Деловой завтрак вдвоем, без участия фрау Юнгшиллер.

Все дышало кругом смутными зовами ранней весны. Самый воздух, солнечный, теплый и еще сырой от испарений влажной, вздувшейся, творящей земли, был насыщен ими.

Всю зиму оголенные деревья, таким резким, хаотическим кружевом обозначавшиеся на фоне то облачных, то ясных, то отгорающих закатов небес, теперь глядели более мягко, чем-то нежным опушенные.

Урош, давно уже изменивший своему спортсменскому виду, одетый с иголки во все темное, с хорошего тона солидным изяществом, мог сойти за англичанина. Сидя в коляске и жмурясь под солнцем, Урош мечтал... Он весь ушел куда-то... Не слышал, как щелкает бичом ливрейный кучер в цилиндре, как грохочет под копытами рысаков деревянный мост.

Он сказал правду. Он действительно поехал в сербское посольство.

– Остойч! – дружно встретили его секретари: Тадич, Михайлович и Ненадич.

И он услышал, какое горячее участие проявило русское общество к нуждам сербского народа, изнуренного тяжелой войной.

– Да вот пример: является дама, такая милая, скромно одетая, видимо из общества.

– Я так сочувствую вашему героическому народу, так восхищена успехами вашей армии, выгнавшей австрийцев... В то же время сколько драматизма и ужаса, беспомощности... Лишенное хлеба и медицинской помощи население. Эти умирающие дети, эти мученики-сол-

даты, которым не хватает ни йода, ни перевязочных средств... Я решила принести свою лепту...

И вынимает и отдает все свои бриллианты.

– Возьмите, я буду счастлива!

Это было так трогательно... Уроша захватил этот рассказ. Он сам решил сделать крупное пожертвование в пользу своих братьев с материнской стороны, так гордо, титанически гибнущих на берегах Моравы и Дрины.

– Завтра я внесу две тысячи рублей.

Секретари – и маленький черный Ненадич, и бритые высокие Тадич с Михайловичем – переглянулись.

– Остоич, одно из двух: или ты сам фальшивые кредитки делаешь, или ты с ума сошел.

– Завтра я внесу две тысячи, – повторил Урош. – Вы не знаете, господа, имени этой госпожи, отдавшей свои бриллианты?

– Не знаем. Она желала сохранить свое инкогнито.

Наутро к десяти часам Урош явился к Юнгшиллеру в его круглую башню.

– Ну, что в сербском посольстве?

– Громадный прилив пожертвований в пользу сербов. Самые широкие симпатии. В самом деле страна сильно бедствует.

– Что такое? Сильно бедствует? Разбойники, свинопасы. А кто убил нашего эрцгерцога?

Кто накликнул войну? Так им и надо, так им и надо! Пустьдохнут! А еще что?

– Еще? Еще мне необходимо иметь немедленно две тысячи.

– Две тысячи? Ого, это уже кругленькая сумма. Все сразу?

– Все сразу и, повторяю, немедленно.

– Вам лично или в интересах дела?

– Лично мне.

Юнгшиллер погрозил ему пальцем.

– Какая-нибудь любовная авантюра. Берегитесь, опутают вас женщины. Я близок к истине, я угадал, не правда ли?

– Почти.

– Вот видите! Я психолог и умею быть проницательным. Имя этой женщины?

– Секрет!

– Ну, хоть на какую букву начинается.

– На букву С.

– София, Симония, Сандрильона?. Больше нет. Одно из этих, я угадал? Красивая женщина?

– Больше, чем красивая, – она прекрасна!

– Желаю вам дальнейшего успеха! Получите ваши две тысячи! Но дайте мне расписку для памяти.

– Какого содержания?

– А вот я вам продиктую. Бумага, перо и чернила... Пишите.

И вполголоса Юнгшиллер начал диктовать:

– «Я, нижеподписавшийся, взял у такого-то две тысячи рублей, обязуюсь, вместо уплаты, всячески помогать в успехах и целях разведки в пользу военных и политических интересов австро-венгерской и германской идеи».

– Позвольте, – остановил его Урош, – такой текст я нахожу неприемлемым. Вы должны мне верить.

– Я вам верю.

– И в то же время требуете расписку явно шантажного характера?

– Нисколько! За свои деньги я требую того, что хочу. А не нравится – не надо, вы не получите двух тысяч. Выбирайте.

– Хорошо, я согласен, диктуйте.

– Вот! С умным человеком приятно иметь дело. «В пользу военных и политических интересов австро-венгерской и германской идеи»...

Документ написан. Юнгшиллер, внимательно прочитав его, промокнул, сложил и спрятал бумажку, а Урош получил взамен две тысячи новенькими, хрустящими пятисотрублевками.

Рыцарь круглой башни, весело потирая руки, откинулся на спинку своего принимающего любое положение кресла.

– Итак, господин Урош, теперь вы у меня в кармане! Этой бумажкой вы подписали себе приговор. Теперь вы в моих руках послушное орудие. Чуть что – я могу отправить вас на виселицу.

– В равной степени как и я вас могу отправить...

– Меня? Да что вы, дорогой мой, в своем уме? Документы, доказательства? А у меня против вас – черным по белому... Ха-ха-ха, какой же вы чудак, колоссальный чудак... А я считал вас травленным волком... А теперь я смеюсь над вами...

– Но кто будет смеяться последним?

– Уж не вы ли?

– Хотя бы...

Юнгшиллер как-то сразу вдруг стал серьезен... Смешливые искорки погасли в глазах. Слишком подозрительным казалось ему спокойствие Уроша. Слишком... Не надо, нельзя натягивать струн...

– Пустяки! Естественно же я шучу. Какое же может быть недоверие? Мы – работники общего дела. Эта расписка не имеет никакого значения... Так, для порядка... Вы же понимаете, что я все шутил?

– Ни на миг не сомневался в этом.

«Черт побери, какое дьявольское спокойствие. Неуязвим, и я, кажется, поспешил назвать его чудачком».

– До свидания, господин Юнгшиллер.

– До свидания, дорогой друг. Куда? К ней, к женщине на букву С? Однако вы завялый донжуан, как я вижу...

– Вы угадали, именно к женщине на букву С...

17. За кардинальскую шапку

– Итак, дорогой аббат?..

– Итак, дорогой министр...

– Вы без пяти минут кардинал, если вы окажете нам эту услугу. Именем императора обещаю вам кардинальскую шапку.

И фон Люциус, – это был германский посланник в Стокгольме, – придал своему розовому лицу сорокапятилетнего холостого жуира вдохновенно-строгое выражение.

Алоис Манега, этот кавалерист в монашеской сутане, склонил голову не столько из почтения к имени императора, сколько из желания, чтобы Люциус не увидел, какой радостью блеснули его глаза.

Ах, эта кардинальская шапка, эта давнишняя мечта Алоиса Манеги...

Беседовали они в одной из гостиных палаццо Джустиньяни, среди музейной мебели, тициановских портретов и нежных мраморов Каноны, таких теплых, оживших розовым прозрачным цветом под южным римским солнцем, струившим свои горячие потоки в окна с улицы Четырех Фонтанов.

Обыкновенно в дневные часы вся Италия баррикадируется от яркого солнца решетчатыми деревянными ставнями, сквозь которые проникает свет, но не проникает зной, и в комнатах царит прохлада. Манега умышленно принял стокгольмского посланника в таком ярком освещении. Он хотел изучить до мельчайших подробностей этого дипломата, о котором очень много слышал, но которого видел впервые.

За несколько шагов фон Люциус казался молодым человеком, но при ближайшем рассмотрении помятое, хотя и румяное лицо в гусиных лапках и свинцовая седина густо напояженных волос, разделенных английским пробором, выдавали возраст посланника.

«Лукавая бестия!» – мысленно характеризовал Манега своего собеседника, отдать справедливость, возвращавшего ему этот же самый комплимент.

Весь в тончайшей белой фланели и в белых замшевых туфлях, фон Люциус перестарался, пожалуй, в своем экзотическом щегольстве. Рим одевался во все белое только в мае.

Но фон Люциус умышленно хотел казаться более эксцентричным и легкомысленным, чем это было на самом деле. Перед войной, занимая пост германского посланника в Дураццо, он, словно где-нибудь в Камеруне, носил белый тропический шлем с вуалью и вообще имел сугубо колониальный вид...

Сюда, в Рим, он получил специальную командировку – разнюхать, чем пахнет на берегах Тибра вообще, а в Квиринале и Ватикане в частности. Тем более, что определенно говорилось о назревшем желании Италии выступить заодно с союзниками.

– Идиоты, мандолинчики, как называет их наш кайзер! Чего им надо, чего им надо, мой милый аббат? Мы и так прирезали бы им часть Южного Тироля за их нейтралитет.

Алоис Манега улыбнулся в свои надушенные усы.

– Господин министр, мы с вами авгуры и поэтому будем откровенны. В случае победы срединных империй, победы, в которой я не сомневаюсь, они, я думаю, по-своему осудят предательский нейтралитет Рима, и не только не прирежут ничего, а еще отхватят Венецию и Ломбардию. Здесь это учили и решили выступить...

– Во всяком случае, это безобразие! По милости либеральной конституции здесь властвует чернь. Что же касается правительства, мы с ним всегда сумели бы столкнуться... Но перейдем к нашему личному делу, аббат. Мы накануне крупных, даже решающих событий. Скоро, очень скоро мы отбросим русских из Галиции. Дерутся они великолепно, слов нет, но прекрасные боевые качества русской армии далеко не на одинаковой высоте с ее снабжением амундией, чтобы укреплять ее, насаждается чиновничья политика... И вот, когда мы очистим

Галицию, это будет самый благоприятный момент, чтобы заговорить наконец о мире, который нам необходим. Успехи успехами, но потери громадные и близится экономический кризис. Вот почему необходимо использовать княжну Басакину... Вы в ней уверены?..

– Как в самом себе, господин министр.

– Отлично, помогите нам, и вас ждет кардинальский пурпур. Это очень сложная, щекотливая миссия... Княжна старинного боярского рода, независима, имеет большие связи в Петербурге, и это очень важно... Арканцев, этот влиятельный сановник, приходится ей кузеном... Подготовьте ее...

– Она уже подготовлена...

– Ее нет сейчас дома? Необходимо внушить ей сознание всей патриотичности возлагаемой миссии...

– Внушено, господин министр.

– О, как вы предусмотрительны, аббат. Фрак дипломата был бы, пожалуй, вам больше к лицу, чем монашеская сутана.

– Благодарю за такое лестное мнение, – с легким поклоном ответил Манега, – но, право, я чувствую себя в этой сутане гораздо свободней и легче. Фрак – вывеска, готовый штамп. Сутана же – маска, забрало, дающая большой простор действиям и вводящая в заблуждение простецов. Да и не только простецов...

– Аббат, у вас гибкий, хорошо воспитанный ум, и я рад знакомству с таким интересным человеком...

– Господин министр, я скромный, маленький служитель Бога, очарован вашей любезностью, такой незаслуженной...

– Вы ее заслужите с избытком... Имейте в виду: княжна удостоится секретной аудиенции его императорского величества... Быть может, кайзер окажет ей высокую честь, доверив собственноручное письмо... Быть может... Еще не решено окончательно...

– А где произойдет аудиенция?

– Тоже не решено... – выяснится на днях. Звонок.

– Это она...

– Аббат, вы представите меня княжне?..

– Если вы этого хотите, господин министр, но... я не советовал бы сейчас знакомиться. И даже, по-моему, не надо, чтобы вы хотя мельком увидели друг друга.

– Как угодно, вам лучше знать, – похолодел сразу фон Люциус, этим «вам лучше знать», намекая на отношения аббата к княжне, отношения, которые ни для кого не были секретом и которые политической сплетней докатились и до Стокгольма.

– Извиняюсь, господин министр... На одну минуточку...

Алоис Манега вышел цепкой, крадущейся походкой, по привычке, как дама шлейф, приподнимая длинную сутану.

«Наглец, австрийская каналья! – подумал ему вслед Люциус. – Не видать тебе, как ушей, кардинальской шапки».

Манега вернулся.

– Господин министр...

Другими словами, – теперь можешь убираться ко всем чертям...

– До свидания, дорогой аббат, до скорого свидания... Милости прошу отобедать со мной завтра. Я остановился в Квиринале, отель «Квириналь».

– Польщен, сочту своим приятным долгом...

– Итак, деловая сторона наших переговоров кончена!..

– Почти, господин министр, почти, но не совсем.

– Дорогой аббат, в главном же мы столковались?.. Чего же еще? Время подскажет детали.

– А кардинальский пурпур?..

– Бог мой, но ведь это же я, фон Люциус, обещал вам именем императора.

– Слышал, но, к сожалению, нахожу это недостаточным... В деловых отношениях документ и прежде всего документ.

Люциус пожал плечами, всей своей слобной фигуркой и потасканным розовым лицом изображая оскорбленное недоумение.

– Я отказываюсь вас понимать. Не расписки же вы требуете от меня?..

– Вот именно, господин министр, вы угадали – расписки...

– Но ведь вы же сами понимаете, что такая бумага не может иметь юридического значения. Не будете же вы, если бы вас обманули, требовать судом: «Фон Люциус обещал мне исхлопотать кардинала». Согласитесь, ведь это смешно, дико, нелепо.

– Ничуть! Юридического значения она, конечно, не имеет, но имеет другое – компрометирующее. И если меня проведут, в чем я сомневаюсь, потому что провести Алоиса Манегу трудно, я сумею использовать документ. Как – это уже мое дело...

В словах и выражении глаз аббата фон Люциус почуял угрозу.

«Бандит, настоящий бандит», – мелькнуло у посланника. Он спросил с улыбкой.

– А если расписки не будет?

– Княжна в Петроград не поедет. А другой такой княжны вам не найти...

– Дорогой аббат, но ведь вы же хватаете за горло. Это – бригандаж! Вы пользуетесь вашим влиянием над этой несчастной девушкой... Это уже что-то рабовладельческое, даже хуже, потому что во власти рабовладельца только тело, а вы пользуетесь ее душой...

– Господин министр, мы хотя и впервые видимся, но знаем хорошо друг друга. Ваше гуманитарное красноречие не по адресу...

– Хорошо, хорошо! – отрывисто бросил Люциус, комкая нервно перчатку, – я разработаю текст и завтра, во время обеда...

Манега проводил гостя до площадки лестницы, сдал его ветхому бритому портье в ливрее с широкой серебряной перевязью, а сам поднялся к Барб.

Она сильно похудела. В сравнении с прежней пышной синеокой красавицей это была ее бледная тень. Глаза, обведенные синими кругами, казались громадными. Сколько печали, немного страдания в этих глазах!.. Ужас, один сплошной ужас, и главное – нет сил порвать... Крепко оплел ее своей густой паутиной Алоис Манега.

Он подошел к ней с хищным оскалом зубов... Она успела изучить его: такая улыбка не предвещает хорошего.

– Ну, вот, дитя мое, ваши желания вернуться домой осуществились... На днях вы спешно выезжаете в Петербург.

– Да? – спросила она скорее с испугом, чем радостно.

– Княжна, что с вами?.. Вместо сияния на вашем личике я вижу грусть... Вас так тянуло на родину... В чем же дело?..

– О, если бы я могла бы уехать... так просто... Но ведь у вас, наверное, какие-нибудь поручения, которые меня всю измучат, отравят поездку, вызывая дрожь и презрение к самой себе.

– Сколько страшных слов, и все без толку. Другая на вашем месте гордилась бы политической миссией, выпавшей на ее долю, а вы...

– Я ненавижу политику. Я хочу быть собою, женщиной... Хочу вас любить, и только... И больше мне ничего не надо... Я знаю, что я в ваших руках только орудие, но я-то, слышите, я люблю вас, вернее, люблю мою любовь к вам...

– Так вот, во имя этой любви, я прошу вас, требую беспрекословного повиновения! Имейте в виду, очутившись в Петербурге, вы не ускользнете от моего влияния. Не будет меня, будут другие люди, которым поручено следить за каждым вашим шагом. Они будут вас контролировать, всегда и во всем... В каждый любой момент вы дадите им отчет во всех ваших

поступках и действиях... Вот... вы уже готовы расплакаться... Право, какая-то ходячая губка с водой... Лучше готовьтесь к отъезду, мобилизуйтесь, укладывайте чемоданы, чтобы выехать по первому же сигналу...

Княжна не слышала последних слов. Глубокие, синие глаза смотрели перед собой, видя что-то пугающее, неотвратимое, жуткое... Холодные, безотрадные слезы повисли крупными алмазинками на ее ресницах...

18. «Нови лицо»

Мадам Карнац без колебаний приняла «ультиматум» Елены Матвеевны. Какие же могут быть колебания? Все выгоды на стороне союза с такой могущественной клиенткой.

Правда, Искрицкая тоже клиентка, – дай Бог всякому! Со щедростью опереточной примадонны платит за каждый сеанс, не считая денег. Альфонсинка широко пользуется этим; навязывая всякую парфюмерную дребедень.

– Хорошо, хорошо, – отмахивается артистка, – пришлите со счетом, горничная заплатит...

Веселая щебетунья... Шутит, смеется, звонким, серебряным колокольчиком разливается на весь «институт». Если в духе, – а когда она бывает не в духе? – напевает мягким, грудным голосом арии своих коронных – их много у нее – ролей.

Мадам Карнац восхищается.

– Ви волшебниц! Аншантрис... Пардон, аншантерес... Какой голос, какой божественни голос... Мадам, ви самый красиви женщин на ту Петербур.

И вот, если не самую красивую женщину столицы, то, во всяком случае, одну из красивейших – надо превратить в безобразную.

Альфонсинка говорила человеку с внешностью провинциального фокусника: – Как жаль, что Елена Матвеевн выбираль Искрицки... Он очень хороший для клиентель – Искрицки... А когда он потеряет лицо, мадам Альфонсин потеряет вигодни клиентка...

– Да... – разглаживал бакены Седух, – а вы, собственно, чего бы хотели, матушка моя? И невинность соблудости и капитал приобрести... да... И нажать на поставке, сохранить себе на веки вечные Лихолетьеву, да еще тянуть денежки с обезображенной Искрицкой?.. Губа не дура... да... Аппетит, мое почтение... да...

– Ви глупи, ви есть эмбесиль! Ви мене не понимаит... Я совсем не материальни женщин... У мене очинь культурни душа... у мене есть свой сантиман, я очень жалею Искрицки, такой красиви, такой бель-фам!..

– Будет, будет, матушка, вам бобы разводить! Бобы... да... Вы мне напоминаете палача, отпускающего по адресу своей жертвы всевозможные комплименты, прежде чем затянуть петлю... Петдю... да!..

– Ви сами есть палач, эн буро!..

– Ну, будет, будет этой самой бабьей болтовни... болтовни... да!.. Вы лучше скажите, что именно требуется... да... Я деловой человек. Надо вывести эту красотку из строя совсем, навсегда, или временно... да... понимаете?..

– Понимай, же компран бьен, ме... но я должень спросить директив мадам экселляне...

Директив был: навсегда! Елена Матвеевна, женщина решительная, терпеть не могла никаких полумер. Тем более Хачатуров за последнее время, уже не ограничиваясь только цветочными подношениями, дарил Искрицкой бриллианты.

Лихолетьева торопила Альфонсинку.

– Скорее, слышите! Или я навсегда провалю вашу комбинацию с поставкой.

Это было хорошим ударом кнута. Надо, не теряя минуты, действовать... А Искрицкая сама шла навстречу, ускоряя события.

Впорхнула, как всегда, нарядная, веселая, жизнерадостная и вдруг погасла.

– Что с вам, мадам Искрицки? Ви недовольни? Ви зет меконтант? Чем? Де-куда?..

– Ах, мадам Альфонсин... Уходит молодость... Этот проклятый грим! Как он портит, съедает кожу... Ваши кремы, компрессы, они помогают, освежают, но хотелось бы полного обновления, понимаете... Я слышала, этот ваш помощник...

– О, да! – ухватилась Альфонсинка, – мосье Антонелли, се тен профессор! Он вам деляит завеем, завеем нови лицо... ту-тафе, новий...

– Это больно, опасно? Я так не выношу физической боли...

– Ничуть!.. Дю-ту!.. Мосье Антонелли имеет золоти рук. Это не опасно, ее не па дан-жере! Весь бомонд деляит себе нови лицо. Герцогиня ди Реверто, княгиня Липецки, княгиня Тоодоридзе, графиня Чечени, баронесса Шене фон Шенгауз...

Альфонсинка без конца сыпала громкими именами. Это подействовало на Искрицкую успокаивающе.

– В таком случае рискну...

Надо рискнуть, необходимо! Так жалко, так мучительно жалко расставаться с молодостью! Вне красоты и молодости нет успеха, нет жизни, радости, ничего нет для нее, для которой – тело и красота – все!.. Духовные интересы? Она их допускала в теории, но жить ими и только ими – ни за что!.. Вот почему она с ужасом думала о старости... Ведь наступит же когда-нибудь она... Расползеть, превратиться в комическую старуху и смешить публику своей безобразной толщиной? Лучше самоубийство! Лучше вовремя уйти со сцены, с подмостков не только опереточных, но и житейских...

После того, как она вызывала бурные восторги, появляясь то в античной тунике, в трико, в коротенькой юбочке, в лосинах и ботфортах, в придворном туалете опереточных королев и герцогинь, после веего этого вызывать хохот нелепыми скачками жирной гиппопотамихи? Брр... при одной мысли кидает в холод... И почему они так быстро жиреют, наши примадонны? Почему на западе артистка в пятьдесят лет еще стройна, изящна, пластична и с успехом играет молоденьких? Почему?..

Мадам Карнац представила Искрицкой своего бакенбардиста.

– Мадам, пермете де ву презанте... мосье Антонелли, профессор...

Этот господин с плебейским носом в сизых жилках не внушил особенного доверия артистке. Но, с другой стороны, он «делал лицо» чуть ли не всем стареющим дамам петроградского общества. Карнац уверяла, что его и за границу приглашали на гастроли...

– Мосье Антонелли очинь скромни!

– Я скромный, да... Я не люблю о себе говорить... да, – повторил Седух, так злодейски пронизывая артистку глазами, – любой писарь из главного штаба позавидовал бы...

– Вы знаете, мадам Искрицки... Когда королева саксинки Люиз выходиль за композитер Тезелли, синьор профессор ездиль а Флоранс делять нови лицо, а сон альтес рояль... ее величеств...

Искрицкая, поборов свой страх к физической боли, согласилась. Назначили день первого «сеанса». Мадам Карнац спросила своего друга:

– А что ви думает делять? Он не умирает?..

Седух пожал плечами...

– Зачем умереть... зачем, да... В Константинополе один фанариот меня научил... Он поставлял свою мазь султанским одалискам, одалискам... да... Если которая «из новеньких» понравится султану, понравится... да, ну, старые ханумы начинают интриговать... Сейчас фанариота за бока: давай мазь... Вымажет лицо... все пойдет гнойными струпиями, струпиями, да...

– Ме се террибль! Это ужасни! – всплеснула кротенькими пухлыми руками Альфонсинка.

– А вы что думали, игрушки? Это вам не игрушки, да...

Елена Матвеевна все торопила, торопила... Бакенбардист думал сначала первые два сеанса сделать безвредными, чтобы не запугать сразу Искрицкую, но под властным давлением высокопревосходительной соперницы пришлось, как он сказал, сразу взять быка за рога.

В темной комнате Седух положил ей на лицо кроличью пленку, обильно пропитав ее дьявольской мазью константинопольского фанариота. Часа два лежала артистка, ничего не видя, ослепленная, с трудом переводя дыхание, вернее, дыша только носом...

Вошел Седух.

– Для первого раза довольно будет... довольно... да...

Словно клейкий пластырь едва-едва снял черномазый Калиостро кроличью пленку с лица артистки.

– Больно! Вы мне сдерете всю кожу!

– Ничего, сударыня, потерпите... зато потом будет хорошо... да...

– Но позвольте, я слышала, что пленку оставляют... Она должна срастись с кожей... а вы...

– Сударыня, я знаю, что делаю! – тоном жреца ответил Седух, – это будет после, а сначала надо приучить кожу, приучить, да... Что вы чувствуете?

– Лицо горит все!..

– А как же вы хотите? Погорит и перестанет, перестанет... да...

– А когда прийти в следующий раз?

– В следующий раз я вам скажу по телефону... по телефону... да...

К вечеру все лицо Надежды Фабиановны пылало красными волдырями. Точно его долго и беспощадно хлестали крапивой... Глянула в зеркало – подкосились ноги, холодной жутью застыла вся...

Играть невыносимо. Какой уж тут грим! Легчайшее прикосновение вызывает адскую боль кожи. Бросилась к телефону.

– Аллю! На телефон мадам Карнац...

– Послушайте, вы... ваш Антоннели негодяй! Он мне испортил лицо... Я упеку его, мерзавца, в тюрьму... Что он сделал со мной?

– Не может быть! Энпосибль!..

– Не болтайте глупостей... Говорю, значит, так! Пускай немедленно приезжает ко мне, посмотрит... Что-нибудь сделает...

– Синьор Антонелли уехал Гатчину к одна очень важни клиентка. Он там ночеваль...

– О, будьте же вы прокляты оба... Искрицкая с размаху повесила трубку.

Она плакала слезами бешенства, ломая руки, грызя и кромсая зубами тоненький, обшитый кружевами, батистовый платок.

Позвонила в театр.

– Больна, приехать не могу!

Дирекция, браня на чем свет стоит Искрицкую, спешно заменила ее Тумановой.

Ночь прошла мучительно, в огне, без сна и покоя. Искрицкая поминутно смотрела в лежавшее у изголовья ручное овальное зеркальце. И всякий раз смутная надежда... пройдет, проходит... Но, увы, ничуть. Наоборот, все хуже и хуже... К утру лицо являло собой вздувшийся сплошной струп. От прежнего остались одни глаза, да и теперь они – чужие, сумасшедшие, дикие.

Вызвала по телефону Корещенку. Приехал тотчас же. Горничная провела его в спальню. В уютное гнездышко наслаждений, с широкой кроватью под балдахином, с белой медвежьей шкурой. На этой кровати лежало все еще прекрасное тело, но с безобразным пугающим лицом.

– Что с тобою, Надя?..

– Не смотри, не подходи!.. Я с ума сойду... Я покончу с собой...

И, хрустя пальцами, скрипя зубами, она извивалась под стеганым атласным одеялом, колотясь головой о резную спинку красного дерева с двумя точеными амурами.

– Что с тобой?

– Что со мной? Я – урод, Квазимодо, Юлия Пастрана... У меня теперь не лицо, а кошмар. Бога ради, доктора... Привези мне самого лучшего доктора... Он должен спасти меня... Ты уйдешь, убежишь, ты мужчина, как все, тебе нужна красота... Бее вы звери!..

– Надя, успокойся, я никуда не уйду, и что бы ни случилось, ты для меня останешься прежней. Я буду тебя...

– Будешь меня любить? Будешь ласкать меня, закрыв мое лицо платком... Так поступают с девицами, которых берут, но которых не целуют из брезгливости... Так будешь меня любить? Так?! – взвизгивая, выкрикивала Надежда Фабиановна.

– Надя, ты не в своем уме... Это безумие...

Но Искрицкая не слушала его. Колотя себя кулаками по голове, кусая до крови губы, визжа, смеясь и плача, билась она в жесточайшей истерике...

Он боялся подойти к ней, растерянный, цепенеющий. Ему казалось, что он сам теряет волю и рассудок, всего себя...

19. Латышская Диана

Итак, Вера после неудачной попытки своей бежать снова узница. Теперь уже настоящая узница. Никаких прогулок, льгот, послаблений. У дверей каземата Шписс установил дежурство сменяющих друг друга конюхов. Совсем как в тюрьме!

Труда лишь урывками навевалась к бедной «балисне», да и то лишь потому, что «часовые», сплошь все влюбленные, увы, безнадежно в монументальную горничную, всячески мирволили ей, глядя сквозь пальцы на дружбу ее с заключенной.

Мяконький, сметливый и пухлый Шписс наказал с примерной суровостью арендатора корчмы, дерзнувшего везти беглянку в Гольдинген. Шписс просто-напросто выгнал его среди зимы под открытое небо, выгнал со всей семьей. И потянулся караван скорба, караван из двух саней, нагруженных всякой домашней рухлядью, с застывшими фигурами старухи-матери, жены, детей и самого латыша, печально дымившего трубочкой. И в том, как бритый, пожилой человек сжимал зубами трубку и, причмокивая, дымил ею, в этом была какая-то глубокая, глубокая покорность судьбе.

Выгнали, как собаку выгнали! Что же! Пусть! Пока он здоров, не умрет с голоду, сумеет прокормить семью... Латыш Павел Габерфельд, несмотря на инквизиторский допрос, учиненный ему Шписсом, обещавшим забвение и прощение, если корчмарь назовет своих сообщников, ни словом, ни звуком не выдал горничной с ее глухонемым кузенком. Так Шписс и отъехал ни с чем.

– Ладно, упрямая чухонская скотина! Хочешь держать язык за зубами – держи, только тебе это вылезет боком!

Но странное дело, у Габерфельда не было такой острой ненависти к Шписсу, как к Бредериху. Вот против кого накопело! О, если бы судьба свела его на узенькой дорожке с курмаленским помещиком, он, Павел Габерфельд, сумел бы рассчитаться! Он припомнил бы эти удары камышовым стеклом, что посыпались на его терпеливую многострадальную латышскую спину...

Двое напряженно думали о Сильвио Бредерихе. Оба с ненавистью, но каждый по-своему. Это Павел Габерфельд, державший свой путь на Тукум, и Вера, томившаяся за решетками лаприкенского подвала.

Ею, по натуре доброй и мягкой, овладевала черная злоба при воспоминании, – она сама вызывала эту картину, бичуясь ею, – как по, милости нелепого, непредвиденного случая рухнули все мечты о свободе.

Молочно-туманным утром сосавший трубочку Габерфельд вез Веру в Гольдинген. Тележку подкидывало на камнях, оголенных от снега всю ночь озорничавшим ветром.

Латыш знал несколько русских слов. Тыча кнутом по направлению подошедших к дороге мыз, он пояснял:

– Немец-колонист! – и каждый раз сплевывал компактным, далеко падавшим плевком.

Ехали час, ехали два. Вот уже впереди колокольни и крыши Гольдингена. Видит Вера, навстречу им всадник с огненной бородой. И лошадь, и всадник в шляпе с пером – откормленные, крупные...

Латыш узнал.

– Курмаленский помесик Бредерих...

Да, это был Сильвио фон Бредерих, ненавидимый окрестными латышами за свою жестокость.

Загородил дорогу и поднял толстый камышовый стек:

– Хальт!.. Швайн!

Возница скрипнул зубами, задергал на себя вожжи.

– Кто? – спросил Бредерих.

Беглянка затаилась, помертвевшая.

Бредерих повторил свой окрик. Затряслась огненная борода...

А дальше, дальше унижительное возвращение... И теперь под бдительным присмотром, за семью замками, теперь, нет надежды вырваться из этого проклятого немецкого застенка.

Уже ранняя весна. Баронский сад так и дышит весь чем-то густым, кружащим голову. Здесь и запах сырой земли, вздувшейся, влажной в своем прекрасном материнстве, и что-то еще, какие-то весенние смутные зовы...

Ах, эти зовы!

И никогда, никогда еще так не чувствовала она себя женщиной, как сидя в четырех стенах каземата своего в эти весенние дни. Ей хотелось ласкать, хотелось ответных объятий, и все думы и помыслы, все желания, острые, как боль, как ускользящее наслаждение, все это мчалось, летело на тысячах трепетных крыльев к нему, к Дмитрию.

– Где он?

И она думала о нем все дни и все ночи напролет, думала, комкая и царапая подушку, теплую, смоченную, слезами...

Если б дать ему восточку! Несколько слов... Где, что с ним? Как... До чего она смертельно стосковалась!..

Одна Труда могла бы помочь, но грех подвергать опасности эту добрую девушку. Она и так на большом подозрении у Шписса. И если бы он меньше боялся этой «героической» латышки, бронированной как в панцирь в свое суровое целомудрие, он выгнал бы ее. Но попробуй выгнать! Шписс разве в самом крайнем случае отважился бы на такую меру!..

Он, циник, пошляк, немчура, смотревший на латышей как на скотов, он питал к Труде какой-то суеверный страх. Ему казалось, что это лесная дриада, одна из тех могучих и сильных дриад, населяющих густые леса Латвии, что перевоплощаются в каких угодно женщин, и в знатных баронесс, и в простых служанок, и как те, так и другие могут задушить любого самого крепкого мужчину...

Эта весна была двадцать первой в жизни Труды. При всем своем аскетизме, – аскетизм потому, что она с какой-то особенной враждебностью относилась к мужчинам, – Труда не могла, а может быть, и не хотела, наконец, устала бороться, заглушать в себе властный голос природы в эту двадцать первую весну, с чрезмерной настойчивостью звавшей ее к тем радостям, которые она отталкивала от себя...

На ее белом, свежем и всегда чистом лице вскочили кое-где предательские улики девичьих томлений – прыщички.

Вера заметила это, да и нельзя не заметить, а в одиночестве наблюдательность особенно изощряется...

Труда забежала к ней под предлогом уборки, а на самом деле перекинуться словечком-другим.

– Труда, у вас есть жених?

– Нет, балисня, у меня нет никакой сених...

– Но вы любите кого-нибудь?

– Папасу любила, вас люблю.

– Нет, я не об этом, я о другой любви. Нравился ли вам какой-нибудь мужчина? Хотелось ли вам прижаться к нему, чтобы он вас целовал крепко-крепко... Вас целовали, Труда?

– Нет, балисня, меня так никто не селовал! – вздохнула монументальная дева Латвии и вместе с этим вздохом всколыхнулась могучая грудь. Тихо, тихо заалела Труда горячей краской. Даже лоб и шея покраснели.

Сконфузившись, что-то пробормотав, Труда поспешила уйти.

А в кабинете Шписса сидел приехавший из Либавы брюнет, высокий, узкоплечий, с бледно-матовым лицом и черной ассирийской бородой. Он привез собственноручное письмо Юнгшиллера, где король портных, этот рыцарь круглой башни, приказывал господину Шписсу немедленно же отпустить Забугину «с подателем сего».

Шписс не раз получал от Юнгшиллера такие строго начальнические и сжато-лаконические письма. Он пробежал еще и еще знакомые, готическим шрифтом выведенные строки. Да, да, почерк Юнгшиллера, какие же могут быть сомнения? Кроме того, высокий брюнет, хорошо воспитанный, с манерами отменной плавности, изысканно одетый, внушает доверие.

Но береженого Бог бережет.

– Все-таки не запросить ли мне господина Юнгшиллера телеграммой? Вы понимаете, для большей, так сказать, гарантии. За эту девчонку я очень, очень серьезно могу ответить.

Счастливый обладатель чудесной ассирийской бороды пожал плечами с любезно-снисходительной улыбкой.

– Как вам будет угодно, как вам будет угодно... Может быть, со своей точки зрения, вы изволите правильно рассуждать... Но, во-первых, в интересах самого же господина Юнгшиллера возможно скорее доставить беглянку.

– В Петербург? – подхватил Шписс.

– О, нет! Совсем, совсем в другое место! Куда именно, я не вправе сказать, к сожалению... А во-вторых, теперь военное время, кто же не знает, как идут телеграммы? Трое суток один конец, трое – обратный. Это – при самых благоприятных условиях шесть дней... А через шесть дней наша пленница будет...

– Капут? – весело полюбопытствовал Шписс, сделав характерное движение ребром ладони по собственному горлу.

– Нет ничего невозможного... – уклонился гость от прямого ответа.

«Однако у этого красавца немного выпытаешь», – с досадой мелькнуло у Шписса. Он спросил:

– Прикажете поставить ее в известность?

«Ассириец» кокетливо сощурился, что-то соображая...

Кинул отрывисто:

– Нет! Не надо, пусть до самого последнего момента ничего, не знает. И никому ни слова...

– Когда вы намерены отбыть?

– Часа через два, приблизительно. А теперь мне хотелось бы отдохнуть, привести себя в порядок, заняться туалетом...

– Сделайте одолжение... К вашим услугам любая комната в замке... Сделайте одолжение... К вашим услугам.

Шписс провел «ассирийца» в ту самую комнату для гостей, где больше недели кеффовал на сытых баронских харчах Генрих Альбертович Дегеррарди.

И, как тогда, явилась монументальная горничная с кувшином воды.

– Как вас зовут, мой дружок?

– Труда.

– Труда? Это, не правда ли, от Гертруды? Гертруда! Что-то массивное в созвучии и так гармонирует со всем вашим величественным обликом...

Узкими ассирийскими глазами гость слишком пристально смотрел на девушку.

Ожог, а не взгляд! Труда вспыхнула, горячая золна прокатилась по всему телу. Ходуном заходила могучая грудь, так ей тесно вдруг стало под кофточкой.

«Дитя природы, кажется, совсем неискушенное в любви, – подумал „ассириец“, – надо ее просветить!...»

Близость молодой и сильной женщины волновала его, значительно, таким образом, облегчая «просветительную» миссию.

Он молвил чужим, сдавленным голосом:

– Дружок, вода холодная?

– Осень холодная, клусевая... – Труда сама не узнала своего голоса.

– Вы мне поможете умыться... но это немного погодя... поставьте кувшин... Вам тяжело... вот так... а теперь... теперь дайте взглянуть на вас... Какая вы гордая! Я представляю себе такой латышскую Диану... Я хочу быть вашим Эндимионом...

Труда ничего не поняла, да если бы и поняла, ничего не расслышала бы. Туман в глазах, туман в голове, шибко-шибко ударяют в виски горячие, горячие молоточки...

– Ты конфузишься, моя лесная Диана... Дай мне твои губы... не сжимай их... открой...

И, расставив ноги, – он был значительно выше Труды, – «ассириец» влип в ее послушно раскрытые губы своими. И чтобы рот девушки не ускользнул от него, он крепко стиснул ее затылок. Но Труда и не думала о сопротивлении. Этот смугло-матовый «ассириец» разбудил наконец большое, здоровое, так долго дремавшее тело... И она пошла навстречу восторгам с их властно зовущими голосами весны...

А предприимчивый Эндимион уже расстегивал свободной рукой кофточку, и твердая белая грудь латышской Дианы ослепила его, и он перенес на нее свои жадные поцелуи...

20. Посрамленный Калиостро

В несчастье своем Искрицкая убедилась, что Корещенко любит ее сильным чувством.

В истерическом исступлении она кричала ему:

– Ты бросишь меня! Бросишь! Зачем я тебе, урод, страшилище? Побежишь к другой бабе!

Кричала еще и еще, больное, циничное, дикое.

Но Корещенко никуда не ушел. Наоборот, оставался при ней безотлучно. Даже забросил свою мастерскую. Единственное желание овладело им – спасти Искрицкую, спасти какой угодно ценой.

Все медицинские светила столицы перебивали у ее изголовья. Корещенко платил бешеные гонорары, заклиная вылечить Надежду Фабиановну.

Светила совещались, недоуменно покачивая головами.

Это первый случай в их практике.

Кожа лица отравлена каким-то неизвестным ядовитым веществом. Пока этот яд не проник глубже, спасти больную есть еще надежда.

– Спасите ее, спасите! – ломал в отчаянии руки молодой инженер.

Кругленькие гонорары действовали на профессоров и врачей вдохновляющим образом. Они напрягали все свои знания, все, чему их учили и чему они сами учили других, чтобы побороть неизвестное ядовитое вещество, остановить его разрушительную, ужасную работу.

Больших усилий стоило Корещенке допроситься от невменяемой – сделаешься невменяемой! – Надежды Фабиановны, как, почему и откуда пришел весь этот кошмар. Она долго бранила его, капризничала, выгоняя «ко всем чертям», предлагая идти к другим женщинам, красивым, не таким уродам, как она: он легко сумеет купить их... Но, в конце концов, из нескольких бессвязных, отрывистых фраз инженер узнал истину.

Она никогда не говорила своих настоящих лет. Никому не говорила. Какая же хорошенькая, кокетливая женщина, уже на четвертом десятке рискнет самому лучшему другу открыть свой возраст? В особенности молодому – значительно моложе себя – любовнику. Ну, вот и она то же самое... Годы уходят, фигура, тело остаются еще прекрасными, свежими, а лицо, лицо, начинает увядать. И она решилась... Там, на Конюшенной... Она пошла к нему, к этому волшебнику. Он всем возвращает молодость, всем, а ее – будь он проклят! – обезобразил навеки.

Бешенство овладело Корещенкой. Он бросился к знаменитому адвокату.

– Как вы думаете, можно привлечь этого мерзавца?

– Сомневаюсь! Ничего не выйдет... Будь это врач – другое дело, а это темный проходец, шарлатанствующий Калиостро. К нему идут на свой риск и страх. На суде он может сказать: «Я предупреждаю всех, что мой способ лечения не безопасен». Вы понимаете, дорогой Владимир Васильевич, это уже потустороннее нечто. Здесь нет ни врачебной этики, ни наказуемости, ничего... Разумеется, его можно было бы выслать административным порядком, но у него слишком большие заручки и связи.

– Хорошо... Теперь я знаю, что мне дслать!..

Корещенко заехал к «Александрю», купил хлыст из бычачьих жил, просмоленный канифолью, и, спрятав его под пальто, махнул на Конюшенную.

В «конторе» мадам Альфонсин вместо Забугиной сидела уже другая барышня.

– Что вам угодно, месье?

– Я хочу поговорить по делу с господином Антонелли.

– С господином Антонелли? Я сейчас доложу мадам Карнац... Она заведует всем.

Через минуту выкатился шарик в бархатном платье.

– Мосье, дезир? Что ви желайт? Профессер Антонелли? А, ваши знакоми дам хочет делять нови лицо? Я вас прошу в гостини... Садитесь, прене пляс, я сейчас зовут профессор Антонелли.

Шарик выкатился из гостиной куда-то в глубину квартиры.

Корещенко осмотрелся. Эта мягкая мебель, широкая, удобная... Эти глухие, непроницаемые драпировки – все это напоминало дом свиданий.

Он слышал, уже не раз слышал об этом, именно об этом самом заведении.

– Сударь, я к вашим услугам, к вашим услугам... Да...

Крашенные черные баки, нос картошкой, в сизых жилках. Владимир Васильевич с первого же взгляда возненавидел этот нос.

– Послушайте, вы, как там вас, что вы сделали с госпожой Искрицкой?

– С госпожой Искрицкой? – сразу переменялся в лице Седух. – Я... ничего не сделал... ничего, да, она хотела иметь новое лицо, новое лицо, да, и вот после первого сеанса не явилась... не явилась, да...

Нижняя челюсть синьора Антонелли дрожала вместе с баками.

– А вы знаете, почему она не явилась? Знаете ли вы, что теперь у нее вместо лица сплошной гноящийся струп? Знаешь ли ты, мерзавец? – наступал Корещенко на петербургского Калиостро, возвращающего молодость. Калиостро попятился.

– Это, это что же, я не знаю, не виноват, да... Я человек науки, науки, бывают ошибки, ошибки, да... Это что же... насил...

Синьор Антонелли вдруг осекся, схватившись за лицо. Хлыст обжег ему лоб и щеку, оставив кровавую борозду.

– Караул, убивают! – заметался Седух, пряча пострадавший свой лик.

За первым ударом посылались еще и еще. Озверевший Владимир Васильевич, закусив губы, хлестал его по чему придется, ло спине, по затылку, по плечам, по голваа.

На это избиение выскочила мадам Карнац. Сначала обмершая соляным столбом, затем трагически всплеснувшая руками.

– О, майн Готт! Дебош в мой мэзон! Кель скандаль! Ви паляч! За что ви истязует профессор? Ви есть брютальни человек!

«Брютальни человек» почувствовал такое омерзение и ко всей этой сцене, и к Седуху, и к самому себе... Вслед за встряской взбунтовавшихся нервов наступила реакция. Он швырнул хлыст и бледный, в красных пятнах, с холодными росинками на лбу опустился изнемогший в кресло. Мадам Альфонсин, с опаской озираясь на него, вытолкнула профессора в соседнюю комнату.

Если бы Корещенко был в состоянии понимать и слышать, он услышал бы:

– Это вы, черт вас дери, во всем виноваты, виноваты, да... За что, за что, спрашивается, исполосовал он мне всю морду?

– Мольчить, негодни человек, мольчить!

– Ты молчи, дрянь, стерва, паскуда, гадина, гадина, да! Я через тебя теперь буду ходить месяц с узорами на физиономии, да! Не покажусь людям... убытки. Говорил, не надо! Подлюга жаднющая!

– Мольчить, я вас виноняю завсем из мой мэзон, я зовуть дворник, полицей.

– Зови, анафема, зови на свою же голову. Зови полицию. Я ей такого против тебя наскажу, в Сибирь угодишь. Зови, да!..

– Ну, будет, руих! Кальме-ву! Спокойтесь. Я немножко горячился. Карашо, не надо полицай, не надо полис, – поправила мадам Карнац.

Милые бранятся, только тешатся. И часа не прошло, забыты полные ушаты взаимных оскорблений. Почтенная парочка уже мирно беседует между собой. Мадам Карнац заботливо прикладывает холодные компрессы к исполосованной физиономии своего друга.

От этих компрессов линяют бакены, краска мутными струйками сбегает на манишку «профессора».

Он тихо стонет, больше интересничая, чем страдая, и, благодарный, время от времени целует пухлые веснушчатые руки Альфонсинки с короткими пальцами-сосисками.

В театральном мире, да и не только в одном театральном, весь город, несмотря на захваченность войной, весь, от великосветских салонов и кончая кофейнями, повторял на все лады о том, как опереточная примадонна Искрицкая из очаровательной женщины превратилась в пугающего своим видом урода и как друг ее, инженер-богач Корещенко, избил профессора Антонелли.

Все это попало на столбцы газет, лакомых до сенсаций. Имена трепались вовсю!

Корещенко никому не говорил о расправе своей с бакенбардистом, однако вся эта сцена воспроизведена была до мельчайших подробностей в газетах. Буквально с кинематографической точностью. Горничная-свидетельница, наблюдавшая посрамление чернобородого Калиостро под прикрытием соседней портьеры, выложила все, как на духу, представителю швейцару. А швейцар был на жалованье у одного из бойких и шустрых газетных сотрудников, давно профессионально заинтересованного заведением мадам Карнац и всем, что в нем совершается и происходит.

Швейцар давно имел зуб против скупого, синьора Антонелли и, конечно, самыми яркими красками расписал мамаево побоище, жертвою которого был «профессор».

Мадам Карнац уже начинала раскаиваться. Не отразится ли дурно вся эта громкая шумиха на репутации ее «института»? Но опасения оказались, напрасными. Скандал вместо вреда принес пользу. Широкая огласка превратилась в бесплатную рекламу заведению.

Появились новые клиентки, жаждавшие иметь «новое лицо». Седух скрежетал зубами от бешенства. Приходилось отказывать, пока не заживут на лице вздувшиеся багровые полосы.

Мадам Карнац говорила:

– Мосье ле профессор сейчас нет на Петербург... Иль эпарти, он уехал на Москву. Уехал делять нови лицо один очень высокий дам. Он скоро вернется, очинь скоро. Иль ревьендра бьенто.

– Хорошо, мы подождем, – покорно соглашались увядшие дамы, жаждавшие обновления.

– Мы подождем!

А в соседней комнате «профессор», сжимая кулаки, бранился сквозь зубы.

21. Консул республики Никарагуа и его армия

Армянский крез Аршак Давыдович Хачатуров, так упорно добивавшийся взаимности Искрицкой, засыпавший ее целыми цветочными оргиями и в конце концов перешедший на бриллианты, узнав о постигшем ее несчастье, охладел сразу. Все увлечение как рукой сняло.

Даже из приличия, обыкновенного человеческого приличия не заехал он справиться о здоровье, забросить карточку. Елена Матвеевна действовала наверняка, слишком хорошо зная ничтожную душонку своего поклонника и такую же ничтожную психологию этой душонки.

Нет блеска, оваций, огней рампы. Нет красоты, модного имени, – стоит ли церемониться? Неделю назад он, как милости, добивался одного взгляда только, а теперь, теперь круто, похамски повернул спину.

Несколько иначе отнесся к своей «платонической содержанке» Мисаил Григорьевич Железноградов. Как деловой человек отнесся. Логически рассуждая – ее роль кончена. Больше не будет служить ему вывеской. Больше не будут о них говорить. Но следует проститься по хорошему и, самое главное, «ликвидировать взаимоотношения».

Он еще должен ей за две недели тысячу пятьсот рублей. Мисаил Григорьевич отослал их Искрицкой с препроводительным письмом.

«Глубокоуважаемая Надежда Фабиановна!

С душевным прискорбием сочувствую постигшей вас неприятности. Желаю выздоровления, если таковое наступит. Вы сами понимаете, что теперь я не могу пролонгировать наши взаимоотношения. Прилагаю при сем причитающиеся с меня тысячу пятьсот рублей и остаюсь готовый к услугам.

*Генеральный консул республики Никарагуа в Петрограде
Мисаил Железноградов».*

Банкир прочел это письмо жене, Обрыдленке, похвалил себя за красоту стиля и за свое джентльменство.

– Так поступил бы на моем месте каждый порядочный человек нашего круга!

– Теперь придется искать новую содержанку, – заметила Сильфида Аполлоновна.

– Душа моя, было бы только золото, а черти найдутся! – пожал плечами банкир.

Обрыдленко сvez по адресу это письмо «со вложением».

– Не забудьте же: в собственные руки!

– А если она не примет? В таком положении?

– В собственные руки! – повторил Мисаил Григорьевич тоном не терпящего возражения кумира и баловня судьбы. Чем триумфальней и ярче разгоралась его звезда, тем непогрешимей становился этот господин с животиком, скрипучим голосом и беспокойно бегающими глазами.

Он любил повторять:

– Мое слово закон! Раз я сказал... Я не могу ошибаться.

Над особняком Железноградова взвился флаг – экзотический, неслыханный, не виданный здесь никогда на берегах Невы, флаг далекой, почти сказочной южноамериканской республики.

На всевозможных открытиях, на выставках, освещенных лазаретов, на больших публичных обедах, на парадных молебствиях, везде и всюду появлялся Мисаил Григорьевич в полном консульском мундире.

Этот мундир – плод творческой фантазии. Академик, стяжавший давно славу модного портретиста богато-буржуазных кругов, писал портрет Сильфиды Аполлоновны. Он изобразил ее на громадном холсте во всем великолепии дорогого туалета, с спускающейся с плеча собольей накидкой и в переливающим всеми цветами радуги «потемкинском» султানে.

На ступеньках мраморной лестницы, среди белых колонн мадам Железноградова всем величественным видом своим являла нечто между индейским божеством и коронованной особой.

Тем, кто видел портрет, – а видели его все знакомые, – внушалось:

– Так написал покойную английскую королеву Викторию знаменитый Каролюс-Нюран. Да, да, знаменитый Каролюс! Он получил за этот портрет сто тысяч франков. Ну, а мы с Мисаилом заплатили академику Балабанову сущие пустяки – всего десять тысяч рублей!

Балабанов получил от Мисаила Григорьевича новый заказ.

– Сделайте мне акварельный эскиз моей новой формы... А потом вы напишете с меня во весь рост большой портрет в этой же самой форме. Два портрета! Один для моего дворца, другой я повешу в своем банке.

Художник, предвкушая новые пачки шелестящих бумажек, потирал от удовольствия руки... Только вот как относительно формы?

– Какой же имеется у вас, Мисаил Григорьевич, материал для эскиза? Надо хоть приблизительно знать покрой, шитье, колер?

– Академикус, вы чудак! – весело рассыпался скрипучим смешком банкир, – ей-Богу, чудак! Я сам ничего не знаю! Валяйте, как осенит вас вдохновение! Только чтобы красиво, эффектно! Побольше золота, красного побольше!

– Разве, Мисаил Григорьевич, вот что, – соображал Балабанов, – не взять ли нам в виде прототипа большой сенаторский мундир, там тоже много золота, много красного.

– Валяйте! Валяйте! Но все же с некоторым уклоном. Переставляйте, перекраивайте! Вот-вот, перекраивайте, хотя вы и не портной, а знаменитый академикус.

Балабанов постарался. Эскиз вышел на славу. Довольный Мисаил Григорьевич покровительственно хлопнул художника по плечу. Для этого пришлось приподняться на цыпочки. Балабанов был человек громадного роста.

– Молодец, академикус! Молодец!

С эскизом Железноградов помчался к своему приятелю Юнгшиллеру в его круглую башню.

– Колоссаль! Пирамида! – воскликнул Юнгшиллер, бегло взглянув на эскиз.

– А правда, чертовски эффектно. Мой академикус хоть куда! На все руки! Так вы теперь меня одевайте, нельзя ли вызвать сейчас закройщика?

Явился закройщик, степенный, седой в очках немец. Мисаил Григорьевич хлопнул его по плечу.

– Ну, Ваня, постарайся! Будет на чай радужная бумажка!

И вот повсюду назойливо, ослепительно, до боли в глазах, суетно, суетно замелькала фигурка, словно сбежавшая с опереточных подмостков. Треуголка с громадной золотой кокардой и таким плюмажем, который, наверное, никогда никому и не снился. «Почти» сенаторский мундир, отягощенный золотом, весил двадцать два фунта. «Продолжение» менялось «консулом» в зависимости от той или другой степени парадности. В наиболее торжественных случаях – короткие белые панталоны, телесного цвета чулки, туго обтягивающие банкирские икры, и легонькие туфли. Менее пышным продолжением были суконные фисташкового цвета на выпуск панталоны с тройным широким лампасом и лакированные ботинки с маленькими серебряными шталмейстерскими шпорами.

– Хорошо бы еще иногда появляться в ботфортах с раструбами? – фантазировал Железноградов.

Но ботфорты с раструбами Юнгшиллер забраковал.

– Не надо... Зачем? Будут, пожалуй, смеяться.

– Пускай смеются! Мне что? Наплевать. Разве от этого уменьшатся мои миллионы? Я плюю на всех с аэроплана! Я издеваюсь над всеми!

– А все-таки не надо. И так форма очень красивая, декоративная. Я заметил, с какой завистью смотрел на вас в Казанском соборе бразильский посланник.

– Разве заметили? – оживился консул-банкир. А другие заметили? Это хорошо. Пускай завидуют! Во всем дипломатическом корпусе никто не может похвастаться таким мундиром! Я теперь член дипломатического корпуса! Меня будут приглашать на обеды в посольствах и миссиях. Воображаю, как лопнет от зависти этот Исерлис!

Да и не только один Исерлис! Как у всякого выдающегося человека, у меня много недоброжелателей и врагов. Но подождите, скоро, очень скоро придет время, когда они будут лизать мои пятки, а я буду издеваться над всеми, как издеваюсь уже давно! Что про меня пишут в газетах всякий вздор, – повторяю, плевать с аэроплана! Пожелаю, будет собственная газета и, если хотите знать, уже есть! Эти самые, которые смотрели на меня свысока, считая меня каким-то проходимцем, без роду без племени, хотя, как я уже вам докладывал, мы сербского происхождения, вы не любите сербов, а я люблю, и фамилия наша была Железновац... Повторяю, те самые лизут мне руки, искательно смотрят в глаза и живут подачками, которые я им вышвыриваю. Э, да что говорить! – махнул рукой Мисаил Григорьевич. – Давайте лучше о делах.

– О делах? Извольте! Кстати, есть очень крупное, я имел вас в виду, и не заговори вы сами...

– Я уже заинтригован! При слове «дело» я, точно старая кавалерийская лошадь при звуке трубных сигналов, поднимаю хвост... Ну, ну?

Взгляды их встретились. Юнгшиллер покосился на дверь «башни», улыбнулся плутовато и молвил тихо:

– Вот что, дорогой господин Железноградов... Нужно колоссальное количество – если можно, миллион пудов – стали.

– Кому нужно?

– Одной нейтральной державе.

– Нельзя ли точнее, милый Юнгшиллер?

– Хотите точнее, извольте – Швеции!

– Такая маленькая страна и так много требует стали! Удивительная прозорливость!

Однако факт остается фактом. Мисаил Григорьевич прищурился.

– Вы держите меня, кажется, за большого дурака! Послушайте, ведь мы же авгуры, зачем нам друг перед другом закрываться фиговым листочком? Швеция так Швеция! Какое мне дело? Важно заработать на этой комбинации кругленькие пети-мети, – сделал Мисаил Григорьевич характерное движение пальцами. – Это все?

– Нет, не все.

– Швеция еще в чем-нибудь нуждается?

– Вы угадали! Ей надо около двухсот тысяч лошадей. Сюда приехали оттуда ливеранты от военного министерства. Предлагают по восьмисот рублей за голову, а так как среднюю ремонтную лошадь мы сумели бы получить за триста рублей, таким образом, полтысячи наживаем на каждой голове... Это не плохо!

– Это совсем-таки не плохо! – поспешил согласиться Железноградов. – Но только вот что странно... Я человек глубоко штатский и в военном деле ничего не понимаю... Но разве в Швеции такое большое число кавалерии?

– Несколько дивизий, и потом Швеция, кажется, мобилизуется.

– А не кажется ли вам, господин Юнгшиллер, что Германия потеряла почти всю свою кавалерию на западном фронте?

– Разве потеряла? – неестественно удивился Юнгшиллер.

– Вот вам и разве... Но не будем ходить вокруг да около... Деньги не пахнут... Ближе к делу: вся эта комбинация – и сталь и лошади – пахнет несколькими свежими миллиончи-

ками... Ни вы, ни я не настолько наивны, чтобы пропустить их между пальцев... Не откладывая, займусь этим и отдам приказ по армии своих агентов. Необходимое количество или почти необходимое того и другого мы добудем.

– Не сомневаюсь! Тем более я так верю в наш изобретательный и финансовый гений, господин Железноградов. Но самое главное – получить разрешение на вывоз.

Мисаил Григорьевич улыбнулся с презрительно-самоуверенным видом, пожав плечами.

– Ничего не может быть легче: мы все это обтяпаем через Елену Матвеевну.

– Ну, конечно же, конечно! Я совсем упустил из виду нашу благотельницу.

– Итак, мы начинаем! – фальшиво пропел Мисаил Григорьевич.

Многочисленная армия модного всевластного банкира зашевелилась, проявляя особенно кипучую нервную деятельность.

Всех этих господ коммивояжерского типа выбросило недавно каким-то стихийным приливом. Это была накипь войны, вернее, накипь тыла.

Она существовала и раньше, но не кидалась в глаза, прозябающая в темном мизере, голодная, обтрепанная, небритая, в заношенном белье...

Эти мелкие биржевые зайцы, ничтожные комиссионеры, безвестные проходимцы собирались в кофейнях, на Невском перед банками, маячили под внушительными портиками биржи. Они ездили в трамваях, норовя не платить за билет, хвастаясь, что делают это из принципа, что это для них род спорта.

Грянула война, и какая разительная перемена декораций и грима! Воспрянула голодная проходимческая шушера. Откуда только что набралось! Милостивые государи коммивояжерского типа стали торговать солдатскими шинелями, бензином, полушубками, йодом, железом, мукой, сахаром – всем, что идет на потребу чудовищному хозяйству многомиллионных армий.

Наживались громадные деньги. Наживались на том, что Икс познакомил Игрека с Зетом, свел их в кабаке.

Дорогие рестораны с тепличными пальмами, метрдотелями, напоминавшими дипломатов и министров, стали арендой деятельности этих «новых людей», вчера еще бегавших по кофейням и терпеливо дежуривших в дождь у банковских подъездов.

Новые люди проснулись богачами, которые могут швырять сотни и тысячи. Это сознание опьяняло их.

Повсюду – к «Медведю», «Контану», «Кюба», «Донону», где прежде собиралась изысканная, внешне во всяком случае, публика, этот новый чумазый, туго набивший в несколько часов свой бумажник, принес и свое собственное хамство, привел своих женщин, вульгарных, крикливых, не умеющих есть, богато, с вопиющей безвкусицей одетых и с крупными бриллиантами в невымытых ушах...

Сами чумазые успели приодеться у лучших портных. Но платье сидело на них, как на холуях, и духи, купленные в «Жокей-клубе», не могли заглушить годами впитывавшийся запах грязных, трущобных мебелишек, где в тесной комнатке рядом с кроватью-логовом плавали в мыльной воде желтые окурки дешевых папирос...

Новые люди, вызывая откровенно презрительные улыбки у всегда таких непроницаемых «каменных» метрдотелей, кромсали рыбу ножом, засовывая себе в рот чуть ли не половину острого лезвия.

Год назад они робко жались в передних этих ресторанов, вытребованные сюда спешно каким-нибудь зайцем покрупнее. А теперь они сами здесь «господа» и с непривычки, не зная, как держаться, заискивают перед прислугой, фамильярничают со швейцарами, хлопая их по плечу: «Как ваши детки, Герасим?» и суя рублевку, чтобы казаться «настоящими барами».

Они хотели, чтобы от них воняло деньгами. Они требовали самых дорогих вин, закусок, швырялись направо и налево шальными «чаями». И все же лакеи служили им нехотя, презирая их. Они, эти новые люди, почувствовали себя вдруг спортсменами, появляясь на скач-

ках, играя, самодовольно целуя руки у модных кокоток и содержанок, прежде таких заоблачно далеких, недостижимых, а теперь доступных по цене...

Вот она, армия некоронованного монарха, которым был для нее Мисаил Григорьевич! Иногда он делал инспекторский смотр, появляясь в один день в нескольких ресторанах. Завидев издали фигурку с животиком и с хищным профилем, вся эта сволочь вскакивала и, бросая своих собеседников, устремлялась к своему шефу, подобострастно ожидая от него откровений оракула...

Он знал свою армию, армия знала его. После своей беседы с Юнгшиллером он кликнул клич:

– Нужна сталь! Скупайте сталь!

Целую банду снарядил и командировал Мисаил Григорьевич в глубь России и на юго-восточные окраины скупать лошадей для «шведской кавалерии».

22. «Ассириец»

Бледно-матовый «ассириец» проснулся на широкой деревянной кровати. Весенний мягко-лиловатый вечер пока еще прозрачными сумерками вливался в окна.

Стушевывались еще недавно, час назад, такие резкие силуэты деревьев баронского сада.

«Ассириец» сладко потянулся и, еще слаще зевая, подумал:

«Любовь возбуждает аппетит и навевает сон. Я чудесно вздремнул и с удовольствием поел бы, хотя этот каналья Шписс, – давно ли он меня угощал завтраком?»

И, не желая вставать, весь еще охваченный истомой, «ассириец», улыбаясь, вспомнил свой так стихийно вдруг налетевший роман с горничной. Он так и подумал: «роман с горничной».

Но это совсем не петербургская горничная, кокетливая, наметавшаяся в грехе с господами и тайком щеголяющая в батистовом белье и шелковых чулках своей барыни.

Труда – кажется, зовут ее Труда – совсем не то... С какой милой неопытностью целовала его эта латышская Диана, почему-то плотно сжимая губы...

Ему вспомнились другие поцелуи тех искушенных в ласках женщин, которых он пленял своей «ассирийской» в завитках бородой и смугло-матовой бледностью... О, эти актрисы и эти дамы, жены своих мужей, они умели целоваться! Еще как умели, даже его удивляя своим бесстыдством, в котором – затруднишься сказать, чего больше – холодной распущенности, порочного любопытства или темперамента?

Нет, в самом деле, вернувшись, он с хорошим, теплым чувством расскажет друзьям, как целомудренная латышская Диана отдалась своему Эндимиону...

Целомудренная... Он никак не думал... Петербург приучил его смотреть несколько по-другому на девушек...

Однако довольно сопоставлений. Время покинуть это баронское гнездо, покинуть вместе с узницей. Эта маленькая Забугина... Кто бы подумал, что случится такой переплет... Жизнь! Каких только не выкидывает замысловатых курбетов... Он ее помнит, Забугину... Совсем крошкой была, а он – он кончал Правоведение.

«Ассириец», пересекая анфиладу комнат, вышел на круглый двор, послал одного из подвернувшихся конюхов за своими шофером, чтобы приготовил машину.

Шписс – тут как тут – подмигивает масляными глазками.

– Отдохнули?

– Благодарствуйте, вздремнул часок.

– В единственном числе?

– Разумеется, а то как же еще? Однако, господин Шписс, пора покинуть ваш гостеприимный кров. Где наша беглянка?

– Пойдемте.

Шписс привел «ассирийца» в сводчатый каземат, не дав себе труда постучать в дверь.

Забугина что-то писала... Вспугнутая, разорвала листочек в мелкие клочки. Изумилась при виде «ассирийца». Положительно она видела этого изящного молодого человека с такой запоминающейся внешностью... Видела, несомненно видела!

– Фрейлейн, собирайтесь! Вы уезжаете вместе с ними, – указал Шписс на «ассирийца».

– Куда?

– Зачем спрашивать куда? Надо ехать, и больше ничего.

– Вера Клавдиевна, я попросил бы вас поторопиться, – с учтивым поклоном молвил «ассириец».

Забугина погасла вся. Господи, опять испытания! Какие же еще новые муки ждут ее?

– Мы не будем мешать вам, десять минут в вашем распоряжении, – предложил «ассириец», – господин Шписс, пойдём.

– Пришлите мне Труду, – вырвалось чуть слышно у Забугиной.

Явилась Труда, заплаканная, но какая-то лучистая вся.

– Труда, меня увозят.

– Кто вас увосит, балисня?

– Этот господин, который был здесь со Шписсом, с черной бородой.

– Этот! – всплеснула руками Труда, – ах, он солт! Ах, он?.. Босе, если бы я знала, я бы...

– Если бы вы знали?

– Нисего, балисня, нисего, я так...

Лучистости уже нет и в помине. Труда стояла мрачная, вся в покаянном раздумье.

С заоблачных высей – прямо на землю! Для кого она берегла себя, в чьи объятия бросилась, властно бунтуемая весенними зовами? Этот красавец заодно со всей шайкой Шписса, Бредериха и всех этих подлых вацешей.

– Прощайте, Труда...

– Плосайте, балисня, мосет бить, есе встресимся... так хосу слусить у вас!

– Дал бы Бог... Сердечно рада была б. Я никогда не забуду вашего отношения, милая Труда... Хотя вряд ли... эти люди замучают меня... Чувствую, не вынести мне всех этих пыток...

Еще поцелуй. Слезы обеих девушек, – каждая по-своему одиноких, – смешались.

Потемневшим взглядом провожала Труда убегающий в перспективу аллеи автомобиль. Вера, вся в тумане слез, последний раз махнула платком. Автомобиль, скрывшись за поворотом, вынесся на шоссе.

Сидевший рядом с Верой «ассириец» заговорил:

– Поздравляю вас, Вера Клавдиевна!

Она не слышала.

Он повторил громче: Поздравляю вас!

– С чем? – откликнулась испугнутая Вера. – Вы издеваетесь надо мной? Какая низость! И вы заодно с ними, и вы один из моих тюремщиков!

– Полноте, – усмехнулся он, – я не тюремщик ваш, а скорей ангел-хранитель.

– Да? – с горечью вырвалось у нее. – Куда же, в какую новую тюрьму вы меня везете, мой «ангел-хранитель». Куда?

– Навстречу тому, что самое дорогое для человека... Мы на пути к свободе, вашей свободе...

– Как вам не стыдно глумиться! Я и так истерзана вся, живого места нет... а вы...

– Напрасно язвите меня, Вера Клавдиевна... Не глумлюсь, а, наоборот, всецело сочувствую вам и всему пережитому... я сброшу маску... Слушайте, я приехал спасти вас... знаю все, знаю, как и почему вы сюда попали. Знаю какие нити держите вы в своих руках. Все знаю! Слушайте внимательно... Приехал сюда я под личиной агента Юнгшиллера, того самого Юнгшиллера, на вилле которого вы были с завязанными глазами в ночь похищения... Приехал, чтобы вырвать вас из этих тисков.

– Это правда? Вы не мистифицируете меня? Ради Бога, простите, я вам верю, но... я так исстрадалась, не могу отделаться, от сомнений...

– Вера Клавдиевна, большим негодяем надо быть для подобной мистификации! Нам, – я говорю нам, потому что действует целая группа, – нам необходимо спасти вас... Во-первых, из чувства человечности, а во-вторых, как я уже сказал, вы держите в своих руках нити запутанного клубка, разматыванием которого мы уже занялись. Что-то прямо чудовищное, кошмар! Но до поры до времени необходимо соблюдать самую чрезвычайную осторожность. Конечно, ваше новое бегство должно вызвать переполох во всей этой шпионской организации прокля-

тых немцев! Они почувствуют удар, но откуда этот удар направлен, им невдогад будет, сначала, по крайней мере. И вы пока, Вера Клавдиевна, никому ни слова. Никому!

Вера слушала, придавленная, ошеломленная, еще не смея радоваться, ликовать, до того внезапен, стремителен был переход от мрака к свету, от уныния к манящим солнечным далям.

– Мы возвращаемся в Петербург?

– За кого вы нас принимаете? За младенцев, что ли? Это было бы непростительной бестактностью... Наоборот, мы должны исчезнуть до зубов, уже наверняка схватим этих господ мертвой хваткой за горло...

Давно уже остался позади Лаприкен. Автомобиль мчался по ровному шоссе, мчался сквозь вечерние сумерки, и свежий ветер бил в лицо путникам.

– Он все слышал. Это ничего? – по-французски молвила девушка по адресу шофера.

– Это свой человек. Преданность его и нам и нашему делу не подлежит никакому сомнению.

– А нас не может хватиться Шписс?

– Когда он хватится, будет поздно. Разоблачить нас могут дня через два-три, а через два-три дня мы будем далеко... В действующей армии...

– В действующей армии?

– Да, после всего, что вам довелось пережить, я думаю, самой лучшей наградой для вас была бы встреча с Дмитрием Владимировичем Загорским. И вот, с вашего позволения, в ту самую дивизию, где он находится, мы и держим наш путь. Смею думать, что против такого маршрута вы ничего не имеете?

– Я не могу... дайте мне вашу руку, все плывет, кружится голова, еще немного... и разорвется сердце от счастья. Неужели туда, к нему? Ведь он, Дима, не знает, жива ли я? Скажите, что это – сон, сказка, мираж?

– Это не сон, не мираж и не сказка, Вера Клавдиевна. Это самая что ни на есть реальная действительность. Но что с вами? Дурно?

Вера с опущенной головой и закрытыми глазами откинулась в легком обмороке.

Не выдержала вдруг так неожиданно-негаданно нахлынувшей свободы, вместе с восторгами близкой встречи с дорогим человеком нахлынувшей...

Часть третья

1. В штабе дивизии

В канцелярии штаба дивизии горели лампы с молочными абажурами. У этих ламп работали, склонившись над бумагами, офицеры, зауряд-чиновники. Писари выстукивали на машинках.

Строевым офицерам, проходившим в этот весенний вечер мимо штаба, казалось нудной и скучной эта в четырех стенах закупоренная канцелярщина... Кругом такая благодать...

В садах поют соловьи. Сколько мощи и сильной, свежей страсти в этих переливах, властных весенних зовах, и птицу и человека волнующих одинаково. Грудной смех у белого крылечка. Особенный девичий смех чернобровых галичанок. Глаза, большие, как темные звезды, – светятся. Блестят в улыбке свежего рта белые зубы. Подходит офицер в запыленных сапогах. Голоса как-то по-вечернему значительно звучат.

Загорский жил в двух шагах от штаба. Уютный крохотный домик под черепичной крышей. Жил вторую неделю, с первого, дня как только штаб местопребыванием своим выбрал это местечко, пересеченное из конца в конец шоссейной дорожкой, с двумя шлагбаумами на выездах. Эти шлагбаумы, прежде черно-желтые, перекрашены в русские цвета.

Домик под черепичной крышей, – собственность австрийского жандарма с лихо подкрученными усами и в твердом «цесарском» головном уборе. Портрет жандарма, пана Войцеховича, Загорский видел каждый день. Маленькая фотография, обрамленная скромно и дешево ракушками, висела в маленькой, – здесь все было такое маленькое, – гостиной. Эту гостиную отвела Загорскому пани Войцехович, «соломенная вдова», красивая блондинка с грудью, вздрагивающей на ходу под просторной домашней блузкой.

Муж ушел в глубь страны вместе с полицией и чиновниками, а жена осталась.

И странным Загорскому чудилось, – каким залетным, непущеным гостем очутился он здесь. Вынесли диван, помнивший другие безмятежные времена, и вместо него водворилась походная кровать в этой мещанской гостиной, с вязаными салфеточками, олеографиями в багетных рамках и грошевыми безделушками.

Думал ли когда-нибудь Загорский, что со стены будет смотреть на него благопристойного вида императорско-королевский жандарм в закрученных усах? Мало ли кто чего не думал? Война все перевернула вверх дном, все спутала.

Загорский, поужинав в штабе – ранний ужин или поздний обед, – возвращался к себе. В голове как-то легко и приятно, без тяжести, другим винам свойственной, бродило венгерское. Помещик князь Сапега прислал несколько бутылок этого благородного, густого, как масло, напитка генералу Столешникову.

Загорскому показалось душно в гостиной. Распахнул маленькое квадратное окно, и все-таки было душно.

Не проходило дня, чтоб не вспоминал он Веры. Но его воспоминания были столь же мучительны, сколь и бесплодны. Он думал о ней, как думают о близкой и дорогой покойнице. Он был уверен, что ее нет в живых, так как нельзя же исчезнуть, не оставив никаких следов.

Он знал по газетам, что с войною участвовали в больших городах кражи, убийства... Быть может, и бедная Вера стала жертвою этих кровавых гастролеров, наводнивших собою и преступлениями своими Москву, Петроград, Киев, Одессу.

Ему нечем дышать. Он пойдет в поле и будет долго бродить один, любясь разноцветными вспышками австрийских ракет.

Надел фуражку, пристегнул шашку.

Тихо открылась дверь... на пороге знакомая фигура пани Войцехович в широкой блузке, темно-синей, в белых цветочках.

– Може, пану ротмистру, – она упорно звала его ротмистром, невзирая на две скромные унтер-офицерские нашивки, – запалить лампу, юж цемно?

– Спасибо, пани Войцехович, я ухожу.

– На спацер?

– Да, хочу пройтись немного.

– А... – это «а» вышло чисто по-женски, неопределенно и мило.

И вся она показалась Загорскому интересной и милой в этих сумерках. Две недели живет он бок о бок с нею, поздно возвращаясь из штаба, слышит, идя через сенца, ее сонное дыхание, и все как-то не замечает в ней женщины. А сейчас, сейчас он вспомнил, как дрожит ее грудь под мягкими складками дешевой, такой «провинциальной» материи. Вспомнил белую шею, переходящую в твердый и чистый затылок с мягким пушком светло-золотистых волос. Он подошел к ней. Она стояла не шевельнувшись, опутив голову.

– О чем думает пани Войцехович?

– Так... – вздохнула.

– О муже? Он вернется...

– Когда-нибудь вернется...

Он взял ее руку, теплую, мягкую, уютную, как и вся пани Войцехович.

– Что же вы молчите?

– А что я имею говорить?

Он слышит ее дыхание, порывистое, горячее. Все ближе, интимнее прикосновение... В Загорском проснулся зверь, самец, которого глушил в себе несколько месяцев он, этот огрубевший на войне центавр, топтавший своим конем сожженную, окровавленную землю, носившийся в атаку, рубивший...

Он жадно схватил ее... близко, близко чувствуя всю, и поднял...

Она затрепетала, покорно отдающая себя целиком, и – женщина вся в таких случаях предусмотрительней мужчины:

– Дверь... На милость Бога! Увидеть могут...

Жандарм, с закрученными усами, смотрел из своей рамки из улиток и ракушек, смотрел, как жена изменяет ему...

Где он теперь? В Линце, Триесте, Кракове? Не все ли равно где... Молча, как прибитая, вышла пани Войцехович, и стыдясь своего греха, и упоенная им...

А почти вслед за нею ушел, верней, убежал в поле Загорский. Там бранил себя скотом, грубым животным, не замечая вспыхивающих ракет, не слыша орудийных выстрелов.

Наутро, лицом к лицу встретившись с пани Войцехович, он поклонился ей с особенной церемонной учтивостью... А у нее глаза были покрасневшие, заплаканные.

Надев черное парадное платье и взяв молитвенник, пани Войцехович пошла к исповеди. Жарко и долго плача, каялась она в своем грехе ксендзу-пробошу: коленопреклоненная у резной готической исповедальни.

* * *

В столовой штаба дивизии, – просторной выбеленной комнате, жил здесь австрийский податный инспектор – завтракало человек двенадцать. Генерал Столешников, подвижный как ртуть, по обыкновению, глотал какие-то пилюли, капли, порошки.

– Недаром называют меня ходячей аптекой, – трунил он над собой.

Но эта «ходячая аптека» управлялась за нескольких здоровых, такой исключительной работоспособностью отличался генерал Столешников.

Покончив с лекарством и принявшись за суп, для виду больше, – ел крохотный сухоша-
вый генерал поразительно мало, – вспомнил он, как воевал в Польше, командуя отдельной
кавалерийской бригадой.

– Имение одного немца... Барон, барон, сейчас забыл, довольно громкая фамилия... И
как он вклинился среди польских помещиков, – немец? Вероятно, «свой же», из соображений
стратегического характера, купили ему усадьбу. Мы с немцами «нащупывали» друг друга кон-
ницей, еще не сходясь близко... Посылали мы барону своих фуражиров купить овса – ни за
какие деньги! А знаем доподлинно, что запас у него громадный... Представьте, в этот же самый
день лазутчики-поляки, испытанные ребята, доносят мне, что у него ночевали прусские уланы,
офицеры двух эскадронов. Вина, шампанского – разлитое море, тосты, «гох кайзер Виль-
гельм» и тому подобное... Кроме того, немцы на четырех грузовиках-автомобилях вывезли
несколько сот пудов овса. Проверив и убедившись, что это именно так и было, я извелся как
черт! Ведь форменное предательство! Послал моих драгун захватить барона и доставить ко мне
живьем. Не тут-то было, – удрал каналья. Тогда я приказал конно-саперам взорвать усадьбу.

– Это было несколько рискованно, ваше превосходительство, – с холодной улыбкой заме-
тил начальник штаба, типичный «момент» полковник Теглеев.

– Вы находите? – язвительно спросил Загорский. «Момент», шевельнув губами, словно
два живчика перекатились из угла в угол, ничего не ответил.

– А то как же! – воскликнул Столешников, – стану я церемониться с изменником моему
государю императору и моей родине!

– Кто-то приехал к нам, – глянул в окно генерал... У крыльца остановился мотор.

Дежуривший у телефонистов казак-ординарец, тяжело ступая по навощенным полови-
цам и чувствуя себя не в своей сфере без коня и нагайки, заскоружлыми пальцами йеловко
протянул генералу карточку.

Столешников кивнул, зови, мол.

Появился Шацкий, во всем блеске, в форме уполномоченного. И было даже то на нем,
чего не полагается уполномоченным, – бинокль, полевая сумка. Совсем боевой офицер, только
что с позиций.

– Имею честь представиться, вашему превосходительству... Командирован осмотреть
перевязочные пункты вашего расположения и вот счел своим долгом.

– Милости просим откусать хлеба-соли. Мы всегда свежем человеку рады.

Задвигались стулья. Обмен рукопожатий. Знакомясь с Загорским, Шацкий внимательно,
слишком внимательно осмотрел его.

«Так вот он – знаменитость с внешностью лорда».

Шацкий принялся догонять всех, уплетая за обе щеки вкусный суп, но успевая болтать
без умолку.

– В семи верстах от австрийцев, а какой повар, – умирающим такой суп! Это, я понимаю,
жизнь... Только на позициях люди бодро делают свое дело, а там у нас, в тылу, черт знает какая
неразбериха! Я и то моей тетушке Елене Матвеевне Лихолетьевой говорил не раз...

«Тетушка» произвела впечатление. Двенадцать человек с любопытством посмотрели на
дылду, с безусым костистым лицом и криво посаженными зубами. Любопытство – разных
оттенков. В глазах Столешникова Шацкий нисколько не вырос. В глазах полковника Теглеева –
Шацкий вырос, в глазах унтер-офицера Загорского «уменьшился». И если первое впечатление
было далеко не в пользу уполномоченного, теперь он был у него «на подозрении».

– У меня своя машина, – продолжал Шацкий, – так удобнее. Стоит она всегда в Терно-
поле, готовая, под парами, вернее, под бензином...

Шацкий носился как угорелый на своей машине, в облаках пыли. Носился и днем и
ночью. Вряд ли немногочисленные перевязочные пункты, обревизовать которые он был коман-
дирован, требовали таких неустанных разездов.

В лесу и в заросших кустарником диких оврагах по ночам он имел таинственные встречи с какими-то подозрительными людьми, у которых было основание не попадаться на глаза нашим патрулям и военной полиции...

2. «Маскарад»

Загорскому приходилось допрашивать пленных, перебежчиков и лазутчиков, являвшихся в штаб с какими-нибудь сведениями с того берега Днестра, где укрепились австро-германцы.

Беда была с венграми. Немногие объяснялись по-немецки, мадьярский же язык был для Загорского тем же, что и китайский. Единственный переводчик с венгерского находился при штабе армии в Тернополе – за сорок пять верст. Не выписывать же его всякий раз на гастроли.

Пленные не часто давали полезные сведения. Не потому, что бы не хотели, наоборот, славяне, в особенности сербы и чехи, ненавидевшие австрийцев, рады были от души поделиться всем, что знают и видели...

Но, во-первых, знают и видят они мало, вся сфера их наблюдения – свой крохотный участок, во-вторых, командный состав не доверяет славянам и они до последней минуты не посвящаются даже в самые ничтожные мелочи, в-третьих же, пленные, измученные, отупевшие, изголодавшиеся, полны одним животным всепоглощающим желанием:

Есть, есть, без конца есть! До обалдения в глазах и в красном напряженном лице, уничтожать порцию за порцией – и какие чудовищные порции! – жирных шей и черного солдатского хлеба.

Правда, и пленные обмолвливались иногда ценными сведениями, но лишь в редких, исключительных случаях.

Зато «художниками, профессорами» самой тщательной, тонко проведенной разведки являлись иногда те лазутчики, для которых военный шпионаж являлся выгодным, прекрасно оплачиваемым, хотя и опасным ремеслом...

В большинстве случаев эти господа работали на два фронта и, сплошь да рядом, с одинаковой добросовестностью. Если он будет только вашим лазутчиком, ему трудней проникнуть в расположение австрийцев. Но, допустим, даже посчастливилось проникнуть – этого мало, надо и вернуться беспрепятственно, миновать все заставы, передовые цепи и охранение, а это возможно, только имея соответствующий пропуск.

Такая же самая картина и по отношению русских позиций. Ни за что не пропустят к себе и не выпустят человека, не имеющего соответствующей бумаги от штаба.

Попадались натасканные агенты, смекавшие, и довольно толково, как в военном деле вообще, так и в фортификационном в частности. Сделанные ими наброски, чертежи, пронесенные зашитыми в голенище, в шапку или в одежду, – мало ли ухищрений, – давали весьма точное понятие об укреплениях противника, с подробным указанием батарей, пулеметов и всего, что необходимо знать о враге.

Спустя два-три дня по приезде Шацкого в дивизию к Загорскому явились на квартиру два человека. Один в свитке, с подстриженным затылком – обычай местных галицийских мужиков, другой – в суконном пиджаке с массивной серебряной цепочкою на жилете. Первый был крив на один глаз, а у второго – блондина с жиденькими усиками – глаза неустанно бегали.

Эта парочка не внушала особенного доверия. Но каким же агентам-лазутчикам, работающим не из патриотизма, а из корысти, можно всецело довериться?..

Говорил блондин в пиджаке. Мужик в свитке молчал, одобрительно кивая головой.

Смысл был таков.

Они знают, что пан ротмистр – дался им этот пан ротмистр – держит в своих руках нити разведки по всему фронту дивизии. Вот они и пришли к нему. За Днестром, – пан ротмистр это, «без сомнения, знает – в Залещиках находится штаб 19-го австрийского корпуса. И хотя это – штаб корпуса, а не армии, но, видимо, придается ему большое значение. Нет-нет и заглядывают важные генералы, а теперь ждут со дня на день какого-то эрцгерцога...»

Штаб корпуса приютился в доме ксендза. В хорошую погоду завтракают и обедают в саду под хор трубачей шестого уланского полка.

Подвыпившие генералы, не стесняясь, говорят обо всем откровенно и громко. Наблюдатель, хорошо владеющий немецким языком и не менее хорошо знакомый с военным делом, может собрать интересный и ценный материал.

А «наблюдателей» – сколько угодно! Мужики, ребяташки, девчата, привлеченные музыкою, толпятся у ксендзовского сада. Их никто не гонит. Длинный же стол штабных трапез в нескольких шагах от забора. Вообще, если опытный человек потолкается день-другой в Залещиках, он вернется оттуда с большим запасом новостей и сведений об австрияках. Да и не только об австрияках. И про германцев узнает многое.

Загорский внимательно слушал. Перспектива – что и говорить – соблазнительная, однако кто же порукою за этих двух милостивых государей?

– Вы оба из Залещиков?

– Так, мы залещинские.

– Как же вас пропустили австрийцы?

– А мы их спрашивали? О, паф ротмистр, мы знаем каждую стежку (тропинку), нас никто и не видел, а потом сели в челн и проехали на вашу сторону.

– А как прошли сквозь русскую цепь?

– А мы сказали, что идем до вашего штаба, нам дали двух вояк, они и сейчас у сенцах, вояки...

Действительно, через дверь донеслось солдатское покашливание. Земляки переминались с ноги на ногу, постукивая прикладами винтовок о деревянный пол сеней.

– Что ж, вы не любите австрийцев или деньги нужны?

– А кто же любит его, шваба? Да и гроши, правду сказать, нужны. Война! Все дорого, килограмм хлеба, подумайте, тридцать пять геллеров стоит!

Загорский испытующе смотрел на обоих пришельцев.

– Имейте в виду, если вы меня продадите австрийцам, вам небольшая будет корысть, даже никакой, вернее. За меня вам не дадут и пяти гольденов, за простого солдата, но если вы благополучно вернетесь вместе со мною, вас ждет здесь награда в тысячу рублей. По пятисот на брата, неплохо?.

– Ой, паночку, мы таких денег и в очи николи не бачили, – заговорил, впервые заговорил кривоглазый мужик с подстриженным затылком.

– Но имейте в виду, сейчас вы не получите ни гроша!

– А нам хоть бы что, – пожал плечами суконный пиджак, – мы знаем, у вас деньги верные, как у цесарском банке...

Загорский соображал что-то.

– Ну вот, побудьте здесь, а я вернусь через несколько минут. Который час? Девятый... Мы выедем на машине, а там – пешком до переправы. К тому времени совсем уже смеркнется. Лодка есть?

– А як же?! Наш челн стоит в лозняке у вашего берега, ждет!..

Загорский распахнул дверь.

– Земляки, – сказал он солдатам, – смотрите за ними в оба и дверь пусть будет открыта.

Загорский направился через улицу к Столешникову.

В столовой, где все уже было накрыто к ужину, генерал сидел в обществе Шацкого. Увидев «уполномоченного», Загорский слегка поморщился. Чуть заметным кивком ответил на поклон расшаркивавшегося блондина с голым, костистым лицом.

– Что, милый Дмитрий Владимирович?

– Я хотел поговорить с вашим превосходительством без свидетелей...

– Я к вашим услугам! Пойдемте ко мне... Извиняюсь, должен оставить вас, – бросил Столешников Шацкому.

– Сделайте одолжение, ваше превосходительство.

Загорский и Столешников скрылись за дверью. Шацкий значительно посмотрел им вслед. «Неужели, неужели клюет?»

– В чем дело? – спросил генерал, оставшись вдвоем с Загорским в небольшой комнате с походной кроватью.

– Ваше превосходительство, охота вам беседовать с этим полупочтенным?!

– Он вам не нравится? Пусть поверт... Довольно-таки забавный буффон. Послушать его, он с Фердинандом болгарским чуть ли не на брудершафт, пил.

– Во всяком случае, будьте поосторожнее, ваше превосходительство... Но черт с ним... Вот что я хотел сообщить...

И он рассказал Столешникову о двух агентах и о их предложении.

– По-моему, грешно не воспользоваться?..

– А вы уверены в них?

– Я уверен в одном, ваше превосходительство: тысяча рублей – для них громадный куш.

– Громадный, что и говорить... Мы таких сумм никогда не платили агентам. Игра стоит свеч... Я сам слышал, что они ждут эрцгерцога... Маскарад?..

– Без маскарада нельзя... переоденусь мужиком, костюм есть... Дважды сослужил мне хорошую службу.

– А лицо, бритое породистое лицо?

– Грим, ваше превосходительство, наклею усы, никто не узнает... Сойду за мужика...

– Ладно, благослови вас Бог! Любите вы такие авантюры, но ничего не поделаешь. Раз надо, – упустить такой случай, вы правы, было бы грешно. Соблюдайте осторожность, не бравируйте опасностью, берегите себя и возвращайтесь... Буду вас ждать с нетерпением. Кстати, а ужин? С пустым желудком?

– Перекушу чего-нибудь наспех, время дорого.

– Ну, да хранит вас Бог...

Столешников маленькой сухонькой ручкой, – он весь миниатюрный, – набожно перекрестил Загорского.

– В добрый час...

Вернувшись к себе и выслав агентов, будущих спутников своих, в сенцы, Загорский стал готовиться к маскараду.

Он – в грубой домотканой рубахе, серой свитке, холщовых штанах, заправленных в мужицкие сапоги.

Остается грим.

Подсев к маленькому зеркальцу, оправленному в кожу и вынутому из дорожного несесера, он занялся наклеиванием усов. Это напоминало ему участие в одном великосветском спектакле, где он играл телеграфиста в чеховской свадьбе... Хватился в последнюю минуту, – не было форменного сюртука. Выручил Загорского один желтый кирасир, давший свой вицмундир. Сняли погоны, и обшитый желтыми кантами кирасирский вицмундир сошел за сюртук чеховского телеграфиста...

3. Положение становится серьезным

Елена Матвеевна ликовала. Сдержанно, спокойно, с достоинством, – бурные проявления всегда были чужды ее натуре, – но ликовала.

Соперница или, выражаясь более прозаически, «конкурентка», – да оно и ближе подходит ко всему этому переплету взаимоотношений, – выведена из строя. И, пожалуй, надолго. Очень надолго, если не навсегда.

Хачатуров – опять у ее ног преданной собакою. И теперь уже нераздельно. Теперь Аршак Давыдович никому не посылает чудовищных корзин, никому не подносит бриллиантов. Теперь он – ее раб, и только ее...

Даже Лихолетьеву, презиравшую всякие «сентименты», даже ее удивило, с каким легким сердцем поспешил отвернуться Аршак Давыдович от Искрицкой, ставшей уродом.

Елена Матвеевна спросила, глядя пустыми, холодными, прозрачными глазами куда-то поверх носатого человека с мертвыми, бледными, как у трупа, веками:

– Скажите, вам не жаль ее... этой женщины?

– Как это – жаль?

– Так! Вы бегали за нею, тратились на нее, следовательно, она чем же нибуду да привлекала вас? Ведь не платоническое же чувство? Вам хотелось обладать ею?

– Нет!

– Не лгите. Правду, слышите?..

– Ну, хотелось, так что ж из этого?.. Я же не виноват, если вы такая... Без темперамента... Я не виноват... Но теперь она не женщина, – для меня, по крайней мере... Я люблю, чтобы лицо было... Дура, ей не следовало ходить в этот знаменитый институт или как его там, где дамы реставрируют свою вторую, третью и четвертую молодость.

– Ишак, не говорите глупостей! – вспыхнула вдруг Елена Матвеевна, оставаясь восково-бледной.

– А разве я...

– Молчите, довольно! Сморозили... Право, можно подумать, что вас не в Париже воспитывали, а где-нибудь в армянском духане...

Нефтяной крез ничего не понимал, ничего...

Вот понаблюдай он украдкой в «институте» мадам Карнац, как лежит Елена Матвеевна на покрытой простынею кушетке, в красно-коричневой маске, а высокие белокурые великанши, сменяя друг друга, массируют ее, – тогда б он понял, что нельзя говорить в ее присутствии о женщинах, реставрирующих свою молодость...

Андрей Тарасович больше не ревновал к Хачатурову Елены Матвеевны. Наоборот, сам приглашал нефтяного креза бывать почаще. Елена Матвеевна убедила супруга; что ревновать к Хачатурову – нет ничего глупее на свете. Гном! Жалкий недоносок! Ходячая карикатура! Но услужлив, умеет угодить, полезен. Отчего же не держать его на побегушках?

И при этом два-три снисходительных шлепка по вымытой, надушенной лысине и скользящий поцелуй в лоб.

И это действовало красноречивей всяких слов. Андрей Тарасович жмурился сладко-сладко, старчески обалдевая, поддаваясь обаянию этой околдовавшей его навсегда чаровницы...

Втроем появлялись они в театрах легкого жанра, кинематографах, ресторанах. Андрей Тарасович любил посмеяться. Любил просмаковать «пикантный» фарс с оголением, раздеванием и, конечно, постелью... Не пуще всего любил еврейские анекдоты.

В тяжелый, траурный для нас день, день печали и скорби, когда пришлось уступить завоеванный Перемышль австро-германцам, Андрей Тарасович, сидя в первом ряду, безмятежно

хохотал над анекдотами одесского гастролера Хенкина, громко аплодируя ему, заставляя бисировать.

В антракте Андрей Тарасович встретил в фойе знакомого генерала.

– Каков шельмец Хенкин!.. Эта «американская дуэль»... Ведь лопнуть можно от смеха, ваше превосходительство...

– Точно так, ваше превосходительство, забавно... Как это он говорит: через полчаса я буду... это после того, как застрелится...

– А я вам расскажу... позвольте, как это!.. В Гродне... да, в Гродне стоит на улице жид, к нему подходит городской... Впрочем, нет, городской стоит на своем посту, а жид к нему подходит...

– Да, да, это забавно... – поощряет генерал.

– Теперь дальше... Он бац его в морду...

– Кто кого?

– Натурально жид получил плюху, как же иначе! Теперь дальше... Нет, забыл... забыл, хоть убейте... Это великолепно рассказывает, Железноград... Кстати, легок на помине... Мисаил Григорьевич!

Консул республики Никарагуа подлетел, рассыпаясь веселым скрипучим смешком.

– А-а, как Чацкий, с корабля на бал... Только что из Копенгагена, ездил устраивать кое-какие дела. Обедал с Юнгшиллером...

– Где, в Копенгагене?

– Здесь, у Контана. Сюда его тащил... Не хочет... Не в духе чего-то...

Юнгшиллер имел основательные причины быть не в духе. Как громом сразил его вторичный побег пленницы! Теперь надо всеми занесен дамоклов меч. Стоит разболтаться этой вырвавшейся на свободу девчонке, и – быть катастрофе...

Шписса тотчас же по отъезде «ассирийца» с Забугиной крепко взяло сомнение. Письмо Юнгшиллера, черным по белому, его собственное, – уж чего собственнее! – а между тем...

Запросить депешей? Уйдет несколько дней. Шписс, недолго думая, сам помчался в Петербург. И утром в десять часов с поезда – прямо в круглую башню. Его круглое, пухлое лицо так само за себя говорило, что Юнгшиллер встретил неожиданного гостя вопросом:

– Что случилось?

– Ничего не случилось. Но излишняя осторожность никогда не мешает. Я хоть и поступил согласно вашему приказанию, но все-таки счел необходимым проверить...

– Какое приказание? Я и не думал вам ничего приказывать!

– А это письмо?

Почувяв недоброе, Юнгшиллер выхватил у Шписса измятое письмо. Впился, багровея, наливаясь кровью, вот-вот брызнет...

– Или я с ума схожу, или я ничего не понимаю. Рука моя, моя, черт меня возьми, но я ничего подобного не писал! И вы поверили, отпустили?

– Мог ли послушаться?

– О, болван, идиот, скотина! Что вы наделали, несчастный кретин?! Что вы наделали, глупый осел?

– Так, значит, это не ваше письмо?

– А вы еще сомневаетесь? Сомневаетесь, дубина? Сомневаетесь, тупое животное? – скомкав письмо, он швырнул его прямо в физиономию Шписса.

Управляющий имением Лаприкен и глазом не моргнул. Что ему оскорбление? Он думал об одном: совершилось что-то непоправимое, жуткое.

Юнгшиллер перекипел, хоть и не совсем. Дышал тяжело, порывисто, багровый румянец жег лицо, виски, лоб.

– Дайте сюда пирьмо!

Шписс поднял комочек и, разгладив, бережно протянул громовержцу круглой башни. Юнгшиллер еще раз вчитался, повергнутый в окончательное недоумение.

– Ведь это же колоссально! Кто мог в таком совершенстве подделать мой почерк? Кто, скажите, кто, черт вас дери-раздери? Ну?

Шписс молчал. Он менее всех мог ответить на этот вопрос.

– Ну, садитесь же, дьявол вас возьми! Садитесь и рассказывайте подробно, как это все случилось?

Выслушав управляющего, Юнгшиллер ударил кулаком по столу.

– Вас одурачили самым нахальным образом! Черная борода в завитках? Бледный, высокий? Да ведь это же Криволуцкий! Изысканные манеры, вежлив, воспитан... конечно, Криволуцкий!..

Имя ничего не говорило Шписсу, Юнгшиллер прочел это в его глазах, поясняя:

– Агент Арканцева. Но вы и об Арканцеве не имеете понятия? Вы там охамились, одичали в своей глуши! Арканцев – молодой сановник, сильный, способный и, это самое главное, в данном случае – наш враг. И хотя он служит в другом ведомстве, чем то, которое интересует нашими делами, но он – русский патриот, ненавидит немцев... И вот, пронюхав, – как он пронюхал, через кого? – он снарядил Криволуцкого выкрасть Забугину. Разумеется, они до поры до времени так законопатят ее, что сам черт не найдет! А найти необходимо. Сегодня же я брошу по всем радиусам – и на фронт и повсюду – пятьдесят агентов. Этого Криволуцкого мы так или иначе ликвидируем. Вы где остановились?

– Пока нигде, прямо с вокзала и сюда.

– Ступайте! Звоните мне каждый час. До шести – сюда, а от одиннадцати – на «Виллу-Сальватор». Если нужно будет – я вас потребую. Ступайте!..

Шписс, уничтоженный, убитый, отклонялся. Оставшись один, Юнгшиллер долго метался по своей круглой башне, как медведь в клетке.

Позвонил в «Семирамис». Его соединили с Урошем.

– Вы свободны? Загляните на минуточку, важное дело...

Спустя четверть часа полиглот, владеющий двадцатью двумя языками, чисто выбритый, в черной визитке, вошел в кабинет. Глаза-буравчики пытливо нащупывали всю громоздкую тушу рыцаря круглой башни, словно желая проникнуть в самое нутро.

– Вот зачем я вас потревожил, вы – каллиграф! Скажите, пожалуйста, можно с такой дьявольской точностью подделать чужой почерк? Мой почерк? Смотрите, сам своим глазам не верю, я это писал или не я?

Урош прочел письмо.

– Ну, что, можно так подделать?

– Вы не писали этих строк?

– Вопрос!.. Конечно же нет!..

Урош пожал плечами.

– Раз это не ваша рука, значит, можно. Значит, нашелся такой «художник». Ясно как Божий день!

– Художник! Благодарю вас... Если бы я только знал, кто этот «художник». Я не пожалел бы двухсот тысяч за право собственноручно перегрызть ему горло...

– Во всяком случае, это дорогое удовольствие...

– Давайте обсудим вместе, господин Урош. Вы человек умный... Обсудим, как выйти из положения... Если только есть выход... А с этим мерзавцем Криволуцким мы сведем счеты, сведем! Я натравлю на него такого цепного пса, как Дегеррарди! Мы найдем эту ассирийскую бороду, найдем! Он от нас никуда не спрячется. Да, необходимо предупредить Елену Матвеевну Лихолетьеву... Это ведь прежде всего и ближе всего касается Елены Матвеевны. Арканцев давно к ней подбирается, спит и видит, как бы утопить... Боже мой, что нас всех ожидает...

4. На приеме у сановника

Леонид Евгеньевич Арканцев, молодой, в гору идущий сановник, принимал по четвергам от трех до пяти.

Обыкновенно в это время в большой, желтой, с гармонично бьющим старинным, шкафчиком, часами, приемной собиралось много дам, генералов, иностранцев и видных, раскормленных; всякого возраста мужчин в блестящих придворных мундирах.

В этой с казенным убранством и с портретами Высоких Особ на стенах комнате не бывало скромных и бедных просителей, как в других министерствах. Наоборот, все сплошь отменная публика, та, что принято называть шикарной.

Дверь из приемной в кабинет Леонида Евгеньевича охранялась длинным, белесоватым, аршин проглотившим курьером с громадной золотой медалью на шее. Бесстрастно, с неподвижным лицом открывал и закрывал он, впуская и выпуская, заветную белую дверь.

И видно было, что эта несложная, в пору механической кукле, работа, из месяца в месяц, из года в год, ему осточертела. Но кругленькое жалованье, квартира, награды к Рождеству и Пасхе, чаевых – тьма-тьмушая, А открывать и закрывать ведущую в кабинет сановника дверь, право, уж не так трудно.

Глаза курьера, такие же бесцветные, как и он сам, успели наметаться. Окинув беглым взглядом чающих приема, он безошибочно угадывал наперед, сколько минут, иногда и секунд, – потому что некоторые, словно ошпаренные, вылетали из кабинета, едва успев войти в него, – пробудет с глазу на глаз с Арканцевым то или другое лицо.

И когда шкафчик-часы пробили с чистым, мелодичным, напоминающим барскую усадьбу звоном четыре, и с последним ударом, – это вышло, конечно, случайно, – появилась в приемной молодая, высокая, немного полная красавица, вся в черном и с глубокой какой-то растерянной печалью в громадных синих глазах, курьер подумал:

«Этой на две минуты, по крайней мере, хватит»...

К желтой комнате примыкал крохотный кабинетик секретаря. Пожилой человек и сам уже действительный статский, секретарь, с повадкой опытного, бюрократического режиссера, мягко, дипломатически руководил приливом и отливом.

У него был длинный список фамилий. По возможности соблюдалась очередь. Но некоторых Леонид Евгеньевич принимал и вне очереди.

Случалось, что какой-нибудь шталмейстер в жгутах, одетый в духе времени на военный лад, начинал сопеть, нервно шагая между диванами и креслами.

Секретарь, подкатившись, мягко и вкрадчиво говорил:

– Ваше превосходительство, еще самое большое – десять-пятнадцать минут. До вас – вот изволите видеть – всего шесть человек осталось... Леонид Евгеньевич «спустит» их живо.

Шталмейстер не сопел больше, уже спокойно ждал своей очереди.

С нетерпеливыми дамами секретарю приходилось гораздо труднее, но и дамы становились ручными под его обволакивающей, немного сладенькой, немного приторной манерою обхождения.

Секретарь был психолог, не хуже белесоватого курьера. Увидев эту с монашеской скромностью одетую женщину с тоскою в синих глазах, он, по всему ее облику сообразив, какого она круга, подлетел, расшаркался.

– Изволили записаться?

– Нет, я не записывалась.

– Разумеется, это, в конце концов, несущественно, я могу доложить и вне очереди. Как прикажете доложить?

– Басакина, Варвара Дмитриевна Басакина.

Лицо секретаря изобразило самое живейшее удовольствие.

– Княгиня Басакина?

– Княжна...

– Ваше сиятельство, я сию же минуту доложу Леониду Евгеньевичу. Вот только выйдет граф Сантуринский.

Граф Сантуринский, полный, внушительный, с анненской звездой, выплыл из кабинета. Еще перед закрытой дверью он «сделал» себе довольную, счастливую улыбку, чтобы все в приемной увидели и поняли, как благосклонно беседовал с ним, графом Сантуринский, Леонид Евгеньевич Арканцев. На самом деле короткая двухминутная беседа не отличалась особенной благосклонностью.

Секретарь юркнул в кабинет и вернулся к Басакиной с виноватым лицом:

– Леонид Евгеньевич покорнейше просит ваше сиятельство обождать. Необходимо спешно отпустить кое-кого. Леонид Евгеньевич очень, очень извиняется...

На самом деле Арканцев сухо и коротко бросил: «Пусть подождет!»

Минут через двадцать принял он свою кузину, принял скорей к недоумению, чем с родственной теплотой.

Кабинет был громадный. Где-то в далекой глубине затерялся письменный стол. Затерялся, хотя был величиною с бильярд. На первом плане, ближе к дверям, – подобие гостиной. Круглый стол, несколько тяжелых кресел. Здесь и принял Леонид Евгеньевич кузину Басакину. Здесь ой всех принимал.

– Здравствуй, Барб! Откуда, из Рима?

– Да.

– Католичка?

– Да, но видишь, Леня, на это я решилась...

– Не оправдывайся, – перебил Арканцев. – Религиозные убеждения – твое личное дело. Что у тебя ко мне? Говори. Меня ждет еще около восемнадцати человек, а в пять кончается прием.

– Лео, ты так со мной официален...

– Друг мой, ты выбрала самое неподходящее время. Не могу же я болтать с тобой о римских впечатлениях, а между тем ты несомненно привезла с собою много интересного...

– Очень много!

– Вот видишь! И не нашла ничего лучшего, как разлететься ко мне на прием. Чисто поженски!.. Позвонила бы в телефон, я пригласил бы тебя к себе.

– Это верно. Ты прав, как всегда. Ты и в детстве был таким рассудительным. Надо было позвонить в телефон. Правда: отчего я не позвонила? Ты не сердись, Лео?

– Я не сержусь. Но, Барб, что с тобой? Ты растерянная какая-то вся.

– Да? Ничего, так, с дороги... пройдет.

– Сегодня приехала?

– Сегодня, через Финляндию.

– Конечно, через Финляндию, других нет путей. Ты мне потом расскажешь, что видела и слышала в Стокгольме.

– Много интересного в Копенгагене.

– Почему в Копенгагене? – ведь ты же ехала, надеюсь, не через Германию, а через Францию?

– Да, да, конечно, с чего это я про Копенгаген? Я же не была там.

Леонид Евгеньевич внимательно всматривался в княжну из-за стекол пенсне близорукими глазами своими.

– У тебя нервы в порядке? Я тебя не узнаю. Вообще ты странная какая-то... Доходили до меня разные слухи, но я не верю, не хочу верить.

– Ах, на меня так много клеветают! Перемена? Да, я переменялась, а вот в тебе – никакой! Все тот же.

Действительно, как будто вчера только видела Басакина своего кузена. Такой же румяный, благообразный, молодежавый, в безукоризненной черной визитке и с мягкими, душистыми, скорей темными, чем светлыми баками. В этих старосветских, отзывающих восьмидесятыми годами баках с пробритым подбородком – что-то отжившее, «валуевское», но они идут Арканцеву.

Леонид Евгеньевич встал.

– Ты свободна завтра? Жду тебя в восьмом часу к обеду. Поговорим, а теперь извиняюсь, – недосуг болтать.

Он проводил ее к двери. У самых дверей спросил:

– Где остановилась? У себя на Фонтанке?

– Нет, в «Семирамисе».

– А... а...

Белесоватый курьер ошибся на полторы минуты: эта высокая дама в черном пробыла в кабинете вместо двух минут – три с половиною.

Арканцев позвал секретаря.

– Кто у вас на очереди?

– Генерал Белоцветов.

– Пока не позвоню, Павел Алексеевич, не пускайте ко мне никого. Хочу поговорить по телефону.

– Слушаюсь.

Арканцев отошел в глубину кабинета. У письменного стола снял трубку, велел соединить себя с «Семирамис»-отелем и, когда соединили, потребовал 558-й номер.

– Алло, – протяжно откликнулся пятьсот пятьдесят восьмой номер, – у телефона Криволицкий.

– Вовка, – говорит Арканцев. – У вас остановилась княжна Басакина, Варвара Дмитриевна. Понаблюдай, понимаешь? Кто к ней заглядывает или куда она сама выезжает, словом, тебе не нужно пояснять. Ночью, около двенадцати, позвонишь ко мне или еще лучше: загляни сам.

– Будет сделано.

Арканцев повесил трубку.

Владимир Криволицкий, или, короче, Вовка, – так звали его товарища по привилегированному учебному заведению, – был однокашником Леонида Евгеньевича Арканцева. Вместе кончили, вместе вышли в жизнь. Но потом судьба их сложилась по-разному.

Криволицкий, «ассириец», тогда еще без бороды, мятежно ищущий, бывал на коне и под конем и, презирая чиновничество, нигде не мог ни усидеть, ни устроиться более или менее прочно. Арканцев же, прямо со скамьи училища, поступивший в министерство, делал карьеру, к сорока двум годам заняв очень видный и очень влиятельный пост.

И вот совершенно случайно, после долгих лет разлуки, встретил он опустившегося, близкого к самоубийству Вовку. Арканцев проявил несвойственное суховатой натуре своей теплое участие к судьбе товарища. Пригрел, помог и устроил к себе на службу. Не чиновником, нет, в чиновники «ассириец» не пошел бы. Арканцев давал ему ряд поручений, живых, интересных, где человек энергичный, способный может проявить себя во всей своей многогранности.

Вовка, к большому удовольствию Арканцева, оказался «многогранным», а следовательно, нужным и полезным, и – это выяснялось все более и более – прямо необходимым.

5. «Профессиональный обольститель»

Растерянная, твердой почвы не чуя под собою, – какая уж тут твердая почва! – оставила Барб кабинет своего сановного кузена. Выйдя на улицу, растерялась еще больше... Солнечный день, снует кругом толпа, и конная, и пешая, и мчащаяся на моторах, – но до чего все это чужое, далекое.

Или никогда не было своим, близким, или за целый год оторванности своей она успела отвыкнуть.

Ей все равно... До того все равно, – даже не взглянула к себе на Фонтанку, в свой особняк.

Зачем? Эти анфилады комнат с мебелью в чехлах, задернутые марлей картины, эта оставившаяся жизнь – все это способно ее охватить еще более мучительной тоскою.

Да, тоскою. Она места себе не находит, как неприкаянная. Так оно и есть – неприкаянная.

И она идет, синеокая Барб. Идет с «пустыми» глазами, никого не видя, не замечая.

Но этот шумный, безостановочный людской хаос замечает ее. Да и нельзя пройти мимо. В Петербурге даже теперь, в дни этой кровавой разрухи, когда, что ни шаг, – женщина в трауре по мужу, отцу, сыну, любовнику, все равно, – даже теперь обращала внимание Барб своим полумонашеским видом, и главное, – в этом не было ничего гнетуще-мрачного, тяжелого.

Изящный черный туалет, гладкий, но не настолько гладкий, чтоб казаться аскетическим, и небольшой черный, со вкусом, переливающий мягкими складками берет.

Для ликующего весеннего дня это было, пожалуй, чуточку смело, но адски стильно, а прежде всего скрадывалась полнота Барб и удивительно оттенялись выгодно нежный цвет лица и большие синие, затуманенные всегдашней поволокою и временной тоскою глаза.

До чего глупо это все! И этот приезд, и миссия, на нее возложенная, и все... Ах, этот Алоис Манега, такой неугомонный, сжигаемый вечным политическим огнем интриган...

И теперь, когда Барб очутилась далеко от него, за тысячу верст, казалось ей, что она не любила Манеги, не любила, не любит... Гипноз этого хищника в сутане на расстоянии терял свою силу. Без его поцелуев, редких, скупых, ядовитых и острых, она могла свободно и трезво думать, критиковать...

Она сказала ему там, на улице Четырех Фонтанов, что любит не его, а свою любовь к нему. Это, пожалуй, верно. Ее, экзальтированную, с проклятой наследственной материнской чувственностью в крови, захватил, ударил по воображению и нервам этот двуногий тигр, этот пряный мужчина в юбке...

Захватил и держал под гипнозом католической мистики, запугивая и опьяняя жестоко-стью ласк с поцелуями, похожими на укусы, и объятиями, от которых по всему холеному розоватому телу ходят ходуном густые синяки...

И это покоряло Барб, как ее покойную мать, купеческую Мессалину под княжеской короною, покоряли где-нибудь в Соренто грубые ласки смуглого живописного оборванца-маринайо (лодочника).

Стряхнуть бы весь этот кошмар, – и Манегу, и эту «важную» политическую миссию!..

Еще бы не «важную!» Ей устроили свидание с Вильгельмом. Эту политическую встречу дипломатические фигляры инсценировщики обставили не без таинственного романтизма... Швейцарский берег Лугано. Теплая лунная ночь. Расплавленным серебром дрожала тихая гладь озера. Дальние горы, такие бесплотные, воздушные, тающими нежными силуэтами намечались среди глубоких звездных небес.

И эта ночь разнеживающе, истомно охватывала Басакину. Она думала, как хорошо было бы... Там, далеко, где скрадываются туманно-прозрачные дали, медленно плывет баркетта, и под звуки мандолины чей-то мощный и властный баритон поет, поет, и она, Барб, так же тихо движется вдоль берега, вся озаренная бледно-синеватым сиянием... И с нею он, сильный,

мужественный, лица которого она не видит ясно. И сплетаются руки, горячие губы ищут друг друга...

Но это – мираж. Там, на озере, пустынно и тихо, не звенит мандолина, не рокошет ничей баритон, мягкий и сочный...

А рядом с нею, опираясь на трость, идет старик в плаще и в мягкой широкополой шляпе. Она видела его два года назад совсем, совсем другим. Парадный мундир, лента, звезды и весь он дышал какой-то нечеловеческой гордынею... Усы, знаменитые усы, острыми концами поднимавшиеся к вискам, словно вызов всему свету бросали...

А теперь они как-то опустились, растрепались, и даже при луне заметно, что наполовину седые. Выражения глаз, – на них падает тень от шляпы, – не, видно, хотя можно судить по голосу, что они усталые, измученные, погасшие.

И странно Басакиной... Кто она? Русская княжна, каких много. Меж тем он, этот человек, еще так недавно желавший диктовать свою волю Европе, убеждает ее, Барб, оправдывается перед нею...

– Видит Бог, – высоко поднял он руку. И здесь театральный жест! – видит Бог, не я повинен в этой войне, не я ее вызвал и первый обнажил меч. Наоборот, я содрогнулся, чуя неотвратимую катастрофу...

Она молчала. Молчала, хотя возражение так и просилось:

«А кто натравливал Австрию? Кто внушил ей дикую, неслыханную ноту по адресу маленькой Сербии? Ноту, что не могла не явиться искрою, воспламенившей всю Европу?»

– Меня называют убийцей, – продолжал он, – говорят, на мне кровь женщин и детей, уничтоженных цеппелинами, погибших вместе с «Лузитанией». Это ужасно! Все это совершалось и совершается, не скрою, с моего ведома, но это имеет свою глубокую идейную цель. Чем чудовищнее ведется война, тем сильнее у всех желание прекратить ее. Я хотел, чтоб содрогнувшийся мир сказал наконец: «Довольно!» Я хотел сотнями жертв предотвратить миллионные гекатомбы. Но мир охвачен каким-то повальным сатанинским безумием, он опьянен и не только не говорит «довольно!», а жаждет все залить океаном крови, жаждет самоистребления...

Даже Барб, рассеянно слушавшая, далекая, разнеженная приливом чувственности, – лунный свет действовал всегда на нее, – даже она разгадала всю лицемерную фальшь своего собеседника.

– И вот, дорогое дитя мое, вам выпало на долю быть белым ангелом с пальмовой ветвью... Ангелом, над которым развевается белое знамя. Прекраснейшее из всех знамен... Кто знает, быть может, когда утихнет и рассеется весь этот кровавый смерч, ваше имя попадет в историю и человечество будет повторять его, как одно из самых звучных, красивых, обаятельных имен... Что говорить, как действовать – вы знаете. Вам это внушено. Завтра Бетман-Гольвег вручит вам мое письмо, мое собственноручное письмо, и... да поможет вам Бог! Тот самый Бог, – еще театральный жест к небесам, – который знает все, видит все, и прежде всего мою невиновность в этом человеческом самоистреблении...

И вот с этим письмом уехала Барб в Россию. Ей хотелось забыть и про письмо вместе с его автором, и про Манегу, и про всех немецких дипломатов, взапуски натаскивавших ее, что должна говорить, делать и даже думать... Хотела, но не могла... Ей не давали...

Не успела приехать, сейчас же взяли ее в переплет. На Финляндском вокзале Басакину встретил Юнгшиллер, повез на своей машине в «Семирамис», и она знала, что в самом «Семирамисе» будет следить за каждым ее шагом портье Адольф.

Как церемониймейстер, чуть ли не по часам расписал Юнгшиллер каждый ее вечер и день. Тогда-то и тогда-то она должна быть там-то и там-то, тогда-то и тогда-то – встретиться с таким-то и таким-то, или у себя, или на почве нейтральной.

Например, сегодня вечером Басакина обедает у Елены Матвеевны Лихолетьевой. Отправится туда вместе с Юнгшиллером, – он заедет за нею.

Она – вещь, предмет, которым распоряжается, как хочет, по своему капризу чья-то чужая воля. Своя же воля – спит, цепенеет, если она только есть вообще.

Барб вернулась к себе. Пересекая по направлению к лифту кишачий разноязычной толпой вестибюль, она почувствовала на себе брошенный из-за конторки холодный, скользящий взгляд портье Адольфа. Боже, какой противный, липкий, вызывающий физически неприятное ощущение взгляд...

Лифт поплыл вместе с княжной. В глубине длинного коридора с двумя чинными шеренгами белых дверей – ее комната.

Навстречу княжне – высокий брюнет с черной бородой в завитках.

Подумав: «Какая интересная голова», – Барб хотела пройти мимо.

Вовка, остановившись, приветствовал ее глубоким, необыкновенно учтивым поклоном, опустив глаза и сделав преисполненное самого строгого уважения лицо.

– Княжна Варвара Дмитриевна, здравия желаю...

– Pardon, я не...

– Не припоминаете? – подхватил «ассириец». – Загляните в прошлое и вспомните Вову Криволуцкого, который был значительно старше вас, но который, однако...

Барб вся так и засияла отзвуком нахлынувших воспоминаний.

– Вова Криволуцкий! Вы вместе учились с Леной Арканцевым.

– Вашим кузеном... Вот-вот, я был правоведом, гордившимся тем, что носит усы, носит, потому что может их брить, согласно традициям... А вы, княжна, были очаровательным голубоглазым ребенком в светлых кудрях. Какая встреча! Мы соседи, почти соседи. Я живу здесь над вами. Сошел сюда навестить приятеля, но его нет дома, и вот... Давно изволили пожаловать?

– Сегодня.

Открыв двери тяжелым ключом с германским орлом на массивной лопаточке, вместо ушка, Барб остановилась в нерешительности.

Вовка нерешительность эту понял по-своему.

– Можно к вам на минуточку? Можно? Так много воспоминаний! Этот голубоглазый ангелочек в шелковистых кудрях – тогда, и вы – теперь, такая прекрасная, пышная...

Очувтившись в номере вдвоем с Барб, Вовка плотно захлопнул дверь.

Он вспомнил Лаприкен, вспомнил Трудю, эту мощную латышскую Диану.

«Черт побери, я становлюсь каким-то профессиональным оболъстителем!.. Но не моя же вина, что эта Барб дьявольски интересна. Наконец прямо удовольствие украсить рогами этого каналью-аббата».

Он близко, близко подошел к ней, касаясь ее рук своими, касаясь ее груди, касаясь бородою лица, горячо вспыхнувшего.

– Дайте на вас посмотреть... дайте...

Но ничего не увидел, весь уйдя в прикосновения. Не видел, как большие синие глаза затуманились каким-то растерянным безумием, блаженством, а губы покорно-зовуще раскрылись двумя сочными, влажными лепестками.

И ковер ушел из-под ног, опустился, и оба, он и она, закружились и поплыли вместе с комнатой, мебелью, чемоданами...

А когда все было на своих прежних местах, – и мебель, и комната, и Барб с Вовкою, – она, уже без черного берета, кающейся Магдолиною стояла на коленях перед «ассирийцем», в слезах, с распущенными волосами, вся еще во хмелю, и шептала что-то невнятное, сумбурное, истерическое...

6. Носитель «Золотого руна»

Автомобиль с потушенными фонарями (попробуйте не потушить, – австрийцы обстреливают в лучшем виде!) остановился. Дальше уже никак не продвинуться. Дальше – лесная тропинка через буковый лес, ведущая прямо к Днестру.

Загорский хорошо знал тропинку. Вместе с генералом Столешниковым ходил не раз ночью проверять заставы спешенных и сидящих в окопах эскадронов и сотен.

Но тогда было совсем иное чувство. Сознание какой-то спокойной деловитости. Явились, посмотрели, услышали вокруг себя говор, какой-то по-ночному особенный и значительный, услышали сухое, короткое пощелкивание одиноких выстрелов, Бог весть зачем выпущенных и Бог весть где затерявшихся... А затем назад в штаб, к относительно комфорту с лампою, самоваром, постелью.

Теперь – совсем другие ощущения. Да и все кажется другим. Загорский охвачен охотничьим азартным подъемом. В самом деле, он охотник, «следопыт», загримированный галицийским мужиком, и только вот неприятное ощущение – физическое, от этих дурацких наклеенных усов... Он охотник, – охотник, однако, могущий сам легко превратиться в дичь...

А кругом – сонный и влажный запах ночного леса, леса густой темени, таинственных шорохов и как бы чьих-то подавленных вздохов...

Днем шел дождь, крупный, теплый дождь раннего, раннего лета. Вот почему дышал сыростью молодой буковый лес. Вот почему с потревоженных ветвей, как слезы, падали на голову большие, твердые капли и вот почему – это всегда после дождя – «вызвездило» столько светлячков.

И вправду – вызвездило. Вот они, куда ни глянешь, переливаются синими, голубыми, зеленоватыми огоньками в траве. Совсем земные звездочки...

И, как странствующие звездочки-непоседы, как души маленьких лесных существ, летают они во тьме по всем направлениям.

Кавалеристы ловят их на рыси фуражками, и при свете такого ярко-лучистого жучка в самую темную ночь можно прочесть записку или телефонограмму.

И сонное дыхание леса, и светлячки, и рискованность предприятия – все это вместе создавало какую-то нервную повышенность настроению Загорского, наполняя чем-то хмельным, дерзким, ликующим... И, как никогда, хотелось жить, ощущать и впитывать в себя ее, эту загадочную, прекрасную жизнь... Он вспоминал стыдливо-истомные поцелуи пани Войцехович, вспоминал упругую теплую грудь под уютными складками провинциальной кофточки, но видел перед собою губы Веры и чувствовал близко ее грудь, такую невинную, белую, которой никто не касался губами. Никто, даже он – Загорский...

Пахнуло свежестью реки. Вот она внизу, тусклой, теряющейся во мгле полосой. И за этой полосой – неведомое, чужое, враждебное. На том берегу взвилась ракета и, описав огненную параболу и осветив, как вспышкой молнии, все вокруг, – упала. И вслед за этим, – словно кто невидимый быстро-быстро заколачивал гвозди, – сухой, короткий залп. Над головами просвистели две-три пули, и слышно было, как одна из них прошуршала в ветвях.

– Кто идет?

Несколько темных силуэтов словно из-под земли выросло.

Загорский дал пропуск штаба дивизии. Солдат снял фуражку чиркнул внутри ее спичкою, чтоб заслонить огонек от неприятельского берега, прочел записку.

– Так что вас трое?

– Трое!

– Ступай с Богом.

Двинулись вдоль берега. Шли в высокой, влажной траве. Шли с четверть версты. Сели в плоскую рыбацью лодку. Ее относило течением по диагонали.

Чужой берег, круто поднимавшийся в гору, зарос густым лозняком.

Тот, кто был в суконном пиджаке, прошептал:

– Мы так выведем пана ротмистра – ни одна собака не забрешет!

Поднялись на гребень. Прошли еще немного. Тут оба спутника внезапно бросились на Загорского, схватили его за руки, а «суконный пиджак» резко, пронзительно, совсем по-разбойничьи, свистнул. Пока Загорский отбивался, набежало несколько солдат и, стиснув его, скрутили за спиной руки, обыскали, отняли револьвер и потащили за собою.

Западня, самая грубая западня! И как это он пошел на удочку, поверил?! И теперь ему казалось, что и тогда, когда он выслушивал этих каналий, было ясно как Божий день, что они его продадут. Но зачем, какой смысл? Им обещана тысяча, неужели здесь дадут больше?

Его вели долго, и, так как руки были не свободны, он спотыкался. Конвоиры перебра-сывались между собою непонятными пленнику мажарскими фразами. Хотя он не видел солдат, он чувствовал смуглых, скуластых, черноволосых венгров, – так от них пахло острым и крепким потом, и дешевой помадой. Венгерцы все, от аристократа до мужика, любят помадить волосы... Только на войне возможна такая резкая смена впечатлений, только война так играет людьми. Полчаса назад он был у себя, среди своих, свободный и сильный. Кругом трепетали холодными огоньками светлячки, а теперь он весь во власти врага, который может его унижить, заживо сгноить в сырой тюрьме, где капает с потолка сырая слизь, может расстрелять, повесить...

Будь руки свободны, Загорский первым делом сорвал бы наклеенные усы, – таким жалким, лишним, оскорбительным маскарадом казалось это теперь.

А негодяев-предателей и след простыл. Вероятно, побежали вперед похвастать, какого им дурака повезло из него сделать. Вот уже действительно окопачили!

И все это было так мерзко и гнусно, что он заставлял себя не думать ни о чем, и единственным ощущением были – усы, эти проклятые усы! И как это не сорвали их во время свалки, потому что, охваченный бешенством, он отбивался, пуская в ход и кулаки и ноги по всем правилам бокса, как учил его Лусталло – уже погибший на западном фронте, защищая свою дорожку Францию.

Долго шли.

Вот, наконец, и Залещики, и чем ближе штаб, тем оживленней. Какой-то нечистой силою проносятся мимо, с белым снопом света впереди себя, мотоциклетчики. Автомобили, конные ординарцы, пешие патрули...

У стеклянного крылечка, где раньше теплыми вечерами ксендз в обществе почетных прихожан иил кофе с густыми сливками, теперь стояли два громадных боснийца в фесках. Содрогаюсь, тяжело дышит запыленный автомобиль.

Загорского, видимо, ждали в штабе. В низенькой комнате с уютной старосветской мебелью, такой мирной, безмятежной и такой контрастной с этим большим столом посредине, на котором были разложены карты и за которым сидело несколько офицеров австрийских и германских в походной форме...

И здесь с первого взгляда бросилась Загорскому разница между теми и другими.

Австрийцы – тоненькие, изящные, подвижные, легкомысленные в своих куцых голубых куртках к обтяжку. Немцы – тяжелые, монументальные, напыщенные, одетые параднее и богаче, держащие себя господами и откровенно презирающие «союзников».

Несмотря на раскрытые окна, воздух в комнате – сплошное облако сигарного дыма. Австрийский генерал, сухой, с подстриженными седыми усиками и «Золотым руном» на шее, обратился по-немецки к стоявшему меж двух мажарских солдат Загорскому:

– А мы давно поджидаем вас! Давно! Мы знаем вас по вашим портретам... Такой элегантный офицер, и вдруг этот мужичкий костюм.

– Во-первых, я не офицер, а нижний чин, солдат, а во-вторых, я попросил бы для объяснений со мной избрать какой-нибудь другой язык.

Сидевшие за столом переглянулись. Ого, мол, какая дерзость!

Но генерал, – он и сам не прочь был шегольнуть французским языком, – спросил:

– А вы какими языками владеете, господин Загорский?

– Кроме, конечно, родного, английским, французским, польским.

– Давайте говорить по-французски. Вы знаете, что вас ожидает? Мы можем вас повесить, даже без военного полевого суда. Вы, воинский чин враждебной армии, проникли в наше расположение, одетый мужиком с определенной целью – шпионить. На всех ваших портретах вы бреетесь как англичанин, а сейчас вы в усах.

Генерал что-то бросил конвойным по-венгерски, и они грубо сорвали с Загорского наклеенные усы.

Он рванулся всей силою, но удар прикладом в спину убедил его в бесполезности протеста. Он прикусил до крови губы. Австрийцы улыбались, германцы хохотали самодовольно и громко.

Генерал с «Золотым руном» молвил:

– Ну, вот, теперь вы похожи на себя. Лорд в лохмотьях. Скажите, господин Загорский, вам хотелось бы получить свободу?

– Генерал, и вопрос и ответ на него я считаю праздными.

– Ничуть! Говорю совершенно серьезно... Переходите к нам на службу, мы знаем все. Там у себя вы начинаете карьеру сызнова, между тем как здесь...

С гордо поднятой головой пленник перебил австрийца:

– На такие предложения отвечают руками. А руки у меня, к сожалению, связаны.

– Как вы смеете говорить дерзости?

– А как вы смеете мне предлагать измену?

– Что он сказал? – спрашивали друг у друга офицеры, не знавшие по-французски.

Генерал вспыхнул.

– За такую наглость, Загорский, вас следовало бы часа на три подвесить к столбу. Это действует отрезвляюще на самые горячие головы... У вас есть еще другой путь к освобождению. Это – если б русское правительство согласилось взять вас в обмен...

– На кого? – спросил Загорский, невольно улыбнувшись, – до того показалась ему забавною мысль австрийского генерала.

– На кого? На одного из трех лиц на выбор: или униатский митрополит граф Шептицкий, или комендант Перемышля, генерал Кусманек, или помощник его, генерал Арпад Тамаши.

– Генерал, или я совершенно отказываюсь вас понимать, или вы убеждены, что перед вами стоит переодетый принц. Повторяю, я – самый обыкновенный солдат с двумя унтер-офицерскими нашивками, только и всего. За меня вы не получите в обмен даже самого скромного лейтенанта вашего. Смею вас уверить! – добавил Загорский, видя, что генерал все еще сомневается.

– Вы в этом убеждены?

– Вполне.

– В таком разе пеняйте на себя. Если вас не повесят – это будет высокой милостью, – то, во всяком случае, вы разделите судьбу ваших пленных солдат. Строгий режим, взыскания, тяжелый физический труд. Вам это улыбается? А между тем стоит лишь захотеть...

– Я не прошу никакого снисхождения, я нисколько не нуждаюсь в нем, – перебил Загорский, понимая, к чему клонит генерал. – Я знал, на что иду, и готов разделить участь всех моих товарищей, имевших несчастье попасть к вам в плен...

7. Клуб миллионеров

Академик Балабанов постарался...

А Мисаил Григорьевич постарался в свою очередь, чтоб не ударить лицом в грязь в смысле рамы. И действительно, это золоченое тяжелое и безвкусное великолепие, из которого смотрел сам Железноградов во всем блеске своей консульской формы, обошлось в девятьсот рублей и весило вместе с портретом около двенадцати пудов.

Первый день открытия выставки, вернисаж, собрал избранную толпу. Здесь и покупатель, желающий скорее оставить за собою то, что ему понравилось, пока не перебил кто-нибудь; здесь и праздная публика, знающая, что открывать выставки хороший тон, и, наконец, надо же и людей посмотреть и себя показать.

Появление Железноградова произвело сенсацию. Еще бы, кругом все мужчины в черных визитках, военные в скромном защитном цвете, а Мисаил Григорьевич – вырядился попугай попугаем.

На весеннем солнце, как жар, горит золотое шитье «почти сенаторского» мундира. Малиновый звон серебряных, «почти шталмейстерских» шпор. Мисаил Григорьевич держит в руке треуголку и гигантский плюмаж стелется по полу.

Вот если б эта самая треуголка подоспела во время неудачного визита к Лузиньяну Кипрскому! Он имел бы полное право сказать:

– Sire, я мету землю пером моей шляпы... Как бы это вышло галантно!

Рядом с Мисаилом Григорьевичем выступала Сильфида Аполлоновна, сияющая, монументальная, в очень тяжелом и очень дорогом платье. За нею, подгибаясь в коленках, адмирал Обрыдленко, несший соболеву накидку супруги своего патрона.

Мисаил Григорьевич направо и налево жал руки мужчинам, целовал дамские ручки, то и дело рассыпаясь хриплым, скрипучим смешком.

– Вы видели мой портрет? Идем смотреть, идем! – хватая всех под локоть, он тащил к своему портрету банкиров, чиновников, генералов.

– Что вы скажете? Ведь это же работа! Молодец академикус! Постарался! Я всегда говорил: это академикус! – Мисаил Григорьевич покровительственно хлопнул по плечу автора сногшибательного портрета.

– Ну, как вам нравится, как вам нравится? – приставал Железноградов к знакомым. – А рама? Одна рама чего стоит!

Кто-то, желая ему польстить, сказал:

– Вид у вас, Мисаил Григорьевич, поза, ну, совсем Наполеон перед Аустерлицем!

– Я думаю, перед Аустерлицем! Но у того Наполеона была, в конце концов, Ватерла, а у вашего покорного слуги, – перстом себя в грудь, – Ватерлы никогда не будет! Можете быть спокойны!

Другой дежурный льстец, – их все больше и больше росло вместе с звездой Мисаила Григорьевича, разгравшейся все ярче и ярче, – молвил:

– Мисаил Григорьевич, а у вас ведь и внешнее громадное сходство с Наполеоном... Вы прекрасно делаете, что бреетесь; тот же нос, немного орлиный, небольшой рот, полнота...

– Вы хотите сказать, ваше сиятельство, – животик! Да, у меня животик, не будь война, поехал бы в Карлсбад. А ведь в самом деле, я похож на него, и если надеть треуголку поперек и сложить на груди руки...

Мисаил Григорьевич так и сделал, надвинул поглубже на стриженную ежиком голову консульскую треуголку, чтобы круглая кокарда пришлась над лбом, и, насупившись, сложив на груди руки, стал в наполеоновскую позу.

Будь он обыкновенный смертный, его назвали бы шутком гороховым. Засмеяли бы. В самом деле, на выставке такая нарядная толпа кругом, а человек вдруг занимается инсценировками, гримируясь под «Великого Корсиканца».

Но это проделал великий финансист и банкир Мисаил Григорьевич Железноградов, и все нашли это милой шуткой, заискивающе улыбались.

И разве не был он прав, что может делать все, что хочет. Ему все сойдет с рук, и он плюет на всех с аэроплана.

– Я буду плевать, а им это будет казаться, ну, благовонным нектаром, падающим с Олимпа, так, что ли, – я ведь не силен в мифологии...

Какое-то весьма архаическое и весьма реставрирующееся высокопревосходительство подошло к ручке Сильфиды Аполлоновны и стало слюнявить ее перчатку.

Она погрозила пальчиком.

– Как вам не стыдно, почему вы не бываете на моих «журах»?

В ответ – невнятное шамканье, однако определенно извиняющегося характера.

Сильфида Аполлоновна «кружила головы», приписывая это своей монументальной красоте индийского божества с узкой миндалевидной оправою глаз.

– Представьте, я получаю каждый день письма с объяснением в самой пламенной любви. Вы думаете, что я их не показываю Мисаилу? Конечно, да! И мы оба смеемся. Один пишет: «Черное море ваших волос и синий океан ваших глаз сводят меня с ума!» Не правда ли, поэтично? Черное море волос и синий океан глаз... А может быть, он списал из какого-нибудь романа?..

По делам стали для шведской промышленности и лошадей для шведской мобилизующейся кавалерии Мисаил Григорьевич ездил на Север. Через две недели вернулся.

– Ах, вы знаете, нет нигде проходу в Швеции от этих подлых немцев. Стоило мне появиться – учредили форменный шпионаж. Многие хотели со мной познакомиться. Но я говорю: «Но ведь я русский и не желаю знакомиться с подданными страны, которая воюет с нами». Так что ж вы думаете эти мошенники говорят: «Подданный-то вы подданный, однако в то же самое время вы дипломатический представитель нейтральной державы». И действительно, верно. Смотрите, какая получается двойственность: как русский, я должен поворачивать спину, а как генеральный консул нейтральной республики Никарагуа – я должен протягивать им руку и быть вообще лояльным и корректным. Вы скажете, это софизм? Нет, это не софизм! А между тем этот гордиев узел, которого не разрубил бы и сам Александр Македонский, я разрубил, примирив непримиримое: с одной стороны – повернутая спина, с другой – протянутая рука...

Я, – продолжал Железноградов, – им так и говорил, каждому немцу: «В качестве русского человека я не желаю ни беседовать с вами, ни преломить хлеба, ни иметь ничего общего! Но в качестве дипломата нейтральной державы я готов вас выслушать». Понимаете, как в оперетке «Нитуш»... этот органист... Он и Целестин, и Флоридор, – так и я. С одной стороны – Целестин, с другой – Флоридор. «Чего не может Целестин, то очень может Флоридор». Ну, и наоборот... Познакомился с тамошним германским посланником фон Люциусом. Он был здесь советником посольства, розовый такой, пухленький. Я его первым делом отчитал, как русский человек, патриот. Вы, мол, такие-сякие, варвары, не считаетесь с дипломатическими документами. «Что вы себе думаете? – говорю. – Ведь мы же вас задушим, задушим блокадой!..» Но в качестве генерального консула республики Никарагуа я его выслушал. Интересно: Германия спит и видит, как бы помириться. Они устали, ой как устали! Да и вообще война утомляет, и наступил действительно мир, какие открылись бы перспективы!..

Живущий постоянно в России голландец, вернувшись из-за границы, готов был дать голову на отсечение, что видел Мисаила Григорьевича в Берлине. Видел, как тот промчался «Под Липами» вместе с германским министром финансов Гельферихом.

А может быть, этого вовсе и не было, и вместо Мисаила Григорьевича рядом с Гельферихом сидело в автомобиле другое лицо, похожее на него?

Железноградов зачастил ездить в Москву. Там он скупал дома, и доходные, и барские особняки, и лачуги «на снос», на месте которых воздвигались многоэтажные гиганты.

И здесь, в Петербурге, покою не давал ему Гостиный двор, это, в самом деле, уродливое, приземистое архаическое здание, так портящее величественный Невский.

– Не могу видеть, не могу видеть, – жаловался Мисаил Григорьевич, – надо снести весь Гостиный двор, снести к чертовой матери! А на его месте соорудить что-нибудь поистине грандиозное. Это моя мечта! Этим я воздвигну себе памятник нерукотворный. Хотя почему нерукотворный? Ну, обойдется вся затея миллионов этак в пятьдесят. Подумаешь, важность... Акционерное общество, привлечь несколько банков, и – готово! Магазины останутся те же самые, но только в других помещениях, светлых, просторных... Такого здания, которое мне представляется, нет в целой Европе. Надо, чтобы это был финансовый, промышленный, художественный и умственный центр столицы. И я бы сказал еще – увеселительный! Это здание обязано совмещать в себе все. Магазины внизу, как и теперь, а над ними банк, мой банк, а затем еще театр, мой театр, оперный! «Дирекция Мисаила Григорьевича Железноградова» – это звучит не так уж плохо. Затем дворец искусств – для выставок. Затем ресторан, несколько кафе, газета, моя газета! Здесь и редакция, и контора, и типография. На улицу громадные зеркальные окна, чтоб публика видела, все видела! Как выпускается номер, как работают машины. Да, да, машины. Париж еще до этого не додумался. В Париже на улицу выходят редакции, но типографии не выходят. Затем мы сделаем еще так: дадим публикацию, что у такого-то окна, в такие то часы знаменитый писатель Леонид Андреев, Куприн или Горький будет писать для нашей газеты роман. Какая реклама! Публика будет дежурить громадной толпой у окна, чтоб увидеть, как работают наши знаменитости, присутствовать во время творчества... Конечно, все будет раньше написано, а ему останется делать вид, что он думает и водит пером. Кажется, такие же инсценировки делала одна парижская газета, не помню, «Figaro» или «Matin» с Альфонсом Додэ. Он садился перед окном, ерошил волосы, грыз перо и делал вид, что пишет... Тираж газеты увеличился. Наше кафе мы поставим тоже на высоту. Будут получаться газеты и журналы всего мира, затем я совсем не против легкого, веселого жанра, мы выкроим место для колоссального шантана, вроде берлинского «Винтергартена». Вертящаяся сцена, лучшие этюали, первоклассные номера... Что же еще?.. Кинематограф. Кинематограф, который затмил бы парижский «Гомон». Кинематограф – газета. Затем – клуб... Клуб миллионеров... Членами имеют право быть люди, имеющие по крайней мере один миллион. «Клуб миллионеров» – это будет новое слово русской социальной жизни. Это будет первый шаг к полному господству нашей финансовой аристократии, аристократии будущего. Раз в неделю в клубе миллионеров будут устраиваться товарищеские обеды, по двести рублей с персоны...

Так уносился в мечтах своих Железноградов. Богатая фантазия дельца и спекулянта рисовала на месте жалкого, вросшего в землю Гостиного двора неслыханное, невиданное здание-город, башнями своими, куполами и чем-то еще, – чего и сам Мисаил Григорьевич не мог представить себе ясно, – поднимающееся высоко к небесам.

И творцом этого чуда, совмещающего в себе магазины, выставки, редакцию, типографию, ресторан, кофейни, шантаны, оперу и клуб миллионеров, будет он, Мисаил Григорьевич Железноградов, генеральный консул республики Никарагуа...

8. Удар

Ехали Криволуцкий с Забугиной в действующую армию с большими, по военному времени в особенности, удобствами.

«Ассириец» представлял комендантам на главных узлах какую-то бумагу, и в результате и ему и Вере предоставлялось по отдельному купе.

И вот с Прибалтийского Севера очутились на теплом юго-западе. В Киеве, таком ярком, веселом, жизнь ключом била. Здесь уже чувствовался тыл многомиллионных армий, дравшихся и на Волыни, и в Галиции, и под Люблином, и в Карпатах. Множество офицеров в походной форме, только что вернувшихся с позиций, сохранивших боевой налет и в блеске глаз и в чем-то еще неуловимом...

Через Киев проходили громадные партии австрийских пленных.

Веру все это захватывало, радуя и само по себе; и тем, что отсюда уже совсем близко, рукой подать – близко... Говорят, надо ехать столько-то часов до Жмеринки, а оттуда еще порядочный кусок до Волочиска... От Волочиска до Тернополя...

Господи! Она столько намучилась, вынесла, настрадалась, истомилась полной неизвестностью, что лишних двадцать-тридцать часов – можно ли о них говорить серьезно!..

А Криволуцкий, заботливый, чутко внимательный, все ободрял ее:

– Капельку еще терпения, Вера Клавдиевна! Я понимаю: чем ближе, тем дальше кажется, потому что секунды вытягиваются в часы... Но, в конце концов, увидите, как промелькнет незаметно время. Ближайшая ночь – в вагоне...

– Я не сомкну глаз...

– А вы заставьте себя! Это можно. Все мысли в одну точку. Думайте о волнующемся море или о том, как колышется рожь... Заснете! Только ближайшая ночь, а наутро мы получим автомобиль и вы лично убедитесь в превосходном качестве галицийских шоссейных дорог...

В Тернополе в штабе армии «ассирийцу» сказали, что Загорский, вот уже больше недели ушедший в опасную разведку, не вернулся. И оба лазутчика, местные жители, взявшиеся за деньги провести его в австрийское расположение, исчезли... Факт предательства – налицо...

Эта неожиданная новость холодом обвееяла Криволуцкого. Надо было скрывать от Веры, скрывать с болью, видя, как она – весь один сжигаемый нетерпением трепет – рвется к своему Диме.

И вот они мчатся дальше. Автомобиль несет их мимо обозов, мимо наших серых колонн и голубых растянувшихся колонн пленных австрийцев, мимо живописных оврагов, лесов, полей, старых костелов и белых, соломою крытых халуп.

Только ветер свистит кругом... Шофер-солдат хочет щегольнуть безумной скоростью, зная, что седоки спешат, и предвкушая пятирублевую бумажку на чай.

Быстро, – нельзя быстрее! А Забугиной кажется, что они ползут медленно-медленно... И когда тяжелая батарея с пушками и зарядными ящиками задержала их минут на двадцать, Вера плакала слезами нетерпения и досады.

Господи, да что же это! Ведь мы без конца ждем... Ведь это ни на что не похоже! – и в эгоизме любящей, Вере казалось, что батареи – Бог с ними, скучное что-то, никому не нужное, лишнее, попавшее поперек дороги ей, у которой впереди весь смысл жизни.

Вовка молчал, тербя свою чудесную ассирийскую бороду. Это было у него признаком величайшего волнения, так как бороду свою он берег и холил, обращаясь с нею весьма почтительно. Единственно, что он обыкновенно позволял себе, это – любовно и важно спрессовывать ее ладонями.

«Вот глупейшее, корявое положение! – подумал он. – У меня даже не хватает решимости хоть как-нибудь косвенно ей намекнуть».

В штабе дивизии Вовка хотел сначала сам повидаться с генералом Столешниковым. Надо подготовить его, чтобы он в свою очередь подготовил невесту Загорского.

– Вера Клавдиевна, посидите минуточку, я сначала пройду в штаб, разузнаю, как и что.

– Если он в штабе, – ведь он в штабе, – пришлите его, только скорее! Слышите! Господи, как сердце бьется... Неужели.

– Хорошо, если только он здесь, – не глядя на нее, ответил «ассириец», выходя из автомобиля. – Ведь и так бывает... Они, штабные, целыми днями пропадают на позициях...

И, уже поднимаясь на крыльцо, Вовка оглянулся украдкой... Сидит, вся дрожа от волнения, и все существо ее светится каким-то лучистым сиянием – и такая она интересная, хорошенькая, в сером дорожном платье, купленном в Киеве, и в мягком английском берете!

Генерал совещался с Теглеевым. Хотя, вернее, Столешников говорил: надо, мол, сделать той то, говорил дельно и разумно, и начальнику штаба волей-неволей оставалось только соглашаться. Конечно, в глубине своей уязвленной души он считал себя гением если и не Наполеону, то, во всяком случае, старому Мольтке равным.

Доложили о Криволуцком. Столешников встретил его, как знакомого. Они встречались в Петербурге еще до войны.

– Ваше превосходительство, Загорский в плену? Это верно?

– К моему глубокому сожалению, да! Не могу до сих пор освоиться, что его нет...

– Его дальнейшая участь неизвестна?

– По нашим агентурным сведениям, он жив, и хотя ему грозит военно-полевой суд, но есть основания полагать, что жизнь-то, во всяком случае, пощадят. У них желание «сыграть на нем»... Они придают ему большое значение, думая, что в обмен за него русские отдадут по крайней мере генерала Кусманека... Австрийское легкомыслие, возвращенное венскими кофейнями... Что ж, пусть они подольше останутся в этом приятном для нас заблуждении... До конца войны, после чего Загорский вернется к нам. Интереснейший человек и полезный работник, талантливый, сообразительный... Я не сомневаюсь, он вернулся бы преблагополучно назад, – это уже не первая его эскапада с переодеванием, но здесь сыграло свою роль обдуманное предательство... Вообще, темная история... Вы у нас, конечно, завтракаете?.. Через час милости просим к столу...

– Ваше превосходительство, я не один, со мною невеста Загорского.

– Невеста? Час от часу не легче!.. Что же мы ей скажем, бедняжке? Она его очень любит?..

– Безумно!

– Это уж совсем плохо... Скрыть нельзя, а правда ошеломит. Трудно провести это с дипломатическим тактом, – правду... Где она?

– Сидит в автомобиле.

Столешников глянул в окно.

– Какая милая... Так и расцвела в ожидании...

– Я потом расскажу вашему превосходительству, что с ней было. Целая эпопея... А теперь, как же ей сказать?

– Скажите, что я командировал его по всему фронту дивизии и что это займет добрых двое суток. Пока, мол, к ее услугам комната Загорского, где все в полной неприкосновенности... Пусть отдохнет, а вечером вместе с нею ужинать к нам. А дальше... дальше там видно, будет... Неприятная история...

«Ассириец» вернулся к Забугиной.

– Так и есть, как я говорил, Вера Клавдиевна... Дмитрий Владимирович объезжает фронт дивизии, это мало-мало – парочка дней...

Сияющее личико сразу погасло.

– Два дня? Я не увижу его в течение двух дней? Ведь это же близко, так близко... Это ужасно... А нельзя поехать к нему... туда?..

– На позиции? Христос с вами, Вера Клавдиевна! Кто же вас пустит... вы – частное лицо, женщина.

– Так как же быть? Я с ума сойду от нетерпения... Поймите же вы меня! – вырвалось у нее с тоскою.

– Э, мой друг, вы слишком нервничаете, возьмите себя в руки, побольше терпения и успокойтесь.

– Ах, вы никогда не поймете!..

– Почему? – обиделся Вовка. – Вы думаете, что я не способен на глубокое чувство? Ошибаетесь!

Он водворил Забугину в домик под черепичной крышей у пани Войцехович, в той самой комнате, где жил Дима, и Вера спала на его походной кровати. Если б она могла спать! Вся ночь без сна. Каждый шорох, стук – и Вера, вздрагивая, прислушивалась: не он ли вернулся?..

А со стены смотрел на нее обрамленный маленькими ракушками жандарм с закрученными усами.

Прошел день, бесконечно длинный... Места себе не находила Вера.

Дальше тянуть и обманывать было бы издевательством. «Ассириец» и Столешников решили «подготовить» Забугину.

– Только это вы на себя возьмите, ваше превосходительство, очень прошу...

После общего обеда-ужина в столовой все разошлись, и генерал остался с глазу на глаз с девушкой.

– Он скоро вернется? Вы надолго послали его, генерал? Уже второй день. Сегодня вернется? – спросила Забугина, только об одном думавшая.

– Пожалуй... Вернется, если... Ведь он у нас такая отчаянная голова! Если, зарвавшись вперед, не... если его не возьмут в плен австрийцы...

– В плен! – воскликнула Вера, вся пронизанная чем-то жутким-жутким.

– Это бывает сплошь да рядом, и, право, ничего особенного. Вот германский плен, – это не дай Бог никому! А у австрийцев – совсем другое, и отношения мягкие. Словом, ничего страшного, – кривил душою генерал, подготавливая удар. – И наконец, оттуда легко убежать... Побег – сплошь да рядом!.. Дмитрий Владимирович хотя и солдат, но австрийцы мнят его Бог знает какой высокой особой, надевшей для забавы унтер-офицерские нашивки. Ему будет великолепно в плену, предупредительное отношение, комфорт. Я уверен, со дня на день мы опять увидим его среди нас.

Как меняется Вера... Отхлынула краска, лицо стало бледное-бледное, словно какой-то вампир выпил изнутри всю жизнь, всю кровь... Глаза потемнели, сделались большими, почти безумными...

– Так он в плену, Дмитрий? Значит, скрывали?..

– Ничего не скрывали, Вера Клавдиевна, да и скрывать было нечего... Ведь это же пустяк... Повторяю, австрийский плен... – «одно удовольствие», – чуть не вырвалось у Столешникова, но он спохватился. – Это совсем, совсем не так страшно... Давайте держать пари... à discrétion, что он убежит... Охраны никакой, все способные носить оружие на позициях, и пленных стерегут дряхлые старцы, слепые, хромые, калеки...

Вера не слышала, глядя в одну точку немигающими, остановившимися глазами.

Нехорошо почувствовал себя Столешников. Он охотнее промчался бы вдоль фронта своей дивизии под самым действительным огнем... Это было бы гораздо приятнее и легче.

9. Жена изменница и саркофаг Аписа

– У моей жены есть любовник! У моей жены есть любовник! – повторял Мисаил Григорьевич, комкая в своих мягких, пухлых, с обкусанными ногтями пальцах анонимное письмо.

Он пытался представить себе, как полная, монументальная Сильфида изменяет ему, пытался, но не мог, – это было выше его понимания...

А между тем в письме совершенно ясно, черным по белому:

«...Они встречаются в домах свиданий, или в Аптекарском переулке, или Волынкином. Можете заехать и, сунув швейцару четвертной, спросить: бывает ли высокая, толстая дама с таким черномазым господничком, смазливый, прежде штатским, а теперь в военно-чиновничьей форме? Спросите, и швейцар скажет вам – да, бывают...»

Следовало еще кое-что, целый ряд новых подробностей и в конце: «Искренний доброжелатель».

Еще бы не искренний! Еще бы не доброжелатель! Иначе какая же это была «анонимка»?

Железноградову хотелось отгадать автора. Отгадаешь! У него столько врагов, и все они – хлебом не корми – рады, счастливы ему напакостить.

– Какое свинство! День так хорошо начался. Из Москвы телеграмма, что князь Головкин-Охочинский согласен продать свою усадьбу Мисаилу Григорьевичу. И главное – такие гроши! Всего за восемьсот тысяч!

Да и то не наличными деньгами, – вынь да положь. Мисаил Григорьевич скупил княжеских векселей на сумму в полмиллиона и тогда лишь тихонько показал свои когти.

Головкин-Охочинский, в тысячелетнем роду которого было девять святых и много, без счета, воевод, губернаторов и посланников, почувствовал у своего сиятельного горла железноградские когти.

И вот усадьба, чуть ли не в центре Москвы, с барским домом под плоским, Растреллиевым куполом, с художественным убранством и даже фамильными портретами, все это – за восемьсот тысяч!

Портреты Мисаил Григорьевич возьмет к себе, в свой дворец. Нет своих фамильных портретов, – пусть чужие висят. Конечно, все это дворянская труха! Какое ему дело, что особняк строился самим Растрелли? Он будет снесен, и на месте его гордо поднимется к облакам двенадцатиэтажный доходный небоскреб. Это будет первый на Москве двенадцатиэтажный дом.

И вот после такой телеграммы – вдруг анонимка! Настроение Мисаила Григорьевича если не совсем упало, то, во всяком случае, понизилось.

Надо объясниться с женою.

Немытый, в грязном халате, забравшись с ногами на кожаное кресло и сидя в позе «Мефистофеля» Антокольского, упершись коленом в подбородок или подбородком в колено, – Мисаил Григорьевич грыз ногти.

Он не мог никак бросить отвратительную привычку эту.

– Тебе надо ходить в смиренных перчатках! – говорила ему жена. – Как тебе не стыдно? В нашем кругу считается дурным тоном – грызть ногти.

– А как ты думаешь, светлейший Потемкин-Таврический был человеком нашего круга или нет?..

– Нашего, – так что ж из этого?

– А то, моя милая, великолепная Сильфидочка, что он тоже грыз ногти.

Да, Сильфидочка... великолепная... а вот, оказывается, изменяет... Надо ее вывести на чистую воду.

Мисаил Григорьевич позвонил. В кабинет вошел высокий, бритый лакей в вицмундире с аксельбантом и в плюшевых гетрах. Мисаил Григорьевич требовал, чтобы с утра оба лакея были в «полной парадной» форме.

– Я не признаю этих серых курток по утрам, этих полосатых жилетов, как во французских семьях. Прислуга в порядочном барском доме должна быть всегда тире а катер эпенгль!

Лакей, служивший раньше по странному совпадению у князя Головкина-Охочинского, брата московского князя, на шее которого Железноградов затянул петлю, замер с непроницаемым видом, как это полагается слуге хорошего дома.

– Ступай на половину ее превосходительства и скажи камеристке генеральши, что я прошу ее превосходительство, если они встали, пожаловать ко мне в кабинет.

– Слушаю, ваше сиятельство.

Минут через десять Сильфида Аполлоновна в красном капоте и со спутанным узлом своих «подобных черному морю» волос вошла в кабинет, «кабинет гигантов», несогласно семейным традициям, подставила мужу для поцелуя щеку.

Но поцелуй не последовал.

– Мисаил, ты дуешься? Ты вступил с кровати левой ногою?

– Я вступил обеими ногами знаешь во что?.. Прямо в грязь.

– Я тебя не понимаю... Это – символика?

– Да, хорошая символика, символика, от которой смердит... Благодарю тебя за такую символику. Садись и слушай.

– Может быть, к тебе на колени? С меня массаж согнал тридцать два фунта, и я уже не такая тяжелая.

– Друг мой, после всего, что я знаю, тебе надо хорошенько дать коленом в один из твоих почтенных окороков, а не сажать на колени.

– Фи, Мисаил, я не узнаю тебя, – откуда, этот жаргон? Ты водишься Бог знает с кем и охамился...

– А с кем ты водишься? Словом, ты мне изменяешь! Вот неопровержимое доказательство. Ясно, как шоколад. Здесь сказано, с кем, где и когда. Я же называю имени, это имя жжет мне гортань, но мы понимаем друг друга. У тебя роман с этим писанным красавчиком, хотя, видит Бог, я для себя не хотел бы такой красоты. Красота альфонса! Это правда, – не унижайся до отрицания, – правда?..

– Если ты все знаешь, скрывать нечего, – правда.

Мисаил Григорьевич засопел, выбивая дробь пальцами по письменному столу, за которым решались многомиллионные дела, аферы и «комбинации».

– А зачем же ты говорила, что обожаешь меня, влюблена? Питаешь самые нежные чувства?

– Я и теперь это скажу! Я действительно считаю тебя гениальным, преклоняюсь пред тобой и буду преклоняться. Ты великий человек, быть может, единственный не только в России, но и в Европе...

– Так в чем же дело, в чем же дело? – перебил Железноградов.

– А в том, Мисаил, что ты – не мужчина! Ты вечно занят, хлопчешь, нервничаешь, мечешься, вся твоя сила уходит на осуществление твоих грандиозных проектов и там еще не знаю чего. А для меня ничего не остается. Ты посмотри на меня, какая я есть! Посмотри, разве я могу жить монахиней?..

Мисаил Григорьевич окинул взглядом необъятную фигуру жены здоровенной, кровь с молоком бабы и решил, что действительно, Сильфида ни в монахини, ни в подвижницы не годится. Смягчившийся, он, помолчав, примирение спросил:

– Но почему твой выбор остановился на нем?

– Почему? Разве женщину спрашивают – почему? Он умеет любить... он умеет ласкать... Он так изобретателен...

– Профессионал, черт возьми...

– Не будь злым, дорогой, это тебе не идет! В тебе говорит зависть самца. Будь выше этого.

– Да, я действительно плохой муж, – согласился Железноградов, – но почему ты не сказала раньше?

– Ты же ни спрашивал! Я не хотела тебя огорчить...

– Теперь я понимаю, теперь я все понимаю... По твоей просьбе я устроил этого... аль... этого господина в организацию Елены Матвеевны, и он ходит в погонах, звенит шпорами и носит шапку. Затем ты просила устроить его в «Марсельский банк»...

– И сейчас прошу, Мисаил... Тебе стоит замолвить словечко...

– Да, но теперь, когда я знаю, что он – твой любовник, не удобно просить...

– Теперь-то и удобно! Ты действуешь в открытую, ты просишь за него, как великодушный рыцарь...

Банкир продолжал:

– Хорошо, будет сделано. Сегодня же позвоню в телефон к Раксу, и этот наш друг дома будет получать тысячу рублей в месяц... Он так умеет ласкать, так умеет... А теперь довольно про это... Что я хотел сказать?... Да, с завтрашнего дня начнется ремонт нашей ванной комнаты... Необходимо ее расширить, я уже советовался с архитектором Блювштейном. Талантливый человек! Умный человек! В Испании изучал мавританский стиль. Он сегодня привезет чертежи... Он советует переделать ванную комнату в арабском стиле. С потолка свешиваются вроде, знаешь, сталактитов... Тоненькие колонны подпирают острую в виде подковы арку... Я хотел сперва что-нибудь вроде римской бани, но Блювштейн отсоветовал. Говорит, нужен крупный масштаб, а мавританскую можно и поменьше. И знаешь, самая ванная будет не наружу, а в глубину, вроде маленького бассейна. В жаркое время там можно будет сесть, сидеть и обдумывать... Наполеону самые гениальные мысли приходили в голову, когда он брал ванны. Это будет ново, об этом будут говорить, а снимок я напечатаю в газетах... «Мавританская баня или ванная комната, – текст мне составит брат Гриша, он литератор, – Мисаила Григорьевича Железноградова, генерального консула республики Никарагуа». Это будет шикарно. Как ты находишь?

– Еще бы, сколько будет разговоров!..

– Знаешь, Сильфида, мы устроим торжественное открытие...

– Открытие ванной комнаты, – удобно ли, Мисаил?

– Почему неудобно? Плевать я хочу на всех! Что, я разве не барон своей фантазии? Закачу обед, и все явятся и будут жрать, пить и взапуски восхищаться нашей мавританской баней. Перемычкина позову, целая «звездная палата» соберется! Теперь я должен ехать на фронт. Необходимо получить георгиевскую медаль за храбрость. Знаешь, что я придумал: я поеду во главе своей собственной колонны санитарных автомобилей. Я уже заказал. Через два месяца будут готовы шесть великолепных машин. Последнее слово техники! В каждой – четыре подвесных койки, отделение для санитаров, тут же маленькая аптечка, словом – небольшие лазареты на колесах. За эту идею мне дадут, пожалуй, очередного Станислава. Сам я поеду в походной консульской форме. Уже Балабанов сделал рисунок. Защитная куртка со жгутами, красные галифе, сапоги, шпоры... Увидишь, каким я буду бравым военным. Ты в меня влюбишься и бросишь своего купленного красавчика, – пошутил Железноградов.

– Мисаил; стыдно, я и так в тебя влюблена, но разве моя вина, что ты не мужчина...

– Я тоже не виноват, а в души Шарко и в эти шарлатанские электрические пояса я не верю. Да, знаешь, что мне предлагали в Берлине?..

– Тише... тише, Мисаил...

– Глупенькая, нас же никто не слышит... Предлагали купить гробницу Аписа.

– Что такое?

– Гробницу Аписа. Это священный буйвол у древних египтян. Этим Писов хоронили в таких саркофагах из гранита и черного мрамора. Это вроде громадного каменного ящика. Хотели двести пятьдесят тысяч марок – и то по случаю. Но не в этом дело... Что такое двести пятьдесят тысяч марок? Я думал: зачем нам саркофаг Аписа? Зачем?.. А теперь вспомнил: хорошо бы из него сделать бассейн для ванной. Он так велик и просторен, что мы можем купаться втроем... вместе с другом дома. Вот была бы сенсация! Купаться в саркофаге Аписа! До этого еще никто не додумался.

– Никто, – подхватила Сильфида Аполлоновна, – я же говорю, что ты гений... Ты и теперь велик, но ты пойдешь еще дальше!.. Ты поднимешься так высоко, так высоко, что просто страх даже.

10. И там и здесь

Вера не вынесла потрясений. Да и все пережитое, казалось, погасшее в лучистой жажде встречи с Димой, напомнило о себе, прихлынуло вновь. Обвеяло жуткими призраками... Девушка слегла. Слегла в походную кровать своего жениха. Вот где сказалось доброе сердце пани Войцехович. Она знала, что Вера нажечена (невеста) пана ротмистра. Зная, – имела полное основание ревновать, но поймите женское сердце, – с трогательной заботливостью ухаживала за больной.

За больной – не то слово. По определению дивизионного врача, Забугина не была ничем больна. Ее слабость, общее недомогание он объяснял полным упадком сил вследствие целого ряда тяжелых нравственных испытаний.

Последнее переполнило чашу, и без того налитую до самых краев. Ценою мук, трудных и сложных препятствий купила она себе, наконец, право обнять любимого человека... Горела вся этим мгновением... А он оказался в плену. И главным образом мучило Веру – это было сплошное терзание, – он-то, Дима, не знает ничего о ней, настолько не знает, что, наверное, убежден в ее, – страшно подумать – смерти.

А Вовку дела звали назад в Петербург. Он уже получил две зашифрованные телеграммы от Арканцева, по обыкновению, лаконические, с требованием скорейшего возвращения.

И вот «ассириец» оставил Веру на попечение Столешникова.

Под строгим секретом, – до поры до времени секретом, – сообщил он все генералу. И как Вера невольно проникла в темные взаимоотношения Лихолетьевой, Шацкого и Юнгшиллера и как ее похитили, и все дальнейшие мытарства, до приезда в штаб дивизии включительно... Маленький смуглый генерал с умным, выразительным лицом ушам не верил...

– Все, что вы говорите, сплошной ужас! Кошмар! В то время, как мы здесь воюем, в то время, как вся армия, от генералов до последнего солдата, охвачена одним порывом, одним желанием снести, уничтожить врага, – там, позади, в тылу, нас продают, нами торгуют, да что нами, всей Россией! Это ужасно! Вот вы назвали ряд имен. Какие люди, какие лица занимаются этим презренным ремеслом... Ремеслом сатаны... Так вы говорите – Лихолетьева... Она мне всегда казалась подозрительной... Это Бог знает откуда и как взявшаяся авантюристка... Сам он – тюфяк, ослепленный старческой влюбленностью, тюфяк, но не подлец. Но почему же молчат, медлят... Почему ее не арестуют?..

– Еще не настал час, ваше превосходительство... Мы хотим накрыть всю шайку... И тогда один за другим аресты пойдут... Сенсационные!.. Все ахнут!.. Поживем – увидим, и скоро увидим. Напоследок моя просьба к вам – берегите эту бедняжку Забугину. В наших руках это один из главных козырей. Недаром вся эта канальская банда так хотела ее обезвредить! Берегите ее, ваше превосходительство... Здесь она будет в большей безопасности и под надежнейшим надзором, чем где-либо... Я уверен, эти господа разнюхают об ее местонахождении. У них ведь агентура поставлена куда лучше нашей... Командируют кого-нибудь либо вторично выкрасть ее, либо совсем «ликвидировать».

– Головой ручаюсь за полную неприкосновенность вашей протеже! – с убеждением воскликнул генерал.

– Главное, не подпускайте на пушечный выстрел Шацкого. Тоже повадился к вам ездить. Я уверен, что Загорский очутился в плену не без благосклонного участия этого полупочтенного.

– Возможно ли?..

– И даже весьма, ваше превосходительство. Это агент Лихолетьевой и Юнгшиллера.

– Так он не племянник Елены Матвеевны?

– Точно в такой мере, как я племянник, ну, скажем, Юаншикая...

– Позвольте, позвольте... Многие становятся ясным. Он вел себя здесь довольно подозрительно, носился повсюду на своей машине. Видели его беседующим в укромных уголках с какими-то личностями... Я тогда не придавал значения, человек носит форму... Бумаги, и в том числе разрешение бывать повсюду на фронте – в порядке. Уполномоченный, чего же еще? Внешность говорила за него, но в чужую душу не влезешь.

– Гоните его!

– Уж будьте спокойны... Так встречу, больше не сунется!..

– Но вот еще необходимая оговорка, ваше превосходительство. Можете обойтись с ним строго, можете выпороть его, но не раскрывайте нашей тайны. Не надо вспугнуть раньше времени этого молодчика...

Поручив уход за Верой дивизионному врачу и пани Войцехович, «ассириец» помчался в Петербург.

А дня через два-три в штаб дивизии прикатил на своей машине улыбающийся голым, костистым лицом Шацкий. Уже фамильярно, в качестве старого знакомого, закадычного друга – прямо к Столешникову.

– Ну вот, генерал, я опять к вам. Что хорошенького?..

Столешников не заметил протянутой руки.

– Что вам угодно здесь, сударь?

– Как это что? Так, вообще... Заехал поболтать и все прочее... Я вас не понимаю...

– Болтать нам с вами не о чем. Мы здесь для дела, большого, серьезного дела, а не для болтовни, и вообще, я вас убедительно прошу оставить раз навсегда в покое расположение моей дивизии... Я вас вижу здесь в последний раз, слышите!..

– Ваше превосходительство, я не допускаю по отношению к себе такого тона, – протестовал Шацкий. – Я ничем не заслужил... Я буду жаловаться, я телеграфирую тетушке Елене Матвеевне, что вы мне препятствуете исполнять мои прямые обязанности по инспекции перевязочных пунктов района...

– Телеграфируйте, делайте что вам угодно! Я не боюсь ни ваших тетушек, на ваших дядюшек, но я требую, чтобы вы уехали сию же минуту!

– Хорошо, я уеду. Хорошо, я уеду! – вызывающе повторял Шацкий.

– Вы уедете под конвоем.

– Как под конвоем?

– Так! Я вам в провожатые двух конных казаков дам. И они вас доставят до Ягельниц. А там – дорожка скатертью на все четыре стороны! Поэтому скажите вашему шоферу, чтобы ехал шагом. Казаки пойдут строевой рысью, а если вы до Ягельниц посмеете развить большую скорость, казаки будут стрелять. Вот и все! Засим – прощайте.

И, круто повернувшись, генерал оставил Шацкого одного.

«Что-то неладное», – смекнул Шацкий.

Он ждал совсем другого приема, а главное, в нескольких шагах от штаба, – перейти только дорогу, – находится Вера Забугина. Сорвалось, ничего не поделаешь!

Шацкий, в сопровождении двух казаков с винтовками, кляня на чем свет стоит Столешникова, покинул негостеприимный штаб дивизии. Покинул, думая:

«Ну, и влетит же мне от Юнгшиллера!»

«Ассириец» успел вернуться в Петербург и дать Арканцеву самый подробный отчет в своей командировке.

А на другой день телефонный звонок Леонида Евгеньевича с требованием следить за каждым шагом Варвары Дмитриевны Басакиной. Мы уже знаем, чем кончилась первая попытка в этом направлении...

Это была система Вовки. Чтобы легче следить за женщиной, если она интересна и молода, – самое лучшее сделаться ее любовником. Верный своей системе, «ассириец» в самом

начале войны близко сошелся с австрийской шпионкой графиней Чечени. Результаты получились блестящие. Это было в полном смысле слова соединение приятного с полезным. Графиня оказалась очаровательной любовницей, и, кроме того, Вовка переманил ее в свой лагерь. Она снабжала ценными агентурными сведениями и Вовку, и самого Леонида Евгеньевича Арканцева.

Но вкусы у людей разные. Вовке такая система сугубо нравилась, Юнгшиллера она приводила в бешенство.

Уже через полчаса знал «король портных», что Вовка оставался у княжны более часу, и когда лакей немец Густав, переделавший себя в эстонца, сервировал в номере княжны чай, лица новоиспеченных любовников сияли, а княжна, как солнце после дождя, улыбалась с заплаканными глазами.

Этого было довольно Юнгшиллеру. Отвозя на машине Басакину обедать к Лихолетьевой, он отчитывал княжну во все тяжкие.

– Фи, как вам не стыдно! Вы из такого хорошего дома и так легко отдаетесь мужчинам! Что скажет аббат Манега, если он узнает? А он узнает, я ему сообщу об этом. И главное, кто, кто? Криволуцкий! Если бы это был порядочный молодой человек, я и слова не казал бы. Почему же, всякий имеет право получить свое удовольствие. Но Криволуцкий, Криволуцкий? Это враг и наш личный, и нашего общего дела. Это правая рука вашего сановного кузена, который готов истолочь нас всех в порошок! Стыдитесь, княжна, стыдитесь! Я еще добрый, снисходительный человек, другой на моем месте объявил бы вас изменницей. А вы знаете, как поступают с изменницей? Вот здесь была графиня Чечени. Ее тоже увлек этот негодяй, этот «ассириец». И что женщинам, этим глупым бабам, нравится в нем? Решительно не понимаю!..

Басакина молчала там у себя в углу автомобиля. Она съжилась, уменьшилась под гнетом своего собственного презрения к себе. Господи, до чего она низко упала! Ее, княжну Басакину, смеют грубо и нагло, как уличную тварь, третировать! И кто же, кто? Немец-колбасник, – они все колбасники, – хоть и торгующий не свининой, а платьем.

Действительно было от чего прийти в ужас!..

Ровно в полночь явился «ассириец» к Арканцеву, в его холостую квартиру на Мойке. Он почти столкнулся в дверях с молодым полковником. Остриженный гладко, ежом, полковник с энергичным, скуластым лицом уносил туго набитый бумагами портфель.

Арканцев встретил Вовку в своем большом, увешанном картинами, кабинете.

– Ты видел военного? Знаешь, кто это?

– Не знаю.

– Восходящая звезда, полковник Тамбовцев. Человек громадных способностей. Терпеливо на протяжении полугода собирает улики против Железноградова и всей компании. Улики – потрясающие! Ну, что, как ты? Успел хоть немного понаблюдать за Барб?

– Представь, мы даже познакомились. Вернее, возобновили наше утерянное знакомство. Ведь я ее знал ребенком. Помнишь? И мы так мило провели часок, уйдя целиком в воспоминания моей мятежной юности и детства княжны.

– Но почему ты не смотришь мне в глаза? Или твои воспоминания так игривы? Но это меня не касается. К делу!..

– Юнгшиллер заехал за нею, и они отправились обедать к Елене Матвеевне.

– К Елене Матвеевне, – соображал Арканцев, разглаживая свои душистые, каштановые баки, – это весьма и весьма любопытно. Ты мне принес ценное сведение. Жаль, что ушел Тамбовцев, но ничего, я не дам ему вернуться домой и позвоню. Скоро, очень скоро вся эта милая тесная компания...

11. Под дулом браунинга

Вовка посидел еще у Леонида Евгеньевича.

Арканцев, с виду сухой, прозаический, – да он и был таким по натуре, – любил, однако, живопись. Уже много лет собирал картины, покупая их и за границей, и в Петербурге, то «по случаю», то на аукционах, то у антикваров.

Вот и сейчас похвастал «ассирийцу» новым приобретением. Небольшой портрет красивой, с удлинённым личиком дамы, одетой и причёсанной по моде двадцатых годов. Покатые, обнаженные плечи. Волосы, двумя густыми, черными и гладкими крыльями, идущие от прямого пробора, закрывают виски и уши.

– Очаровательный этюд! – восхищался Арканцев. – Лицо как написано! Плечи! Этот холодной синевою отливающий тон тела брюнетки! Кто эта неизвестная? Пожалуй, одной рукой писала нежные и сентиментальные «биеду», а другой – хлестала по щекам крепостных девок. Пастораль уживалась с грубой жестокостью. Кто бы это могла быть? Не этюд ли это Брюллова к его знаменитому портрету Волконской?

– Возможно, – согласился Вовка, – хотя, насколько мне помнится, Волконская на портрете гораздо смуглее. Однако мне пора, – спохватился «ассириец», вставая. – Я тебе больше не нужен?

Он условился с Барб, – около часа заглянет к ней...

Заспанный швейцар выпустил Криволицкого, и он пошел вдоль пустынной Мойки, ближе к воде, мимо чугунной ограды. Какое-то дремотное величие было в этом сонном городском пейзаже. Упругая четкость линий, камень, гранит и внизу отливающая тусклым зеркалом и отражающая в себе облачные небеса вода.

Вовка думал о Басакиной. Положительно какой-то особенно острый привкус в этих «романах в гостинице»! Словно в купе. Большом купе, которое, не двигаясь, стоит на месте. Скользнешь с оглядкой в номер, запрешься и – как на необитаемом острове вдвоем. Хотя кругом чувствуешь в то же время человеческую кипень...

Вернувшись, он постучит в белую дверь с овальным окошечком, и Барб, готовая к ласкам, в капоте, с блуждающим взглядом своих громадных, синих с поволокою глаз, впустит его. И дальше... дальше – блаженство...

Скоро, скоро шаги за спиной... Вовка хотел обернуться, но не успел. Завертелись в глазах яркие, расцветенные искрами, быстро-быстро мелькающие круги.

Плечистый человек, одетый разносчиком телеграмм, в казенной куртке и фуражке, высоких сапогах и с кожаной сумочкой у пояса, нагнав «ассирийца», ошеломил его ударом сильного кулака по голове и тотчас же, не теряя времени, подняв Криволицкого, бросил через чугунные перила в Мойку. Всплеск, поднявший фонтан воды, и тело, окунувшись, всплыло наверх неподвижной, бесформенной тушей.

– Туда тебе и дорога! – сквозь зубы напутствовал почтальон бедного Вовку.

Почтальон вернулся назад и с четверть часа ходил мимо небольшого трехэтажного дома, где выходила на Мойку шестью окнами квартира Леонида Евгеньевича.

Темно. Даже сквозь спущенные шторы не пробивается свет. Спит, устал, весь день работая, и в восемь уже на ногах...

Человек, бросивший в воду «ассирийца», походив еще немного, решительно двинулся к воротам. Постучал в железную калитку. Что-то завозилось, и дворник – в тулупе, несмотря на летнее время, – впустил почтальона.

– Куда?

– К генералу Арканцеву.

– Так шел бы с парадного...

– А разве не знаешь, что генерал приказал ночью звонками их не тревожить? А если телеграмма, – так с черного хода. И чтобы не звонить, а постучать Герасиму.

– Коли так, ладно. Мне что? Все едино, покою нет. Цельную ночь кто-нибудь да шляется...

Почтальон единым духом взбежал по темной «черной» лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, постучал в дверь, не громко, но не тихо, – средне.

Прошла минута, он постучал еще раз.

– Кто там? – послышалось из-за двери.

– Открой, Герасим, срочная депеша его превосходительству. А с парадной не приказано, потому – звонок!

Герасим, высокий, бритый лакей, лет двенадцать служивший у Арканцева, взял болт, повернул ключ и при свете электричества увидел лицом к лицу здорового, усатого почтальона, казавшегося заgrimированным.

– Из новых?

– Вчера только взят. Замещаем, которых на фронт угнали...

– Ну, давай распишусь...

Но вместо расписки Герасим получил удар в висок, замертво сваливший его.

Почтальон, не дав упасть ему, поддержал, снес в примыкавшую к кухне комнатку и положил Герасима на его же собственную кровать, «на всякий случай» завязав ему рот платком, пропитанным чем-то удушливым.

А теперь – каждая минута дорога. Теперь туда, в кабинет, за важными бумагами, без которых человек с кожаной сумочкой у пояса хоть и не возвращайся.

Видимо, он знал квартиру сановника. Знал по описаниям тех, кто бывал здесь, или по нарисованному плану, а может быть, совместил и то и другое. Словом, почтальон, хотя и на цыпочках, с опаскою на шуметь и разбудить хозяина, однако верно, прямым путем, через коридор, мимо спальни с плотно закрытой дверью, направился в кабинет, находившийся влево от парадных дверей, а следовательно, вправо от любопытного и смелого почтальона.

Притворил за собою дверь, повернул выключатель, и со всех стен глянули на него вдруг ожившие, вспыхнувшие призраки. Но почтальону не до картин было. Мало смыслил в художестве, и если отовсюду смотрят на него суровые и бородатые головы апостолов, улыбающиеся девушки, бритые вельможи в красных камзолах, пускай себе! Он свое дело знает и скорее, прямехонько к письменному столу. Телефон! Кого-нибудь угораздит нелегкая позвонить, будят же по ночам Арканцева. Почтальон предусмотрительно снял трубку. Вынул из кармана громадную связку всевозможных «калибров» и форм ключей...

Арканцева разбудил какой-то шорох. Ему почудились чьи-то шаги по коридору мимо спальни. Сначала он подумал, что это Герасим. Но Герасим спит, с чего ему ходить ночью?.. Если б еще звонок или дребезжание телефона, но – ни того, ни другого... Странно.

Леонид Евгеньевич имел основание быть настороже, вообще. Доходило к нему, что группа немцев и немецствующих, против которых он вел определенную кампанию, в свою очередь, нежных чувств не питает к нему и пообещала бороться с «неудобным» сановником всеми способами. Человек твердый, спокойный, он принял вызов, хорошо зная, что эти люди ни перед чем не остановятся. Он приказал даже, чтобы с завтрашнего дня у его подъезда дежурили попеременно городской и агент.

Арканцев хотел позвонить Герасиму, но что-то его удержало. Если действительно кто-нибудь забрался к нему, звонком вспугнешь позднего непрошеного гостя. Арканцев зажег лампочку под зеленым матерчатым колпачком, сунул ноги в мягкие бесшумные туфли, надел халат и, помня, что даже и в таких случаях надо быть корректным, благообразным, плотнее запахнулся и туго затянул шнурок вокруг талии.

Взяв с туалетного столика револьвер, тихо приоткрыв дверь, Арканцев вышел на кухню, заглянул в комнату Герасима. Лакей зашевелился на кровати с завязанным ртом. Леонид Евгеньевич понял, что случилось неладное. Освободил Герасима от платка, но человек был почти без сознания и рассчитывать на его следствие никак нельзя.

Арканцев направился в кабинет, но не по коридору, а окольным путем – через столовую и гостиную. Ковер во весь пол в гостиной глушил и без того тихие шаги. Дверь – в освещенный кабинет немного приоткрыта. Леонид Евгеньевич увидел согнувшуюся над открытым ящиком письменного стола дюжую фигуру почтальона в фуражке. Один... С одним наверняка можно действовать.

Арканцев, распахнув дверь, быстро вошел, остановившись в трех-четыре шагах от ночного гостя:

– Руки вверх!

Почтальон метнулся, желая броситься на хозяина, вынуть свой револьвер, но круглое вороненое дуло браунинга так решительно сверлило воздух, а голос молодого сановника так спокойно приказывающе повторил: «Руки вверх!» – что почтальону оставалось одно – повиноваться.

– Дальше от стола, ближе к стене, в таком же самом положении! Шевельнешься – пристрелю!

Почтальон с поднятыми руками жался к стене... Глаза бегали – как у зверя, не чающего спасения. Лицо из румяного стало бледным.

Держа под дулом револьвера припертого в буквальном смысле к стене бандита, Леонид Евгеньевич улыбался.

– До сих пор я видел вас мельком, господин Дегеррарди, а теперь привелось как следует встретиться. Осторожнее, за вами хрупкая резная рама и вы можете ее обломать. Не напирайте так. А теперь скажите: кто вас послал ко мне? Юнгшиллер?

– Не желаю отвечать.

– Не желаете, ваше частное дело... Вас допросят в свое время и в своем месте. Однако... ваша предусмотрительность... Вы облегчили мне труд снять телефонную трубку.

Левою рукою Леонид Евгеньевич нажал «группу А», поднес к уху трубку.

– Барышня, соедините меня с адмиралтейским участком. Не шевелитесь!.. Что? Это я не вам, барышня... Адмиралтейский? Дежурного помощника пристава! Говорит Леонид Евгеньевич Арканцев. Сию же минуту ко мне, на Мойку, с городовыми. Надо арестовать забравшегося в квартиру злоумышленника... Пройдете с черного, дверь открыта... Сию же минуту!..

Дегеррарди скрипнул зубами в бессильной немощи. К довершению всего он забыл закрыть черный ход... Он оказался бы вдвоем в запертой квартире – хотя какой, в сущности, толк? В крайнем случае – Арканцев не задумался бы его ранить, чтобы, свалив с ног, получить свободу действий.

– А теперь мы подождем прихода полиции...

И, продолжая неусыпно следить за «почтальоном», Арканцев опустился в кресло. Правая рука затекла, – он переложил браунинг в левую.

Прошло минут десять... У Дегеррарди тоже затекали руки, но он не смел опустить их, так зорко нащупывало всю его большую, сильную, теперь беспомощную фигуру вороненое дуло... Наконец, где-то в глубине квартиры послышался топот ног...

Леонид Евгеньевич сдал на руки помощнику пристава и городовым Генриха Альбертовича, бросив ему на прощанье:

– Ваш визит ко мне был впустую! Бумаги, вас интересующие, хранятся совсем в другом, более надежном месте...

В ответ Дегеррарди, облепленный кругом серыми кителями городовых, метнул в Арканцева такой взгляд, от которого охватило бы жутью и не робкого человека.

- Мы еще встретимся, ваше превосходительство... Мы еще встретимся...
- Не сомневаюсь, и даже очень скоро...

12. Пленник старого замка

Бесчисленные австрийские эрцгерцоги, все эти Фридрихи, Сальваторы, Иоганы и Францы, бездельничавшие в глубоком тылу, таком спокойном, что даже неслышно артиллерийских канонад, все заинтересовались Загорским. И каждый эрцгерцог считал своим долгом увидеть «важного русского офицера», таинственно скрывавшегося под формою простого солдата и, мало этого, еще проникшего в австрийские расположения под личиною мужика.

Далась же им эта легенда.

И вот «важного русского офицера» таскали из одного штаба армии в другой. И эти скитания под надежным конвоем, скитания на потеху и любопытство изнывающих от скуки тунецей Габсбургского дома, действовали на Загорского куда более угнетающе, нежели самое суровое одиночное заключение. Ему опротивели эти кукольные, затянутые в куцы мундиры, ничтожные фигурки ничтожных людей с явными признаками вырождения.

И такие глупые птичьи вопросы задавали ему. Так блистательно расписывались в своем убожестве, в непонимании самых простых вещей, не говоря уже о мало-мальски сознательном отношении к переживаемым событиям.

Упоенные карпатскими успехами германской артиллерии, перед огненным смерчем, которой наши русские львы, отступая без снарядов и патронов, чувствительно и даже весьма «огрызались» в арьергардных боях, австрийские эрцгерцоги потеряли всякое чувство меры.

И самый старый из них и «самый умный» Фридрих говорил совершенно серьезно Загорскому:

– Вот видите, России пришел конец. Через шесть недель мы будем уже в Киеве, и что там у вас за Киевом – Сибирь? Мы вас отбросим далеко за Сибирь.

– Ваше высочество, для таких чудовищных завоеваний надо знать немного лучше географию, – дерзко ответил пленник.

Дерзость – умышленная. Авось после такого ответа, данного старейшему после Франца Иосифа члену династии, перестанут его возить на показ из штаба в штаб, словно теленка о двух головах.

И вот отправили Загорского в Вейскирхен, поганый венгерский городишко верстах в пятидесяти от Дуная. По-славянски городишко называется Белая Церква, но швабы окрестили его по-своему, Вейскирхеном.

Около города, уютно разметавшегося в котловине, на высокой горе, мрачной серою громадою и острыми готическими силуэтами намечался полуразрушенный замок, принадлежавший когда-то графам Батъяни. Больше полувека служил он приютом для сов и летучих мышей, которым жилось великолепно в покинутом магнатском гнезде.

С войною решено было использовать старый замок, – отвести его под военнопленных. Отпущено было даже несколько тысяч гульденов на ремонт, но гульденны прилипли к соответствующим клейким карманам, и весь ремонт заключался в том, что совы и летучие мыши должны были покинуть свои старые насиженные квартиры.

В громадном замке, шутя, разместилось около четырехсот русских солдат. И, если ветер, вместе с дождем гуляя по белу свету, заглядывал в узкие, стрельчатые окна без стекол, если потолки вечно слезились чем-то мутным, капающим – не велика беда! Все же лучше, нежели в открытом поле, а русский народ – неприхотливый, закаленный.

Так рассуждали военные венгерские власти, а за ними «царь и бог» над пленными, – так он сам себя называл, – лейтенант гонведов Каллаши, пьяница и драчун, для которого было высшим наслаждением за малейший пустяк избивать в кровь «этих славянских свиней».

Уже около месяца Загорский в плену. Уже костюм галицийского мужика, в котором он был захвачен, превратился в лохмотья. Заменить его нечем, так как, до поры до времени, не

было денег для приобретения нового костюма. Лишь в начале июня окружным путем, после долгих мытарств, получил Загорский сто рублей от генерала Столешникова. Но эти деньги, тая и уменьшаясь «по дороге», превратились в конце концов в восемьдесят крон. Другими словами, в сорок с чем-то рублей. Да и то Каллаши не выдал их целиком на руки.

– Знаем мы вас, русских! Чуть заведется в кармане пять-шесть гульденов, уже только и думаете о побеге!

Это был, пожалуй, единственный пункт, в котором доблестный лейтенант гонведов не заблуждался в «трудной» психологии русских солдат, впрочем, и не только солдат.

Загорский, измученный тяжелыми полевыми работами, исхудавший от каторжной жизни впроголодь, давно небритый, заросший весь колючей щетиною, похожий скорей на бродягу, чем на английского лорда, – только и думал о побеге.

На ночь его запирали в отдельную комнату без мебели, – какая уж тут мебель! – с матрацем, набитым соломой, на каменных плитах пола. Только всего и убранства. В гранитные стены ввинчены кольца. Может быть, в давние времена венгерские феодалы пытали здесь непокорных вассалов. Несчастных привязывали к этим кольцам. На высоте человека – единственное окно. От стекол никаких даже воспоминаний. Железная решетка.

И под окном ввинчено два больших заржавленных кольца.

Став на эти кольца и держась за прутья решетки, пленник мог видеть в окно без конца-краю бегущий к дунайской равнине пейзаж. И будь у него полевой бинокль, он в ясный осенний день углядел бы, пожалуй, далеко на горизонте узенькую полоску «реки народов». И так как Загорский знал географию много лучше эрцгерцога Фридриха, он не сомневался, что по прямому «воздушному» пути на том берегу Дуная лежит сербское местечко Градишта.

Приятно удивлен был Загорский, убедившись, что железные прутья довольно свободно ходят в своих источенных временем, разъеденных непогодой и дождями гнездах. И если заняться хорошенько ими, посвятив этому несколько ночей, можно достигнуть ошеломляющих результатов. Можно будет вынуть все прутья.

А дальше что?

Дальше можно спуститься из окна. Каждый день, идя на работы и возвращаясь, Загорский проходил мимо замка. Он так успел его изучить, что безошибочно знал все окна, кто из его товарищей за каким из них томится, и прежде всего, конечно, свое собственное окно.

С тылового фасада замок даже не охранялся, К чему? Ведь русские солдаты не летают по воздуху. Падая вниз, стена переходила в совершенно отвесную скалу, по крайней мере, метров на двадцать пять. А дальше гора тянулась уже полого и подошва ее постепенно переходила в дубовую рощу.

Загорский получил деньги, то есть они пришли на его имя, оставаясь у лейтенанта Каллаши. Твердо задумав побег и зная, что добром ничего не добьешься и не получишь, Загорский переменил тактику своей горделивой замкнутости. Надо подъехать к своему тюремщику. И он «подъехал», сказав однажды лейтенанту с красным от вина лицом и съедающими кустами бак на полных, трясущихся щеках:

– Господин лейтенант, я много думал о своем одиночестве. Мне надоело быть Дон-Кихотом. Я чувствую, что не в силах бороться. Хотелось бы променять этот режим на что-нибудь лучшее. Я знаю, и это знают в ваших штабах, что своими сведениями принести могу много пользы. Вы меня понимаете?

– Отлично понимаю, наконец-то взялись за ум! Что ж, хотите, я доложу по начальству.

– Повремените, господин лейтенант. Дайте обдумать все и уже окончательно решиться. А пока мне хотелось бы привести себя в человеческий вид. Купить костюм, ведь на мне же рубище, и обзавестись бельем. Я сплю на голом матраце. Нельзя ли купить пару простынь и какое-нибудь одеяло.

– Можно. В виде особого исключения... Только имейте в виду: этот комфорт проглотит все ваши восемьдесят крон.

– Пусть, я ничего не имею против.

У Загорского – чистая свежая рубаха и купленный в магазине готового платья пиджачный костюм. А самое главное – две домотканые простыни с грубым арестантским одеялом в придачу.

Он вздохнул свободней. Побег уже не казался такой неосуществимой мечтой. По ночам он, стоя на кольцах терпеливо целыми часами, отдыхая и вновь принимаясь, расшатывал прутья. Гнезда становились шире и просторнее, податливей, через неделю железные стержни едва едва держались. Вынуть их – дело двух-трех минут.

В первую дождливую ночь он решил бежать. Днем притворился больным. Одному из своих тюремщиков, старому гонведу, который принес ему обед, жаловался знаками на ломоту во всем теле, не вставая с матраца. Это успокоило стража. Ночью будет слабее надзор. Хотя и так по ночам его никто не беспокоил, никто не проверял, что делает пленник за тяжелой, гвоздями окованной дверью, но береженого Бога бережет.

Сумерками, чутко прислушиваясь, Загорский начал готовиться. И обе простыни и одеяло разрезал он перочинным ножом; получилась веревка длиной в добрых тридцать – тридцать пять метров.

Убедившись, что никого нет за дверями и не слышно ничьих шагов, он привязал один конец спасительной веревки своей к кольцу под окном, другой выбросил вдоль наружной стены. Вынуты продольные и поперечные прутья решетки.

Загорский бесшумно, с опаскою, собрал их вместе, положил под матрац и через минуту сидел уже на подоконнике. Глянул вниз, ничего не видно. Темно... Какая-то зияющая дождливая бездна. Веревка у самой стены исчезала, и трудно было проверить, хватит ли ее для благополучного спуска. Но прикидывать не было времени. Крепко держась и для удобства охватив веревку ногами, как это делают цирковые гимнасты, Загорский начал спускаться. Выдержит ли веревка его тяжесть? Выдержит. Но раньше вся эта акробатика много легче ему рисовалась, а теперь трудно и больно держаться на руках: обдирается кожа. Всего беглеца сильно тянет вниз... Спасибо, хоть помогают немного узлы. На них он отдыхает, задерживаясь и набираясь новых сил... Спуск занял не больше трех минут на самом деле, а вытянулись они для Загорского в целую томительную бесконечность... Он весь ушел в одно – хватит ли веревки?

13. Все вместе

Холодная ванна, да и еще такая внезапная. Еще бы, самое дно Мойки зачерпнул своим телом, брошенным сверху... «Ассириец» очнулся – освежившийся, и никогда его мысль не работала с такой поспешной стремительной ясностью.

Хоть и в намокшем платье, он продержится на воде, умея плавать. Но Мойка, и справа и слева; – в отвесных гранитных тисках, и самому выбраться без посторонней помощи нет никакой возможности.

Он плыл крича:

– По-мо-ги-те!..

И, как всегда в таких случаях, – голос чужой, неестественный.

На Вовкино счастье, недалеко, опершись на чугунную решетку, дремал краснолицый и рыжеусый чин речной полиции. Крик среди ночи коснулся «ремонтного» уха.

– Прости Господи, и поклевать носом не дадут. Кого еще там угораздила нелегкая? Топились бы днем, а то нет, ночью норовят, добрым людям на беспокойство.

И рыжеусый чин двинулся по направлению крика. Вот он различает внизу в воде плывущую голову с бородой. В самом деле, такое впечатление, как будто плывет одна голова. Спросонок полицейскому жутко стало. И среди сумеречной дымки черноволосая, чернородая голова казалась фантастически громадной и страшной.

Овладев собою, «речной» дал толковый и дельный совет утопающему:

– А вот сейчас около тебя слева ступеньки, держи на них, прямо держи дирекцию, ну и готово, спасенный!

Ларчик всегда открывается просто для тех, кто находится на берегу, но не для тех, кого какие-то невидимые гири начинают зловеще оттягивать ко дну.

Не укажи водяной «ассирийцу» гранитной лесенки, «ассириец» плыл бы мимо, весь в холодной тоске отчаяния, беспомощный. До тех пор, пока сил хватило бы. А так он уцепился за гранит, отдышался, вылез на первую мокрую ступеньку, посидел, еще отдышался и тогда только мог воспользоваться любезно предложенной рукою полицейского. Оба очутились на панели. С Вовки ручьями лилась вода. Лицо бледное-бледное, и ассирийская борода, мокрая, сбившаяся, утратила и свои завитки, и свое обычное великолепие.

«По облицию словно и барин заправский, – соображал водяной, – а поведение совсем непутевое». И он не знал, как говорить со спасенным утопленником – на «вы» или на «ты».

– Что же это, жизни себя, человек, хотел лишить? Грешно и опять же начальствующим людям беспокойство.

– Ты, как видно, обалдел, братец, или третий сон видишь! Я жертва разбойного нападения – понял?

Теперь водяной окончательно решил: пред ним настоящий барин. – Так что теперь, господин, всякого жулья много. За всеми не усмотришь. Часы, кошелек, бумажник и прочее целы?

«Ассириец» не ответил, с удивлением, замечая, что находится в каких-нибудь ста шагах от дома, где живет Арканцев. Это более чем кстати. Герасим поможет ему раздеться, и, обсушившись, он пересидит до утра в одном из арканцевских халатов, пока Герасим доставит ему из «Семирамиса» свежий костюм. А самое главное – необходимо скорей поделиться с Леонидом Евгеньевичем своим приключением, едва не выросшим в настоящую катастрофу. Очевидно, агенты «Юнгшиллера и компании» начинают более активно проявлять свою деятельность.

– Час от часу не легче!

У ворот – голоса, движение, серая шинель полицейского офицера. Городовые, человек пять-шесть, ведут здорового почтальона.

– В чем дело, – спросил «ассириец», – кого это арестовали?..

– А тебе какое дело, кого надо, того и арестовали! – огрызнулся один из городских, видя перед собою более чем подозрительного субъекта без шляпы, намокшего, как губка.

После долгих препирательств с дворником, который не хотел пускать его, хотя и знал в лицо, очутился Криволицкий у Леонида Евгеньевича. Сановник встретил его в туго затянутом в талии халате и с дымящейся в зубах сигарой.

– Что у тебя здесь произошло? – недоумевал Вовка.

– Нет, ты, ты в каком виде! – воскликнул Арканцев.

– Спасибо и за это. Мог совсем утонуть, – и «ассириец» рассказал, что с ним было.

– Ну, конечно же, это ясно как Божий день. Дегеррарди решил убить сразу одним выстрелом двух зайцев, отделаться от твоей особы и произвести выемку из моего письменного стола некоторых документов. Болван! Если бы он знал, что все самое компрометантное для Юнгшиллера и Железноградова за полчаса перед его визитом унес от меня в, своем портфеле полковник Тамбовцев. Я вижу, что репутация этого господина Дегеррарди сильно преувеличена... Говорили: «Бандит, ловкий шпион!» А если бы ты видел, как этот «бандит и ловкий шпион» дрожал у меня под револьвером? У меня, глубоко штатского человека. Что такое? Герасим? Герасим тебе не может помочь. Он сам нуждается в посторонней помощи. Иди в ванную, разденься, вымойся хорошенько, а я принесу тебе свежее белье и халат. Да, эта шайка обнаглела окончательно, и необходимо ее ликвидировать возможно скорее самым галопирующим темпом.

* * *

Как раненый медведь, заметался Юнгшиллер, узнав об аресте Генриха Альбертовича Дегеррарди.

– Ну, теперь этот опростоволосившийся мерзавец, спасая себя, свою собственную шкуру, будет всех топить! Всех!..

Но Юнгшиллер ошибся, думая так о человеке с загримированным самой природою лицом. Обыкновенно весьма и весьма развязный, словоохотливый, на допросах Генрих Альбертович отвечал обдуманно, сдержанно и, видимо обладая так называемой «разбойничьей совестью», не только не пробовал топить своих сообщников, но все время упорно твердил, что действовал и орудовал сам по себе и знать ничего не знает. У полковника Тамбовцева опускались руки.

– Этого гуся не обломаешь сразу... Многих приходилось мерзавцев допрашивать, а такого Господь Бог впервые послал...

У Юнгшиллера в привычку вошло плакаться во всех своих политических печалях и горестях в жилетку Уроша. И теперь сетовал:

– Вот видите, как против нас все складывается... Нет, я дурак... С первых же шагов, как только я убедился, что нам не везет, надо было бросить все и уехать за границу.

– И теперь не поздно, – утешил его сербо-словак, владеющий двадцатью двумя языками.

Юнгшиллер отвечал Урошу.

– Я думаю, что поздно... Думаю, что теперь поздно... И вы, господин Урош, тоже, нечего сказать, хороши. На вас возлагались такие надежды, говорили, что вы маг и чародей, а что вы, в сущности, сделали?..

– Очень много, смею вас уверить... В самом недалеком будущем вы убедитесь, что я действительно маг и чародей...

– Одни слова... Слова без дел, как это говорят по-русски, – слова без дел есть покойники.

– Слова без дел мертвы есть... Напрасно вы упрекаете меня, господин Юнгшиллер. А кто наладил вам голуубиную почту?..

– Благодарю вас за эту голубиную почту! Покорнейше прошу! Восемьдесят процентов голубей совсем не долетели до места назначения, а те, которые долетели, у них оказался перепутанным текст.

– Разве перепутанным? Но не на ваших ли глазах я писал на пергаменте то, что нужно, и затем не на ваших ли глазах вставлял трубочки в цилиндр из гусиных перьев и заклеивал воском?

– Да! Да! На моих, но текст перепутан. Еще раз скажу: вы ничем не оправдали возлагаемых надежд... А между тем стоите нам довольно крупных денег. Но вот что... Одним ударом вы можете все загладить... Слушайте внимательно... По моим сведениям, Тамбовцев должен уехать на этих днях во Псков. Часть документов, интересующих нас, он везет с собою, часть останется у него в квартире. Вы должны их похитить.

– Что такое? И это после того, как Дегеррарди всех и вся взбудоражил? Вы толкаете меня прямо в тюрьму.

– Я вас не толкаю никуда... Я только хочу, чтобы вы были хоть раз добросовестным агентом. Тамбовцев живет в квартире один. Супруга его на даче. Мое дело подкупить швейцара и получить ключ от парадной... Вы, господин Урош, должны взяться за дело на ближайших же днях. Тамбовцев едет во Псков послезавтра...

– Вы предлагаете мне опасную комбинацию... Поручите хому-нибудь другому, Шацкому... Этот сумеет...

– Я поручаю вам...

– А если я откажусь...

– А если я предъявлю куда следует вашу расписку? Помните, когда вы взяли у меня три тысячи?..

– Вы этого не сделаете, вы погубите нас обоих.

– Не думаю... А если бы и так, я решил пойти ва-банк!..

Они смотрели друг на друга пристально-пристально... В глазах-буравчиках Уроша что-то зажглось и погасло.

– Хорошо... Будь по-вашему, я согласен!..

– Молодец, дайте вашу руку.

– Погодите, – молвил Урош, – погодите благодарить... Я не все сказал, я ставлю Одно неперемное условие: в квартиру Тамбовцева вы должны проникнуть вместе со мною...

– Вы с ума сошли...

– Ничуть! Вы гарантировали мне полную безопасность, так отчего же вы не хотите разделить ее вместе со мною? Швейцар и ключ – самое главное.

– Верно, это самое главное, – согласился Юнгшиллер, – дайте подумать, дайте подумать... – и, охваченный внезапным решением, сказал: – Хорошо! Мы будем там вместе! Хорошо.....

Юнгшиллер потерял аппетит и сон. Тревожное состояние, схватив его за горло, не отпускало ни на минуту. И напрасно успокаивали его и Железноградов, и Елена Матвеевна, что все это вздор, улик прямых нет. Дегеррарди никого не выдаст, беспокоиться нет решительно никаких оснований. А, в крайнем случае, можно подъехать к Тамбовцеву. Он человек бедный, и кроме пяти тысяч двухсот рублей жалованья, – да и то, по военному времени, повышенный оклад – у него ничего нет. И если предложить ему миллион или хоть половину, у полковника закружится голова и все пойдет как по маслу...

Мисаил Григорьевич обратил внимание на долгое отсутствие Обрыдленка. Дней пять не показывался ему на глаза адмирал. Этого никогда еще не бывало. До сих пор они виделись ежедневно. Мисаил Григорьевич неоднократно звонил Обрыдленке. То его нет дома, то он отдыхает, то не может подойти к телефону. Банкир диву дивился; адмирал, по первому зову

летевший к нему в любое время дня и ночи, вдруг «отдыхает, не может подойти к телефону». Наконец Железноградков залучил его к себе завтракать...

– Ваше высокопревосходительство, это еще что за новости? Почему не изволите являться, когда я вас приглашаю?..

– А почему я должен являться?..

– Ого, каким вы тоном заговорили? В чем дело? Скажите прямо, вы недовольны мною? Обиделись? Ведь я, кажется, всегда шел навстречу...

Обрыдленко снял пенсне и, протирая стекла, смотрел на банкира косоватыми, медвежьими глазами.

– Видите, Мисаил Григорьевич, я не обиделся, а только я не желаю, чтобы с меня сняли мундир...

– Что значит сняли? Ведь вы же в отставке. Вы можете носить штатское платье сами, по своему желанью...

– Но я предпочитаю носить погоны с орлами.

– Ничего не понимаю! Говорите толком!..

– Толком – извольте: нехорошие слухи ходят по городу, Мисаил Григорьевич...

– Какие слухи? Пойдем завтракать, Сильфида Аполлоновна уехала, и мы будем кушать вдвоем...

В громадной готической столовой, сидя против адмирала и обсасывая мягкие с обкусанными ногтями пальцы, которыми он «кушал» рябчика в сметане, Мисаил Григорьевич после какой-то чепушистой, полной бахвальства болтовни спросил еще раз:

– Какие же слухи, ну?..

14. В «Марсельском банке»

Полковник Тамбовцев, сопровождаемый находящимся в его распоряжении молодым капитаном, явился в «Марсельский банк». Новенький, с иголки, сверкающий бронзой, мрамором и внушительными зеркальными стеклами, банк был реставрирован тем самым архитектором Блювштейном, которого Мисаил Григорьевич привлек к своей мавританской бане с гробницей Аписа вместо бассейна.

В громадном длинном зале с плафоном кисти академика Балбанова изображен Зевс, золотым дождем осыпающий Даная, – за проволочными сетками и стеклянными кассами стояла и сидела целая армия весьма приличного вида старых, пожилых и совсем молодых людей, словно изготовленных по одному и тому же образцу.

Одинаково одеты, одинаково говорят, смотрят, курят папиросы и пьют казенный чай. Грум не грум, лакей не лакей, шассер не шассер, казачок не казачок, словом, юноша наглого вида, прилизанный, в куцей, обшитой галунами куртке, с четырьмя рядами металлических пуговиц и в широких книзу, как у английских моряков, панталонах, переспросил довольно развязно:

– Как о вас доложить господину директору Раксу?

– Доложи полковник Тамбовцев.

Нахальный мальчишка юркнул за громадную, сияющую, как и все здесь сияло, дверь и через минуту вернулся.

– А по какому делу, спрашивает директор?

Тамбовцев и капитан переглянулись.

– Скажи: по делу банка у меня частных дел к господину Раксу нет никаких.

Опять поглотила сияющая дверь обладателя куртки с четырьмя рядами пуговиц.

– Можете зайти.

– Хулиган, говорить не умеешь! – не выдержал полковник.

Мальчишка покраснел и, фыркнув что-то под нос, исчез.

В большом светлом кабинете сидел за столом господин Ракс. В его сияющей лысине отражалась хрустальная, спускавшаяся с потолка люстра-модерн.

Ракс был в меру тучен, в меру выхолен, откормлен. Он уже достиг тех ступеней благосостояния, когда человек, вынырнувший из ничтожества, сам натерпевшийся не мало нравственных плевков, может позволить себе роскошь, в соответствующих обстоятельствах, конечно, быть и резким, и надменным, и грубым...

Господин Ракс окинул вошедших через пенсне взглядом, по крайней мере, директора департамента. Ему ничего не сказал или сказал очень мало этот скромный, ежиком остриженный полковник, в защитном кителе – не френче, а просто кителе и, вдобавок не особенно свежем, – под мышкой вздувшийся портфель. К тому же посетитель не гвардеец, не князь, а всего-навсего полковник Тамбовцев.

В глубине кабинета за другим столом сидел еще кто-то. Окинув равнодушным взглядом вошедших, этот «кто-то» опять ушел в свою работу.

Сделав общий полупоклон, Тамбовцев направился к Раксу. Тот смотрел на полковника спокойно, ожидая и в мыслях не имея приподняться. И когда Тамбовцев подошел к нему вплотную, Ракс сидя протянул ему руку. Она повисла в воздухе. Тамбовцев не заметил ее.

– Воспитанные люди привстают, здороваясь! А когда к вам приходит офицер, находящийся при исполнении служебных обязанностей, вы должны стоять. Потрудитесь встать!

Ракс мгновенно вскочил, как встрепанный, и куда девалось его олимпийско-директорское величие.

– Я очень извиняюсь, право... Столько посетителей...

– Мне ваших извинений вовсе не надо. Я приехал по делу. Потрудитесь взглянуть, вот ордер, по которому я должен произвести обыск всех банковских книг и документов.

– Обыск? Почему обыск? На каком основании обыск? – побледнел Ракс. – Ваше превосходительство, ведь это ж нельзя так сразу! У нас громадный архив, это займет несколько дней.

– Ошибаетесь, господин Ракс, это займет ровно четверть часа. Я должен взять с собою такие и такие дела. – Тамбовцев назвал последовательно целый ряд номеров. – Остальное меня нисколько не интересует.

– Ваше превосходительство...

– Не называйте меня превосходительством, я не генерал.

– В таком случае... господин полковник, вы разрешите мне... согласитесь сами, это так неожиданно... известить моего патрона Мисаила Григорьевича Железноградского.

– Не разрешаю ни в коем случае! Если нам с вами придется покинуть кабинет, – капитан, мой помощник, останется здесь на время, чтобы этот господин никому не звонил в телефон и не выходил отсюда, пока не будут в моих руках упомянутые дела.

Бледный, весь в холодной испарине, обмякнувший, Ракс, покорный, – будешь покорным! – своей судьбе, склонил голову.

– Как прикажете, как прикажете, ваше... господин полковник, я весь в вашем распоряжении.

Минут через двадцать пять Тамбовцев покинул «Марсельский банк». Его и без того пухлый портфель распух вдвое.

По широкой мраморной лестнице, вслед за неожиданным посетителем, скатился мячиком Ракс, выбежал на улицу с непокрытой головой, растерянный, проводил Тамбовцева до извозчика. Вернувшись, Ракс, с неподозреваемой легкостью, как чемпион-скороход, одним духом взбежал по лестнице, пронесся метеором мимо армии банковских служащих и, тяжело дыша, упав животом и грудью на свой стол, поспешил соединиться с Железноградским.

– Алло, кабинет банкира и генерального консула республики Никарагуа Мисаила Григорьевича Железноградского.

Директор узнал голос лакея.

– Проси барина к телефону!

– Их превосходительство изволят кушать...

– Попроси немедленно, слышишь? Скажи: просит Ракс, господин Ракс, по очень важному делу.

– Хорошо, я доложу, а только приказано, когда изволят кушать, чтобы их не беспокоить.

Лакей удалился. Ракс, все еще тяжело дыша, ждал. Прошла минута-другая. Сначала директор слышал чавканье. Видимо, патрон, прежде чем заговорить, прожевывал что-нибудь вкусное по дороге из столовой в кабинет.

– Ну?... – Чавк, чавк... – За каким чертом... – чавк, чавк... – вы меня беспокоите, Ракс? – Чавк, чавк...

– Мисаил Григорьевич, я очень извиняюсь, что оторвал вас, но вы понимаете – обыск...

– Ни слова больше по телефону, марш сию же минуту ко мне.

Железноградский вышел к Раксу с закапанной соусом салфеткой на груди.

Сбивчиво, перебиваясь, волнуясь, рассказал Ракс в чем дело.

– Только и всего? – спросил Железноградский, высмокивая языком неподатливый кусочек пищи, застрявшей между зубами.

– А разве... разве этого мало?

– Ракс, вы дурак!..

– Я?

– Естественно, вы, – не я же! Чепуха, вздор! Кто-то хочет сделать на мне карьеру, но это таки да не удастся! А вот что он сломает на мне свою шею, это таки да, верно, как говорят в городе Одессе. Я же вам говорил, что я на всех плюю с самолета.

– Но позвольте, Мисаил Григорьевич, в его руках дело касательно взаимоотношений с «Южным страховым обществом».

– С самолета!

– Затем относительно шведской стали.

– С самолета!

Ракс привел еще несколько, по его мнению, довольно рискованных дел и получал один и тот же неизменный ответ:

– С самолета!..

В конце концов, хлопнув Ракса по плечу и ткнув в живот, Мисаил Григорьевич предложил ему кофе.

– Садитесь. Сколько лет мы с вами... сколько лет вы у меня служите?

– Четыре года.

– И за четыре года не успели ко мне присмотреться? Меня называют Наполеоном, а я всем говорю на это, что у Наполеона была Ватерла, у меня же Ватерлы не будет! Понимаете, не будет!

И перед самым носом Ракса Железноградов помахал мягоньким, коротеньким, с обкусанным ногтем указательным пальцем.

– Дай Бог, дай Бог, – отодвигая свой нос, молвил Ракс.

– Пока я при своих миллионах, – а этого добра у меня много, – я ничего не боюсь! Вчера этот дурак Обрыдленко, там, – жест по направлению столовой, – начал меня запугивать. То есть, вернее, он сам испугался. «Про вас говорят то-то и то-то». Что говорят? Он и давай выкладывать. Говорят, что путем разных финансовых комбинаций вы понижали курс нашего рубля. Еще, говорит, помните, был момент, когда исчезло все серебро, – говорят, вы скупили его, чтобы перепродать с большой прибылью немцам в оккупированных ими польских губерниях.

Я слушал его терпеливо и потом знаете что ему ответил?

– Что?

– «Ваше превосходительство, вы болван!» И что же вы думаете, все его дурацкие сомнения как рукой сняло! Он опять стал в меня верить, как в дельфийского оракула. На все эти сплетни, слухи, инсинуации я не обращаю никакого внимания. Тамбовцев может рыть под меня яму сколько его душе угодно! Этой ямой он готовит могилу для самого себя. Наконец, послушайте, будем говорить откровенно. Допустим, теоретически допустим, в идее, – чего на самом деле я не допускаю, это немисливо, – что меня вдруг взяли и посадили. Несправедливо, без всякой вины, словом, взяли и посадили. Мне припоминается, видел я где-то юмористическую картинку. Две картинки. На первой человек входит в тюрьму, надпись: «Богач, у которого «несть миллионов». На второй этот же самый господин выходит через месяц из тюрьмы. Надпись: «Богач, у которого четыре миллиона». Нет, все это чепуха. С самолета! Вот вам блестящий пример, как относится ко мне лучшее общество. Сливки!.. Через неделю у меня торжественное открытие ванной комнаты в мавританском стиле, я вам ее сейчас покажу, я разослал больше двухсот приглашений, и что же вы думаете? Все откликнулись, как один человек, все! Закачу такой ужин, чертям тошно будет. Шестьсот флаконов шампанского, больше чем по два на рыло. Будут живые картины из арабского жанра. Мой художник Балабанов ставит. Все откликнулись, а ведь вы знаете, я какой-нибудь шушеры не позову. Вы это знаете!

Ракс, не получивший приглашения на открытие мавританской ванны, молчаливым кивком согласился, что действительно, какой-нибудь шушеры патрон его не повезет на этот блестящий вечер с изумительным ужином, шестьюстами флаконов шампанского, сливками общества и картинами из «арабского жанра» в постановке художника Балабанова.

– Вы понимаете, Ракс, а теперь идем, я вам покажу ванную комнату.

15. Развенчанная «герцогиня»

Елена Матвеевна Лихолетьева замечала – да и нельзя было не заметить, что «склад» ее с каждым днем все пустеет и пустеет; в конце концов началось повальное бегство.

Куда девались жены тайных советников, камергеров, по целым дням торчавшие на складе среди солдатских рубаш, фуфаяк, кальсон и, как милости, ожидавшие «высочайшего выхода» Елены Матвеевны?

Только в задних комнатах, в комнатах плебса, продолжали по-прежнему стучать швейные машинки. Эти бедные, скромные женщины, отделенные от аристократической части склада непроницаемой китайской стеною, ничего не слышали и не знали. Да если бы и знали что-нибудь – они здесь не ради карьеры своей и прекрасных глаз Елены Матвеевны, а во имя доброго патриотического дела. Им не надо спасать свою репутацию, как женам тайных советников и камергеров, что так «обожали» Елену Матвеевну, лезли навязчиво к ней в подруги, льстили, а теперь, боясь повредить себе, главное, мужьям, отшатнулись, и так основательно отшатнулись, что при встречах на узнают «дорогой Елены Матвеевны».

Это был зловещий признак... В обществе так прямолинейно отворачиваются лишь от тех, чья отходная уже пропета. От тех, кто упал, чтобы никогда не подняться больше...

Другая на месте Елены Матвеевны потеряла бы голову. Но Елена Матвеевна была дама с характером. И если вся эта пресмыкающаяся перед нею шушера заживо хоронит ее, она еще жива и не сказала своего последнего слова...

Но с фактами нельзя не считаться... Склад опустел, его пришлось закрыть. И не только потому лишь, что опустел, а «вообще» лучше было закрыть. Наступило такое время – чем меньше будут говорить о Лихолетьевой, повторять ее имя, интересоваться ею, тем удобнее и выгоднее для нее.

И уже не появлялась она владетельной герцогинею со свитой среди дам и барышень, искавших: одни – снисходительно подставленной для поцелуя бледно-восковой щеки, другие же – короткого, скользкого рукопожатия и, наконец, третьи – милостиво брошенного кивка...

Да и свита некоронованной герцогини объявила «забастовку» вместе с женами тайных советников и камергеров.

Куда девался армянский крез?..

Хачатуров, целовавший ее следы, подол платья, по десять раз в день умолявший по телефону принять его, Аршак Давыдович, которого она в глаза и за глаза величала своей комнатной собачонкою, перестал вдруг звонить, показываться...

Это задело Елену Матвеевну за живое.

И он туда же! Слизняк, ничтожество! Какая дерзость! Как он смеет?..

Несколько дней она выдерживала характер... Сам явится... Но Хачатуров не являлся. Гора не шла к Магомету...

Хачатуров жил в «Европейской» гостинице. Он снимал роскошные апартаменты за двести пятьдесят рублей в сутки. Поборов свою гордость, Елена Матвеевна позвонила к нему. Мальчик при телефонной станции отеля, прежде чем соединить с апартаментами армянского крeza, полюбопытствовал:

– А кто изволит спрашивать?..

Лихолетьева, назвав себя, через минуту услышала:

– Их нет дома...

Так было несколько раз. Видимо, Аршак избегает. Значит, действительно сгущаются какие-то мрачные, низко нависшие тучи, если даже он, он спешит сжечь свои корабли...

Елена Матвеевна убедилась, что и с ее спокойной проницательностью можно ошибаться в людях.

Она считала Хачатурова своим рабом, предметом, бессловесной вещью, и вот, не угодно ли, этот раб, эта вещь избегает ее, не подходит к телефону.

Самолюбие Елены Матвеевны было сильно уязвлено. А главное, не так самолюбие страдало, как неприятно сознавать, что вместе с охлаждением Аршака Давыдовича прекращается и тот обильный золотой дождь, которым этот армянский Зевс осыпал свою Данаю с берегов Мойки.

Дабы выяснить все окончательно, Даная решила сама пойти к Зевсу...

Надев густую вуаль, сумерками отправилась Елена Матвеевна в «Европейскую». У входа в апартаменты Хачатурова дежурил на коридоре его собственный лакей. Он знал Елену Матвеевну. Елена Матвеевна знала его.

Лакей сделал каменное чужое лицо.

– Их нет дома...

– Открой дверь!..

– Я же вам докладываю, ваше высокопревосходительство, что Аршака Давыдовича нету.

А без себя приказали никого не пускать.

– Как ты смеешь, болван!

Высокая, внушительная Лихолетьева, резким движением оттолкнув прочь лакея и рванув дверь, вошла...

Знакомая передняя, знакомая белая гостиная-салон и знакомый голос откуда-то из глубины:

– Кто там?..

Елена Матвеевна пошла прямо на этот голос.

Сидя у горящего камина, Хачатуров полировал ногти. Семимесячный недоносок, взращенный в нагретом, тепличном воздухе, Аршак Давыдович навсегда остался чувствительным к холоду, зябнушим. Его, словно какую-нибудь тропическую ящерицу, всегда знобило, и он искал нагретого воздуха. Вот почему этим июльским вечером пылал у него камин.

Сидя спиной к дверям, он увидел в зеркало приближавшуюся фигуру Елены Матвеевны. Увидел и пошевелинулся только затем, чтобы выразить свою досаду. Он передернул плечами, забросил ногу и остался сидеть, маленький, невзрачный краб с громадным носом и прозрачными, белыми, как у трупа, веками.

Вслед за Еленой Матвеевной Хачатуров увидел в зеркале растерянного лакея.

– Скотина, ведь я же приказал тебе! Вон выгонию!

– Аршак Давыдович, я же не виноват. Она меня толкнула и сама...

– Ладно, пошел вон отсюда!..

Аршак Давыдович и Елена Матвеевна остались вдвоем. Это был один из редких случаев, когда уверенное в себе самообладание покинуло Елену Матвеевну.

– Встать сию же минуту! Как вы смеете сидеть, когда входит дама!..

Аршак Давыдович неохотно, как будто спина его с трудом отклеилась от спинки кресла, приподнялся.

– Извиняюсь, но врываться, когда слуга заявляет, что нет дома, тоже не совсем корректно.

– Не говорите глупостей, Аршак! Что все это значит?..

– Что такое, в чем дело?..

– Почему вы пропали? Не заезжаете, не звоните, сами избегаете телефона? Неужели вы такой, как и все, и на вас, как и на всех, подействовали какие-то глупые, нелепые слухи...

– Слухи? При чем здесь слухи! Все это время был очень занят.

– Заняты? Вы, Аршак? Не смешите, ради Бога! Чем? Выдумывали какие-то мраморные стойла для ваших московских конюшен?

– Почему мраморные? – не понял нефтяной король.

– Джентльмены так не поступают. Наши отношения обязывают вас к другому образу действий.

– Какие же, в сущности, отношения? Будем говорить откровенно. Если... если иногда вы снисходили ко мне, грешному, с высоты вашего величия, так ведь это же... это оплачивалось по-царски. Больше, чем по-царски!

– Негодяй, как вы смеете говорить со мной таким языком, таким тоном!

– Елена Матвеевна, я же предупредил, что буду откровенен. Иногда не мешает называть вещи собственными их именами. Ведь я же знаю себе цену. Имею мужество сознаться: я некрасив, почти урод и в Аполлоны Бельведерские ни с какой стороны не гожусь. Умом Вольтера – его блеском я тоже не обладаю. Но у меня десятки миллионов, способных увеличить мой рост, уменьшить нос и сделать меня умным, когда я говорю глупости. Комментарии излишни.

– К чему это все?

– Я этого не навязывал. Вы сами пришли, сами повернули так, что я должен был высказаться...

Первым желанием Елены Матвеевны было приподнять дрожащими пальцами вуаль, открыть свое бледно-восковое, с красивыми, хотя и крупными чертами лица, – и почувствует же он в ней, этот краб женщину, которую чувствовал всегда с такой остротой! Но сейчас же инстинкт подсказал Елене Матвеевне, что комедия соблазна ничего ей не дась, кроме нового унижения. Решительно ничего. Между ними воздвигся какой-то невидимый барьер. Этот барьер – животная трусость армянского креза. Трусость, убивающая всякое желание.

Вуаль осталась неподнятой.

– Я ухожу... мне остается только пожалеть, зачем я сюда пришла...

– Нет, погодите, Елена Матвеевна, погодите, я вовсе не хочу, чтобы вы считали меня подлецом по отношению к вам. Давайте в открытую... Да, я действительно избегал вас, прятался, это верно все. Я решил, что надо покончить. Во-первых, вы меня обманули: вы обещали мне чин действительного статского, дворянство, я сыпал на это деньги, сыпал, не считая, и что же вышло? Ничего!.. Затем эти слухи... Дай Бог, чтобы они оказались нелепыми, вздорными, но пока они не только не уменьшаются, а растут, увеличиваются... Я решил держаться подальше... Я не хочу быть замешанным в какую-нибудь... – он хотел сказать «грязную», – неприятную историю. А потом... потом узнал вещь, которая бросила меня в дрожь. Меня, как вы знаете, человека не особенно сентиментального и больше всего думающего о самом себе...

– Что такое вы узнали?.. Какие еще новости?..

– Относительно этой несчастной Искричкой. Говорят, что это была ваша идея – обезобразить ее.

– Моя идея? Да вы с ума сошли, Хачатуров!..

– Хорошо, что этот Корещенко оказался порядочным человеком. Он не бросил ее, лечит, и они уезжают куда-то за границу, кажется, в Париж, где есть шансы ее вылечить. Но если бы этого Корещенки не было совсем, если бы его не было, что она делала бы? Что ей оставалось бы? Заживо гнить безо всяких средств, без копейки! И когда я узнал, это меня окончательно заставило порвать с вами всякие отношения. Дойти до такой чудовищности, низости! Из-за чего? Из-за того, что лишняя сотня тысяч перепала бы не вам, а ей. Как будто вы не тянули с меня сколько вашей душе было угодно... Уходите, Елена Матвеевна, уходите! Мне страшно с вами. Вы страшная женщина! И мой вам совет – уезжайте куда-нибудь – в Крым, на Кавказ, а если получите паспорт, самое лучшее – за границу. Уезжайте... Вам рискованно здесь оставаться... Уезжайте...

16. Он уже здесь

– ...И вот я спустился, веревки хватило в самый обрез... Будь она короче на полсажени, пришлось бы спрыгнуть. И я не удержался бы. Дождь размыл пологий скат горы. Я и так, потерял равновесие, скользя, кубарем покатился вниз, весь перепачканный. Руки густо измазались грязью, и, несмотря на ежеминутную опасность быть пойманным, это сознание не могло заглушить физическое и брезгливое чувство.

– Интересна мне, в данном случае психология ваша: что, если б вас поймали?

– Если б меня поймали? Я думал об этом. Живой не отдался бы в руки. Ни за что! Защищался бы до последнего! «Заставил» бы отправить себя на тот свет! Я видел, как они расправляются с пойманными беглецами. Видел и никогда не забуду. Эти истязания, подвешивания, побои, целый ряд утонченнейших пыток... Ужас один... А мне сугубо влетело бы. Ведь я обманул Каллаши, прикинувшись вот-вот созревшим без пяти минут ренегатом. Можете себе представить, как он мстил бы мне за великолепного дурака, которого я из него сделал? За эти простыни, одеяло, за все! Но я не буду утомлять вас подробностями. Что я пережил, перечувствовал – хватило бы на много тетрадей. Я шел всю ночь, шел, держась «воздушного» направления к югу. К утру надо было оставить между собою и Вейскирхеном возможно большее пространство. Утром хватятся, пойдут телеграммы, телефоны, поиски... Я шел под дождем, шел голодный, стиснув зубы. До изнеможения шел и в густой траве, и в грязи, и по болоту. На рассвете продолжать путь было, во-первых, небезопасно, – уже, начиналось движение, а во-вторых, я выбился окончательно из сил. И я понял, что такое животный сон, животная усталость... Ничего подобного никогда не приходилось испытывать. Забравшись на опушку дубовой рощи, по соседству с проселочной дорожкой, упал прямо на влажную мокрую землю. В интересах собственной же безопасности следовало сотню-другую шагов дальше в глубь рощи сделать... Но я не мог. Не мог и не хотел, – будь что будет. Сначала я долго спал, как убитый. А там пошли какие-то горячие беспокойные сны, какой-то хаос, какая-то борьба, преследование... Причину этих снов я сообразил после. Причина – полуденное солнце, обжигавшее голову и лицо. Я проснулся, каким-то непонятным шестым чувством угадывая чье-то проторенное около себя присутствие. Открыл глаза и, ослепленный солнцем, переходом от густого мрака к такому яркому солнцу, зажмурился... Увидел над собою какие-то две фигуры. Мне спросонок почудились венгерские жандармы, и, твердый в своей программе, я хотел вскочить, броситься на них, затеять бешеную свалку, чтобы они меня пристрелили. Но это не были жандармы. Это были два сербских селяка, по соседству косившие луг. Их косы померещились мне карабинами. В широкополых соломенных шляпах, белых холщовых рубашках и штанах, босые, эти косари напомнили мне наших малороссийских мужиков. Виду меня был такой, что они жестаами принялись успокаивать меня.

– Пплако, поллако (тише, тише), нема маджарских жандармов!

Кое-как объяснился с ними. Узнав, что я русский, они принялись горячо совещаться, как меня спасти. Через каких-нибудь сорок минут я преобразился. Сербы одели меня таким же, как они сами, селяком, а мое промокшее, все в грязи платье было свернуто в узел. Мне дали косу, и вместе со своими спасителями я пошел на деревню. В чистой мазанке меня первым дедом накормили. Глянув в зеркало, я отшатнулся, увидев какого-то заросшего бородою беглого каторжника... Появились на свет Божий бритва, ножницы. Я принял человеческий вид. Оказалось, что я за ночь успел пройти тридцать километров, другими словами, – большую половину дороги к Дунаю, за которым чаял встретить свою свободу.

Вечером, надев просохший и вычищенный костюм, я двинулся в путь. Засиживаться было бы опасно, тем более, что уже появились в деревне клеенчатые «котелки», с петушиными перьями венгерских жандармов. Мне дали в провожатые мальчика лет двенадцати. Он вел

меня, как. среди бела дня, темной ночью... Этот шустрый Божо всю дорогу на чем свет стоит клял мадьяров. Божо сдал меня с рук на руки знакомому рыбаку, знавшему побережье как свои пять пальцев. И – это самое главное – где какие посты пограничников находятся. Старый седоусый серб переправил меня на маленьком дряхлом челне на сербский берег, прямо к сербскому пикету. Меня отвели в офицерскую землянку. В вышедшем ко мне бравом капитане я, к моему великому изумлению, тотчас же узнал Курандича, жившего со мною в одних меблированных комнатах «Северное сияние» на Вознесенском. Он же меня узнал далеко не сразу. Вся ночь прошла в рассказах и воспоминаниях. Было каждому из нас чем поделиться. А дальше... дальше вы знаете из газет и из телеграмм. Курандич ссудил меня сотнею франков, и я отправился в Букарест. Военный агент наш, полковник Степанов, оказался моим товарищем по Пажескому и встретил меня как родного. В сутки я был экипирован весь с ног до головы у лучшего букарестского портного, и вот я у вас, Леонид Евгеньевич, сижу в кабинете и в клубах сигарного дыма рассказываю то, что мне самому теперь чудится далеким, далеким сном и, надо Сказать правду, – отвратительным сном...

Да и впрямь точно сон. Человек, заросший бородою, как зверь, бежавший по Венгрии из одиночной камеры старого замка, теперь опять гладковыбритый, с внешностью английского лорда, элегантно одетый, дымя душистой сигарой, в кабинете сановнщеа описывает свои злоключения.

Арканцев, не отрывая от Загорского пытливых близоруких глаз и время от времени разглаживая холеные бакены, внимательно слушал.

– Да, уже пять дней агентские и частные телеграммы только и говорят о вашем побеге. Но я знал еще и до газет об этом из депеши консула в Турн-Северине. Вам известна высочайшая милость по отношению к вам?

– Ничего не знаю.

– Это еще не объявлено официально, а вы только сегодня приехали в Петербург. Генерал Столешников в своей реляции дал вам редкую, изумительную характеристику. И вот, за ваш побег и за всю доблесть, проявленную на войне, вообще за принесенную пользу в штабе дивизии, вы, – я положительно счастлив сообщить это, – производитесь в корнеты с возвращением всех прав. Я знаю наверное, это – лишь первый этап. Пройдет месяц-другой – и выбудете опять ротмистром. Ротмистром с четырьмя солдатскими Георгиями, – это красиво и не банально.

Загорский, спокойный, выдержанный, как и его собеседник, утратил власть над собой. Несколько секунд не мог вымолвить ни слова, а сердце так шибко, шибко забилося, что невольно схватился за грудь.

– Неужели это правда?

– Как видите, – с улыбкой наклоняя голову, слегка развел руками Леонид Евгеньевич. – Я счастлив, что мне выпала роль такого доброго вестника. У меня есть еще одна не менее приятная для вас, только совсем в другом роде, новость. Чтобы не ошеломить вас окончательно, скажу немного погодя. Кстати, что вы намерены делать?

– Что я намерен делать? Опять на войну, в дивизию.

– А что, если бы я вам предложил несколько иную комбинацию? Война не уйдет, она затянется. Вы повоевали с честью, – дай Бог всякому! Поработайте немного в тылу.

Загорский вопросительно смотрел на Арканцева.

– Вы человек умный, одаренный, патриот в лучшем, широком значении слова. К сожалению, среди чиновников, этих людей двадцатого числа, так мало настоящих и нужных, необходимых, особенно теперь, сознательных работников. Я хочу вас взять к себе, – ну, скажем, в чиновники для поручений, хотя вы вовсе не будете чиновником... У меня так много дел по ликвидации немецкого шпионажа, разъезжающего не только наш тыл, но и всю страну. Так много... Вам это улыбается?

– Очень! Я вижу, что мы единомышленники.

– Так в чем же дело? Давайте по рукам! Я не могу нахвалиться полковником Тамбовцевым, но ведь Тамбовцев один, ему не разорваться. Право, подумать страшно, до чего эти господа раскинули повсюду свою паутину. Вот вам пример: вы встречали в обществе мою двоюродную сестру княжну Баскину?

– Варвару Дмитриевну?.. Конечно, встречал... Высокая, красивая блондинка. «Синеокая Барб».

– Вот-вот, экзальтированная девушка, не чуждая истерий и чуждая всякой политики. И вот этот проходимец Манега увлек ее в Рим, распропагандировал, и на днях синеокая Барб появилась в Петербурге не более не менее, как в качестве агента, и кого бы вы думали? – самого кайзера Вильгельма!

– Может ли быть?

– Да, да, слушайте... Разлетелась ко мне на прием... Я ее позвал к обеду. Начинает нести какую-то околесицу о необходимости скорейшего мира, и, к довершению всего, бац – выкладывает собственноручное письмо Вильгельма с просьбой передать его по назначению. Будь это другая на месте Барб, и не только кузина, моя родная сестра, – я поступил бы с нею сурово, но что можно сделать с несчастной истеричкой, которая, в конце концов, расплакалась, сама всячески открещиваясь от навязанной ей роли? Я подумал, подумал и приказал ей немедленно выехать в деревню, в Орловскую губернию, с запрещением до конца войны отлучаться за пределы усадьбы... И представьте, не знала, как благодарить! У нее нет собственной воли. Вместо воли – какая-то экзальтированная чувственность... Этой ссылкой я развеял гипноз аббата Манеги, под которым Барб находилась все это время. Одиночество, дающее возможность углубиться в себя, принесет ей несомненную пользу.

– А судьбу знаменитого письма?

– Его постигла участь вполне по заслугам, – улыбнулся Арканцев.

– Так что великий автограф погиб для человечества?

– Это я вам не могу сказать... Однако мы заболтались, и время открыть вам вторую приятную новость. Вера Клавдиевна Забугина здесь, в Петербурге и, надо ли прибавлять, жаждет вас видеть.

– Здесь? Ей не угрожает опасность?

– Ни малейшая! Она скрыта до поры до времени в таком надежном потайном месте, что у всех Юнгшиллеров и Лихолетьевых коротки руки к ней дотянуться. Да и дни этих господ сочтены. Им уже недолго осталось гулять на воле.

– Но я могу ее видеть? – спросил, охваченный волнением, Загорский.

– Что за вопрос, друг мой! Сегодня же к Вере Клавдиевне вас свезет Вова Криволицкий...

17. Зачумленная

С каждым днем убеждалась Елена Матвеевна, как щирится и отодвигается вокруг нее зловещая пустота. Она угадывала, что где-то близко, совсем близко, неустанно, немолчно совершается, что-то решающее, роковое, чего ни задержать, ни остановить нельзя...

Неужели весь, казалось – такой налаженный и безупречный, механизм вдруг испортится? Неужели? Так сплошь да рядом... Какой-нибудь ничтожный, закапризничавший винтик, и получается то, что получилось.

И хотя сама Елена Матвеевна нисколько не сомневалась в истинном положении дел, но рассудку и логике наперекор хотелось во что бы то ни стало сомневаться.

Склад опустел. Из него бегут, бегут. Но, может быть, затянувшаяся война просто охладила у наших скоро остывающих дам-благотворительниц их альтруистические порывы? Они, давай Бог ноги, разбежались, чтобы сплетничать где-нибудь в других, более уютных уголках, нежели громадная казенная квартира Лихолетьевой. Так утешалась Елена Матвеевна, ни на минуту не, веря самой себе. «Давно ли ее гостиная по вторникам от четырех до шести ломилась от визитеров? Давно ли среди всякой проходимческой шушеры попадались настоящие люди общества, подлинные светские дамы, которым что-нибудь надо было от Елены Матвеевны? И какие фамилии лести курились вокруг величественной хозяйки. Даже теми курились, кто и не нуждался в могучем покровительстве Елены Матвеевны.

В нашем обществе сильно развито „платоническое“, иначе не назовешь, низкопоклонство. Есть рабы души, готовые унижаться перед чужим богатством, откуда не перепадает им ломаного гроша, перед чужой властью, которая не шевельнет для них пальцем.

Хамство – сплошь да рядом не выгоды какой-нибудь ради, а так, по хамскому свойству природы человеческой.

Елена Матвеевна вспомнила вдову генерал-лейтенанта, Симбирцева. Эта Симбирцева, – покойный муж ее лет десять назад служил губернатором где-то на юге, – была одной из самых рьяных почитательниц Елены Матвеевны. Целыми днями пропадала на складе, гордилась милостиво протянутой для поцелуя щекою и не пропускала ни одного вторника, терпеливо высидевшая с четырех до шести, в тайной надежде, что Елена Матвеевна оставит ее к обеду.

Но поднимались и уходили госта, некоторым отборным, хозяин или хозяйка успевали шепнуть: „Куда вы, пообедаем!“ А Симбирцева так ни разу не удостоилась заветного шепота.

В течение двух лет звала она Елену Матвеевну на свои четверги. И только однажды снизошла Лихолетьева. Чопорный, натянутый визит, продолжавшийся две-три минуты. Елена Матвеевна посидела в гостиной, перекинулась фразой с каким-то генералом, снисходительно ответила что-то сиявшей восторгом хозяйке и, отказавшись от чая, изволила отбыть.

Елена Матвеевна вспомнила вдову-губернаторшу, вспомнила ее четверг и решила заехать. Тщательно обдумала туалет. Все в скромных тонах, ни одной драгоценности, ни одного камешка, одно лишь обручальное кольцо блестело на холеном белом пальце.

Мотор помчал Елену Матвеевну с Мойки на Моховую. Позвонила, впущена старой, много лет жившей в доме горничной. В гостиной голоса. Раскатистый генеральский смех; дамское щебетанье; Елена Матвеевна краем уха поймала обрывок чьей-то фразы:

– Сам виноват... человек с его положением... на какой-то авантюристке...

Губернаторша, увидев издали в передней дамский силуэт, близорукая, шурясь, сделала несколько шагов навстречу. Роли переменились. На этот раз Симбирцева подставила щеку Елене Матвеевне.

– Милая Антонина Дмитриевна, как поживаете? Вы совсем, совсем забыли мой склад.

„Милая Антонина Дмитриевна“ – холодная, как лед. Еле-еле ответила на приветствие. А ведь месяц назад она и в стихах и прозе воспевала благотворительность Елены Матвеевны. Этого „ангела-хранителя у изголовья бедных раненых солдатиков“.

Все кругом, как по мановению, смолкло. И щебетанье тех самых барышень и дам, что обивали пороги склада, раскатистый генеральский смешок, – все смолкло, и все с неподвижно-вытянутыми лицами смотрели на Елену Матвеевну, как на воскресшую покойницу, вдруг появившуюся среди живых...

Дамы и барышни постарше сухо поздоровались, барышни помоложе приседали с каким-то недоумением в глазах. Елена Матвеевна сидела на людях, чувствуя, однако, ту самую зловещую пустоту, в которую так не хотелось верить.

Подняться и уйти – было первым движением. Но что-то мешало, а прерванный разговор не клеился. И она поняла, что здесь говорили о ней, говорили много, нехорошо, оживленно, и своим внезапным появлением она испугнула всех.

Плотный „юридический“ генерал спросил Елену Матвеевну:

– Как здравствует Андрей Тарасович?

Отвечая – „Благодарствуйте, чувствует себя прекрасно“, – успела перехватить несколько внимательно насмешливых искорок в глазах, несколько подавленных улыбок.

В самом деле, супруг Елены Матвеевны чувствовал себя прекрасно, ничего не видя, не подозревая. Он спросил как-то:

– Мамуля, что это у нас тихо? Прежде всегда такой шум, а теперь...

– У нас никогда не было шумно. Шум бывает на ярмарках. Просто людям надоела эта дурацкая война. Вы разве не знаете нашего общества? Хорошего, и в том числе благотворительности, – понемножку...

Андрей Тарасович виновато умолк.

– Ты извини, я, может быть, была резка с тобой, но я не в духе... Понимаешь...

Елена Матвеевна рассеянно провела рукою, по лысине Андрея Тарасовича, и, зажмурившись, он поймал ее пальцы и чмокнул старческими тубами.

Словно окаченная холодным душем, покинула Лихолетьева гостиную Симбирцевой. Хозяйка, чуть-чуть проведив ее до середины комнаты, вернулась к гостям, и опять молчание, и только когда за Лихолетьевой захлопнулась дверь, заговорили все сразу...

Задыхаясь от гнева, вся блуждающая в скачущих мыслях, Елена Матвеевна долго не отвечала шоферу на вопрос, куда ехать. Она вспомнила вдруг отрывок из „рассказа“ Симбирцевой, посвященного ей:

„Елена Матвеевна Лихолетьева вошла в лазарет, распространяя вокруг себя какое-то сияние вместе с ароматом дорогих тончайших духов... С нею любимая собачка Дэзи. И, глядя на нее (на кого: на Елену Матвеевну или на собачку?), раненые солдатики уже не чувствовали своих страданий“.

Так она писала в тетради, навязанной Лихолетьевой, а теперь... теперь чуть не выгнала.

Но Симбирцева – еще не все. Елена Матвеевна, вспомнив, что принимает по четвергам ещё графиня Кунгурская, жена работавшего на фронте камергера, велела ехать на Сергеевскую. Но Кунгурская, такая раньше искательная, совсем не приняла Лихолетьевой, не приняла, хотя, как и у Симбирцевой, Елена Матвеевна слышала доносившиеся голоса...

– Значит, кончено: все отшатнулись. Ничтожные...

Нечем было дышать... Не хватало воздуха. Она велела шоферу быстро промчаться по набережной. Ветер, бивший в лицо, немного освежил Елену Матвеевну. Вынув из висевшего в автомобиле кожаного „кармана“ зеркальце, она посмотрелась. Глянула оттуда совсем другая Елена Матвеевна, постаревшая лет на десять... Это из рук вон... Недоставало, к довершению всего, чтобы она подурнела. Сию же минуту к Альфонсинке! Полежит часок-другой с маской на лице и вернет свежий, непроницаемый вид.

– На Конюшенную!

Мадам Карнац, по обыкновению, выкатилась мячиком-мячиком в бархатном платье и с крашеными волосами. У этого мячика при виде Елены Матвеевны глаза испуганно остановились.

– Бонжур, мадам... – просто „мадам“, без обычного „экселлянс“.

– Сделайте мне лицо, сейчас!..

– Сейчас нельзя, мадам... Эмпосибль! Все занята! У меня лежит ля контес Лялецки, ля барон Винцегероде... Заезжайте потом, апрэ!..

– Вы с ума сошли! Как вы смеее говорить со мной таким тоном? После всех моих благоденний вы предлагаете мне дожидаться какой-то очереди...

– Мадам, я ничего не иредлягай. В мой мезон все равни. Эгалитэ!.. Все соблюдайте сами строгий очередь, и дами очень високоставлени, тре, тре бьен позе... О каких благоденний ви говорите? Если ви проводил поставка, так вы сами очинь хорошо заработал. Ву зеве бьен ганье!.. Ви еще заставила мне сделать мерзость: испортить лицо сет малрез Искрицки...

– Молчите, глупая баба, я ничего вас не заставляла!..

– Я не буду молчать! Я не есть ваш креатюр, ваши подлинный, сюже! Я есть свободни гражданка! Я буду крик на весь Петербург, буду кричать, а пропо бедни Искрицки... Мне его так жалько.

Елене Матвеевне хотелось ударить Альфонсинку... Неужели все так безнадежно и нет нигде просвета, раз даже эта гнусная жалкая тварь осмелилась показать свои зубы. Она действительно готова кричать на весь город об этой Искрицкой...

Удар за ударом...

Так вот откуда знает Хачатуров... Все будут знать. Хачатуров-краб, отвратительный слизняк, прочитавший ей нотацию и посоветовавший уехать... Дальше этого некуда идти... Горшее унижение и представить немислимо...

В холодной тоске спрашивала себя:

– Откуда все это? Ведь я была такой рассудочной, взвешивающей все спокойным умом, играла наверняка... Наверняка шла к намеченной цели, и вдруг какие-то посторонние силы все разрушают, губят, уродуют... Кто же виноват? я или нечто другое, которое сильнее меня? Кто?

Из темной, никому не ведомой провинциалки она поднялась на головокружительную высоту и не сумела удержаться. Вот-вот, с минуты на минуту надо с трепетом ждать еще более стремительного падения...

Вечером Юнгшиллер сообщил ей:

– Забугина здесь, в Петербурге... Этот Арканцев допрашивал ее.

– Господи, новый удар!

Елена Матвеевна сказала мужу:

– Я хочу поехать в Крым – успокоить нервы... Мне надоел этот проклятый город...

– А что же, мамуля, поезжай... Там хорошо – кипарисы, море... Отдохнешь, ты заработалась, бедняжка, с этим твоим складом... Поезжай, там отдохнешь, – кипарисы, море, воздух.

Елена Матвеевна стала готовиться в путь-дорогу. Но не пришлось уехать. Слишком скдро надвинулись события. Скорее, чем она ожидала...

18. Кто такой Урош?

Юнгшиллер, этот король портных, он же «рыцарь круглой башни», с каждым днем убеждался, что нет выхода ему. Единственное спасение – для этого нужно очертя голову действовать, – похищение убийственных документов, хранящихся у полковника Тамбовцева.

Самого Юнгшиллера еще не трогали, но мало-помалу смыкалось вокруг него злое кольцо. Дегеррарди, схваченный у арканцевского письменного стола, сидит в тюрьме. Вслед за ним арестован Шацкий. Правда, не за политику, за самый обыкновенный шантаж. Именем сановной «тетушки» своей недавний носитель болгарского мундира вымогал у кого-то какие-то взятки.

Словом, совсем грязная история...

Не за политику, но от этого ни тепла, ни радости. Все же Шацкий был одним из ближайших агентов Юнгшиллера.

Одна беда не приходит.

В провинциальных отделах «Торгового дома Юнгшиллер» в Киеве, Одессе, Екатеринославе, Харькове арестованы были управляющие магазинами. Все за одно и то же – разоблаченный шпионаж в пользу срединных империй.

Кольцо смыкалось все уже и уже. Юнгшиллер чувствовал это; ему было трудно дышать. Полнокровный и тучный, свои обыкновенно такие безмятежные ночи Юнгшиллер проводил в буйных, пугающих кошмарах...

Он уже готовился к бегству. Несколько раз предпринимал длительные морские прогулки на одной из самых быстроходных лодок своих. Он зондировал почву, тренировался, можно ли беспрепятственно проскочить в открытое море, чтоб, когда явится необходимость, достичь неуязвимо берегов Швеции.

Но в открытом море наши миноносцы и канонерки несли зоркую, бдительную службу, и лишь только Юнгшиллер забирался хоть немного дальше разрешенной черты, вместе с внушительным сигналом он получал строгий окрик, и волей-неволей приходилось поворачивать восвояси.

Нет, улизнуть морем «контрабандным путем» ему не удастся. Отчего не попробовать законным образом, попытка не пытка, авось удастся. И он стал хлопотать о заграничном паспорте. Обыкновенно Юнгшиллер получал его скорей скорого, в два-три часа, а теперь хотя и не отказывали ему, не говоря ни да ни нет, на тянули. И эта оттяжка была подозрительна Юнгшиллеру. И это побудило его действовать энергичнее. Он, вызвал Уроша.

– Я навел справки – Тамбовцев уехал, необходимо действовать.

– Вы еще не оставили этой мысли. Все еще желаете запутать и меня в эту опасную авантюру?..

– Ничего нет опасного! А то, что уже есть, перед этим бледнеет всякая новая опасность! Я болван, что слишком залез в эту дурацкую политику. Но позднему сожалению предаваться – это быть дураком в квадрате. Будем действовать! Ключ у меня, видите?

И Юнгшиллер показал своему сообщнику небольшой плоский американский ключ.

– А все-таки нельзя ли без меня? Вы сами отлично справитесь.

– Господин Урош, вы опять за свое. Всякое терпение может лопнуть. Еще немного попробуйте меня нервировать, и ваша расписка – черным по белому, – погибать, так погибать вместе... Мне тяжелее, я богач, персона грата, у меня тысячи служащих, а вы что такое? Да и для вас это не будет новостью, вы, кажется, сидели уже в австрийской тюрьме.

Вечером на Каменноостровском, у дома, облицованного гранитом, с размаху остановился громадный автомобиль с двумя кидаящими ослепительный свет «юпитерами».

– Подождешь, – сказал шоферу Юнгшиллер, входя вместе с Урошем в вестибюль. Швейцар встретил их с низким поклоном, распахнул дверцы лифта. В кабинке с зеркальной стенкой сообщники поднялись на пятый этаж.

На площадке Юнгшиллер дал спутнику своему ключ.

– Откройте, у меня дрожат руки...

Он весь дрожал, полный, обычно румяный, теперь бледный, с трясущимся подбородком. Урош открыл дверь. В передней тихо... На вешалке одинокое офицерское пальто.

– Это ничего, – утешал себя Юнгшиллер, – это ничего... Он уехал; жена с прислугой на даче... Ну, скорее же, скорее в кабинет! Сюда!..

Кабинет полковника Тамбовцева, как и вся квартира, был скромный, небольшой кабинет петербургского труженика. В продолговатой комнате – ничего лишнего. Письменный стол, кресло, диван, какие-то гравюры на стенах.

Юнгшиллер не без колебания заглянул в соседнюю дверь. Столовая. Узенькая, небольшая, подобно кабинету. Квадратный стол, покрытый клеенкой.

– Ключ с вами? Начинайте же, начинайте, копаетесь! – нервничал Юнгшиллер.

Урош вынул из кармана связку самых, «разномастных» ключей.

– С какого ящика начинать?

– Со среднего. Не спрашивайте, делайте!

В глубине квартиры зазвенел телефон. Вздрогнувший Юнгшиллер, закусив губы, с выпученными глазами, прислушался. Телефон подребезжал-подребезжал и умолк.

– Ну, конечно, пусть, никого же нет! – вздохнул с облегчением «рыцарь круглой башни».

– В среднем ящике ничего. Видите, какие-то фотографии, старые серебряные монеты в коробочке.

– Что вы мне перечисляете? Нет, ищите в других! Да скорей же, скорей, черт возьми.

Урош открыл левый ящик. Там лежало несколько больших, пухлых конвертов. И, о счастье! На, первом же, самом верхнем, выведено крупным писарским почерком: «Дело Юнгшиллера».

– Давайте, давайте, его сюда, – жадно схватил король портных заповедный конверт.

Сгоряча он не заметил, как Урош тронул пуговку лежавшего у чернильницы звонка. И лишь сухое дребезжание, где-то замершее, вспугнуло Юнгшиллера.

– Это что такое? На парадной? Я же сказал швейцару...

И он заметался, не зная, куда бежать, скрыться.

Шаги. Много шагов. Ближе и ближе. Распахнулись обе половинки дверей из столовой, и круглыми обезумевшими глазами увидел Юнгшилдер полковника Тамбовцева, двух офицеров и двух штатских, плечистых и рослых, самого решительного вида.

Тамбовцев иронически поклонился.

– Здравия желаю, господин Юнгшиллер. Благодаря вашей любознательности, которая вас привела в мой кабинет, я могу вас арестовать целыми двумя днями раньше, чем это предполагалось.

Ошеломленный «рыцарь круглой башни» выронил конверт и тотчас же машинально хотел поднять его, теперь все равно такой ненужный и лишний.

– Не трудитесь понапрасну, там ничего нет, ничего, – кроме газетной бумаги.

Юнгшиллера вот-вот хватит столбняк. И все прыгало и путалось у него в голове. И он остался полусогбенный, с вытаращенными глазами, раскрытым ртом. Но сквозь хаос пьяных, пляшущих мыслей он понял, что виновник западни – Урош. И в бешенстве ринулся он всей своей тяжелой громадной тушей на тоненького худенького человека без костей.

Штатские решительного вида кинулись было на выручку, но Урош остановил их, спокойно подстерегая глазами-буравчиками нападение.

– Не вмешивайтесь, господа, я и сам справлюсь.

И действительно, спружиниваюсь и стойко выдержав натиск разъяренного медведя, Урош цепко схватил его за обе руки, сжал и сильным коротким движением дернул вниз, как бы ломая Юнгшиллеру оба запястья. Король портных волей-неволей должен был упасть на колени. Урош отпустил его.

– Встань!

Юнгшиллер, утративший волю, продолжая чувствовать страшные тиски маленьких, почти женских пальцев Уроша, повиновался.

Минуту-другую стоял он, опустив голову, тяжело дыша. Потом заговорил:

– Кончено! Я проиграл, но вместе со мною, господин полковник, вы должны арестовать и вот этого самого господинчика. Я платил ему деньги за шпионаж в пользу Австрии и Германии и в этом имеется его расписка.

– Ошибаетесь, господин Юнгшиллер. Урош и даже не – Урош, я теперь могу раскрыть его псевдоним, Остоич, водил вас за нос. Он, славянин душою и телом, не мог быть заодно с вами! Вспомните, потопление вашей моторной лодки с планами и чертежами «истребителей». Вспомните освобождение. Забугиной, которую вы хотели подальше упрятать, вспомните голубиную почту, которой наш верный Остоич так искусно морочил ваших друзей, с нетерпением ожидавших «последних новостей» из Петербурга.

– Так вот как! Вот как... – словно в забытьи повторял Юнгшиллер.

– А ты думал как? – спросил Остоич. – Ты думал, что я буду работать вместе с тобою, подлый паук, отъедавшийся здесь, разбогатевший и предававший тех, на чьем хлебе ты вырос?..

Юнгшиллер ничего не слышал, кидая головою, подобно чудовищной механической кукле.

Тамбовцев мигнул обоим штатским. Они подошли к Юнгшиллеру, взяв его под руки. Он не шевельнулся, едва ли сознавая, что с ним и кто с ним.

– Господа, отвезите его. Да, надо вызвать по телефону казенный мотор.

– Зачем, – возразил Остоич, – внизу ожидает господина Юнгшиллера его собственный автомобиль.

– А, тем лучше...

19. Наконец-то

На Шестнадцатой линии Васильевского острова, у Малого проспекта, жила в старом каменном доме вдова чиновника Мария Тихоновна. Жила тем, что сдавала комнаты, имея приходящих нахлебников.

И жильцов и нахлебников Мария Тихоновна, сама жарившаяся целыми днями у плиты, кормила на убой, – все свежее, сытное, вкусное. Вряд ли эта почтенная полная женщина имела какую-нибудь корысть, ибо аккуратными, плательщиками Господь Бог ее вовсе обидел. И если б не вдовья пенсия, сводить концы с концами было бы трудно.

Жили у Марии Тихоновны главным образом юные художники-академисты, богатые надеждами и бедные кошельком. Они расплачивались этюдами гораздо охотнее, чем кредитными бумажками. Вот почему увешаны были все стены у Марии Тихоновны этюдами будущих Рафаэлей, Брюлловых, Семирадских и Репиных.

Являлся случайный покупатель, – Мария Тихоновна продавала охотно работы своих бывших жильцов и нахлебников. Иногда среди этой посредственной ученической живописи, а то и совсем тусклой мазни попадались ярко талантливые вещи.

Вот на какой почве, на любительской, познакомилась вдова коллежского асессора Мария Тихоновна Черепкова с тайным советником и «персоною» Леонидом Евгеньевичем Арканцевым.

Леонид Евгеньевич купил у нее два этюда умершего, – спился и сторел, – пейзажиста Ульянина. В тот же день Арканцев забыл о существовании полной женщины с немолодым, но в таких добродушных морщинах лицом. Но когда настало время допросить Забугину и Вовка опять был командирован за нею в штаб дивизии генерала Столешникова, возник вопрос: где «спрятать» Веру Клавдиевну до поры до времени? Леонид Евгеньевич вспомнил про вдову коллежского асессора. Вспомнил ее квартиру.

Деревянная лесенка чуть ли не прямо из столовой поднималась в уютную мансарду, если и не с верхним, то, во всяком случае, с косым светом. Большое окно было расположено под углом вместе с наружной стеною. Эта неправильность и сообщала какой-то артистический уют большой, увешанной этюдами комнате, с широким турецким диваном.

– Там до того тихо, уединенно и такой мягкий, ровный свет, что она успокоит свои нервы, – сказал Леонид Евгеньевич Вовке.

И вот почему прямо с вокзала помчал «ассириец» Веру Клавдиевну в закрытом автомобиле на Шестнадцатую линию.

Дав Забугиной отдохнуть, устроиться, Леонид Евгеньевич на другой день заглянул в мансарду и пробыл там часа два в беседе с Верою.

Уходя, сказал, напоследок:

– Мой вам совет, Вера Клавдиевна, – недолго, неделю всего, потерпеть надо... Никуда не показываться, не выходить... Для вашей же личной безопасности. Все эти дни будут у вашего подъезда дежурить опытные агенты. Если у вас есть какое-нибудь желание, просьба, поручение – скажите: все будет сделано...

– Я хотела бы навестить короля Кипрского... Он стар, хворает, одинок... Так хотелось бы его поведать, – утешить...

– Подождите несколько дней. Ваше появление в этих меблированных комнатах будет донесено куда следует, и мы раньше времени вспугнем этих господ... Что же касается короля Кипрского, Криволуцкий сегодня же съездит к нему, скажет о вас, что вы целы, невредимы, горячо желаете его видеть, и о результатах сообщит вам, не по телефону, – здесь нет телефона, – заедет лично...

Беседа с Арканцевым относительно успокоила Веру. Она узнала от сановника, что по наведенным справкам, Загорский здоров, без особенного труда и лишений переносит свой плен в старом венгерском замке под Вейскирхеном.

В тихих, спокойных сумерках мансарды с глядевшими со стен этюдами казалось Вере, что Дмитрий, такой бесконечно далекий, никогда не вернется и она никогда его не увидит... И она горячо, вся в слезах, вся – один порыв, молилась, прося у Бога чуда, прося невозможного...

Невозможного... Этот Вейскирхен, о котором она никогда не слыхала и который вырос для нее теперь во что-то грязное, пугающее, мнился где-то в таких недостижимых далях, чуть ли не на краю света...

Но вот чудо свершилось... И так неожиданно-негаданно...

Вера прочла в газетах об удачном побеге Дмитрия. С трепетом ждала новых, свежих газет, новых подробностей. И, несмотря на очевидность успеха, какое-то жуткое, мнительное чувство изверившейся, настрадавшейся девушки внушало, что радость преждевременна и может еще что-нибудь случиться, роковое, неотвратимое...

И, терзаясь, перечитывала без конца сухие агентские телеграммы. Так прошло дней пять-шесть с появления, первой заметки, первой весточки из Бухареста.

Звонок там, внизу. Шаги по деревянной лестнице. Стук в дверь.

– Войдите...

Вошел «ассириец», смущенный, радостный, с бегающими глазами...

– Ну, как поживаете, дорогая, как вы себя чувствуете?..

– Как я себя чувствую? – улыбнулась девушка. – Вот этим только и живу! – указала на пачку смятых газет.

– Да, относительно побега Дмитрия Владимировича. Молодец, удачный побег! Я думаю, с минуты на минуту должен прибыть в Петербург...

– Ах, я так изверилась, я ничему не верю... Больно, мне больно...

– Позвольте, но нельзя так не верить очевидности! Человек благополучно скрылся, очутившись на дружественной территории, а сейчас, вероятно, мчится по родной земле.

– Мчится... А помните, как мы с вами тогда «мчались» в штаб дивизии?..

– Ну, хорошо, а если бы Дмитрий Владимирович приехал?.. И вы его увидите собственными глазами, – тогда поверили бы?

– Странный вы... Что с вами? Глаза, блестят... Чем взволнованы?..

– А тем, что Дмитрий Владимирович здесь! Здесь, внизу, ждет!..

– Что вы говорите? Этого не может быть...

– Говорю то, что есть на самом деле... Но вы за последнее время так разнервничались! Я боялся вам показать его вдруг, внезапно...

– Где же он, где? – бросилась она к дверям.

«Ассириец» незаметно исчез, – теперь он здесь лишний, совсем лишний.

Быстро, быстро бегущие шаги... Сильным объятием подхватил Загорский слабеющую Веру.

– Ты, Дима, ты? – только и могла вскрикнуть, чувствуя, что темнеет в глазах, подкашиваются ноги... И бессознательно проводила руками по его лицу, словно не веря, как слепая, которая хочет убедиться, действительно ли это перед нею черты любимого, дорого человека...

20. С узлом на спине

Третий эскадрон второго кирасирского полка Марии-Луизы вместе с полусотнею велосипедистов и полуротою гренадер занял баронское имение Лаприкен. Шписс, точно близких родных, встретил желанных гостей...

Кирасиры, как на параде, щеголяли в своих тяжелых медных касках, в тяжелых сапогах с раструбами и варварскими звездчатыми шпорами.

Высокий белобрысый лейтенант фон Гольстейн, подобно большинству германских лейтенантов, был любителем прекрасного пола, – находя, что женщины – женщинами, а война – войною. Одно другому не помеха.

Он обратил свое благосклонное внимание на Труду. Но сначала посоветовался с управляющим:

– Как вы думаете, господин Шписс?

– Как я думаю, господин лейтенант? Если хотите знать мое мнение, самое лучшее – оставьте ее в покое!

– Это почему? – обиделся фон Гольстейн, заносчиво вооружая глаз моноклем.

– Потому... – «потому, что у нее здоровенные кулаки», – хотел ответить Шписс, но, удержавшись, сказал: – Потому, что это черт, а не девка! И, вообще, эти латышские бабы, как и мужчины, удивительные русские патриотки!

– Но это же совсем глупо, совсем! – пожал плечами белобрысый лейтенант. – Мы же несем им культуру, и они должны встречать нас с распростертыми объятиями!..

– Я того же мнения, но попробуйте вразумить латышей! Ведь это же скоты, упрямое быдло...

С ненавистью, плотно сжав губы, не поднимая глаз, служила Труды в обед и в завтрак господам, офицерам в баронской столовой. И столько было гордости и презрения в этой монументальной девушке, что никто из офицеров, даже подвыпивших, не осмеливался ущипнуть ее или облапать...

Но так как без женщин было скучно господам офицерам, то лейтенант фон Гольстейн, съездив в соседний городок Газенпот, привез на автомобиле трех девушек из публичного дома. И стало вдруг весело. По вечерам под звуки граммофона устраивались танцы. Плясали кадрили, причем пятую фигуру лейтенант фон Гольстейн, вместе с либавской девицею Амадьхен варьировал самым непристойным образом. Эта парочка щеголяла такими телодвижениями, что юный, розовый, как молочное поросся, фендрих барон Фиркс и две другие девушки из публичного дома конфузливо отворачивались...

Так прошло две недели. Днем разъезды, братание с окрестными помещиками-немцами, реквизиция у латышей фуража и продовольствия, грубые расправы, а вечером – выпивка, танцы под граммофон и... любовь.

Но вот однажды утром двум эскадронам гусарского полка нашего при двух пулеметах и двух легких орудиях велено было вышибить немцев из Лаприкена и занять усадьбу...

Гусары повели наступление. Вперед пущены разъезды, как по флангам, так и головное охранение. Артиллеристы помчались на галоп среди пахотного поля выбирать позицию. Телефонисты, разматывая проволоку, спешно устанавливали связь между передовой цепью спешенного залегшего эскадрона, штабом отряда, наблюдательным пунктом и другим эскадронам, державшим лошадей в поводу, готовым для конной атаки и преследования.

Ясное, близкое к полудню утро. У латышской мызы под косматыми соснами расположился эскадрон. Офицеры сидели на траве, нижние чины стояли у лошадей. Белокурые латышские девушки в цветных платьях, как лесные феи, обносили офицеров и солдат медом, хлебом, огурцами, шипевшей на сковородках яичницей.

А позади артиллерийский взвод открыл огонь очередями. Снаряды с тягучим визгом пролетали над головою, над пахнущими хвоей соснами. И не было в этом ничего страшного, боевого, а, наоборот, было безмятежно солнечно и казалось, что приветливые латышские девушки для какого-то праздника нарядились в свои шуршащие накрахмаленные юбки и обшитые тесемкою розовые кофточки.

Грохот выстрелов, и через две-три секунды – звук разрыва. Еще и еще... Сухо защелкали винтовки.

С наблюдательного пункта, расположенного впереди на опушке леса, прискакал гусар.

– Немцы выбиты из Лаприкена, бегут, надо преследовать!

– Садись!

Гусары уже на лошадях, справа по два, задевая пиками лапчатую листву, идут лесной дорогой. Достигнув широкого шоссе, бросаются в карьер. Слышно учащенное цоканье по камням. Эскадрон скрывается в густом облаке пыли.

Это было красивое кавалерийское дело. Когда гусары бросились в атаку, между ними и улепетывавшими кирасирами в медных шапках было трехверстное расстояние. Далеко, почти у самого Газенпота нагнали гусары немцев, рассыпавшихся беспорядочно по обеим сторонам шоссе, и началась рубка. Немцы и не помышляя о сопротивлении, даже не вынимая палашей и притороченных к седлам карабинов, частью сдавались в плен, частью бежали, соскакивая с лошадей, снимая тяжелые сапоги, чтобы легче было, и босиком в сияющих, с острыми шишками шлемах устремлялись в соседний лес. Но и оттуда их вылавливали гусары, хватая за шиворот.

Лаприкен очутился в наших руках. Нападение сделано было так стремительно, что в столовой оказался нетронутым офицерский завтрак, а в гостиной граммофонная игла остановилась на «Пупсике».

Шпиис исчез бесследно...

Латышская прислуга радовалась появлению русских. Труда совсем с другим, веселым, сияющим лицом служила гусарским офицерам в той самой столовой с баронским гербом над громадным камином, где еще сегодня сидели немцы за так неожиданно прерванным завтраком...

Один эскадрон с двумя пулеметами остался охранять Лаприкен, другой эскадрон вместе с орудиями отошел в ближайший тыл.

А спустя три дня немцы вернулись отбирать назад Лаприкен, вернулись сравнительно с большими силами. Четыре орудия, рота grenадер, эскадрон кавалерии и сотня велосипедистов.

Гусар-наблюдатель видел с башни замка простым глазом, без помощи бинокля, как надвигалась пехота цепями, видел большую группу коноводов с лошадьми, видел залегших велосипедистов. Немцы из четырех орудий обстреливали Лаприкен. Было несколько удачных попаданий, загорелись постройки. О сопротивлении – нечего и думать. Эскадрон не спеша готовился к отступлению, отправив вперед в тыл походную кухню, патронную двуколку и двуколку с подрывным материалом. Снимали телефон, офицеры укладывали чемоданы.

Латышская прислуга спешно готовилась уходить прочь, зная, что немцы выместят на ней хорошее отношение к русским. Конюхи запрягали лошадей в баронские экипажи и пролетки. Горничные спешно, совали свое добро в громадные, быстро пухнувшие узлы. Латыши соседних мыз уходили, кто пешком, кто на подводах, гоня впереди себя овец, коров и телят.

Эскадрон в полном порядке, шагом, растянувшись лентой, отходил по шоссе, обгоняя караван беженцев. Справа и слева разрывалась шрапнель, которой немцы «нащупывали» отступающих.

Труда, согнувшись под тяжелым узлом; бодро шагала. Мелькали версты, а мощная латышская дева все шла да шла, не зная усталости, и только от жары вся покраснелась, обливаясь потом.

И к вечеру, сделав двадцать верст, она вместе с волною беженцев и со своим громадным узлом, докатилась до Гольдингена.

Спустя неделю, после досадных и нудных мытарств, очутилась она в Петербурге со смутной надеждою отыскать Веру, или найти себе где-нибудь место прислуги.

Случай помог ей. В «Семирамис»-отеле жила горничной землячка Труды. Латышская Диана отправилась к ней и, беседуя с подругой в коридоре, встретила, своего Эндимиона – Вовку. Увидев Вовку, Труды горячо вспыхнула.

«Ассириец» узнал девушку.

– Труды, вы здесь какими судьбами?

– Эти проклятые ваецци саняли Ляприкен, я убесала от них. Я не хосу с ними оставаться, я хосу найти мою балисню... Вы не снаетс, где балисня?

– Знаю, отлично знаю!

И Вовка дал Труды василеостровский адрес Забугиной.

21. В саркофаге Аписа

За Шацким давно-давно тянулся длинный и, грязный хвост всяких темных дел и делишек. Но до поры до времени он безнаказанно волочил за собою этот хвост, прикрываясь именем «тетушки» своей Елены Матвеевны.

Многие так рассуждали: племянник Елены Матвеевны Лихолетьевой этот прощельга или, – черт его знает! Но, во всяком случае, что-то очень уж близко вертится... Лучше не трогать...

Но как только определилось, что гордый пьедестал, на котором в течение восьми лет с таким великолепием красовалась Елена Матвеевна, если и не рухнул, то все же сильно закачался, Шацкий немедленно же взят был в самый суровый энергичный оборот.

– Мы ему покажем кузькину мать, пропишем ижицу!..

И действительно, и кузькину мать показали, и прописали ижицу.

Шацкий, тертый калач, в своем проходимческом бесстыдстве уступавший одному разведгеррарди, поспешил забронироваться в кирасу человека много знающего, но мало говорящего...

Он как-то значительно улыбался костистым голым лицом, кому-то подмигивал, кому-то кивал...

И все это было полно такого значения.

«Ладно, мол, хорошо, но все до поры до времени! А если возьметесь за меня и вправду серьезно, честное слово, сами не рады будете!.. Таких особ выводить на свежую воду начну, большущий конфуз для всех выйдет!»

Но попытка шантажировать именами успеха не имела, и Шацкому предложено было заняться в течение трех лет флорой и фауной одного чрезвычайно глухого северного уголка нашей необъятной родины.

Дегеррарди, Шацкий, Юнгшиллер...

В этом угадывалась уже какая-то система, неумолимая, последовательная, это могло заставить призадуматься. И заставало даже такую сильную, владеющую собой даму, как Елена Матвеевна.

А вот Мисаил Григорьевич и в ус не дул, продолжая на всех и на вся «плевать с аэроплана».

Своим безмятежным настроением, он загипнотизировал всех окружающих, и в том числе Обрыдленку. Почтенный адмирал уже не боялся за свои «орлы» и как в былое время дневал и ночевал во дворце банкира.

Тем более и Обрыдленке нашлась работа. Мисаил Григорьевич поручил ему составить список гостей, приглашенных на открытие «ванной комнаты в арабском жанре».

Список длинный, из двухсот семидесяти фамилий, пошел на утверждение к Мисаилу Григорьевичу. С толстым синим карандашом в мягких пальцах Железноградов пробежал колонки фамилий, выведенных мелким бисерным старосветским почерком. Обрыдленко, человек аккуратный, держался алфавитного списка. С самого начала против, фамилии Блювштейна Мисаил Григорьевич поставил большой вопросительный знак.

– Что что такое, ваше превосходительство?..

– Как что? Талантливый архитектор... Я думаю, сам Господь Бог велел быть ему на торжественном открытии своего детища...

– Детища, это верно, детища, а только, знаете, фамилия, неблагозвучная, жидовская... Блювштейн! Если бы еще фон Блювштейн, мог бы за немца сойти... Видите, какой блестящий список, что ни стул, то княжеский, графский или баронский титул. Что ни стул – тайные,

действительно тайные, что ни стул – крупный банк! – Мисаил Григорьевич задумался, грызя карандаш. – Ну, Бог с ним, пусть. Я человек доступный...

Отпечатанные по-французски на плотном картоне с золотым обрезом приглашения от имени Мисаила Григорьевича и Сильфиды Аполлоновны разосланы были всем тем, кому надлежало с бокалом шампанского чествовать открытие ванной комнаты.

Уже за два дня до великого торжества начались приготовления. Артельщики гастрономических магазинов привозили горы всякой всячины. По черной лестнице тащились вереницею ящики с винами. Мобилизована вся прислуга, и десять лакеев взято на прокат из большого ресторана с обязательством явиться в форменных фраках, расшитых галунами, с эполетами и аксельбантами.

Вот и канун торжества.

Весь день и весь вечер Мисаил Григорьевич был в хлопотах и разъездах. Сколько народу перевидел, сколько самых разнообразных дел переделал. Только в двенадцатом часу вернулся домой, утомленный физически, но бодрый и живой духом. Ему сказали, что его ждет чуть лт не с обеда новый метрдотель, старый, опытный, рекомендованный важным лицом. Надо совместно обдумать меню завтрашнего ужина.

– Я устал, дьявольски устал! Весь день носился на автомобиле, как сумасшедший. Наши мостовые, будь они прокляты! Все кишки вытрясло. Приму ванну, отойду немного и тлгда буду с ним разговаривать.

Знаменитая «ванная комната в арабском жанре» являла собою две половины. Первая – вестибюль-уборная с пестрым мозаичным полом и низеньким турецким диваном, покрытым громадной белой мохнатой простыней. Такие, же белые косматые, выписанные из Смирны, халаты разложены были на плетеных креслах. Тут же гигантское зеркало триптих, повторяющее целый ряд отражений, и обширный умывальник с целой системою сверкающих новеньких кранов.

Чтоб пройти, к самой ванне, надо было спуститься по широким мраморным ступенькам. Здесь в уровень с таким же мозаичным полом, как и в уборной, помещался целый бассейн из гигантского саркофага Аписа, – черный, переживший тысячелетия мрамор. Переживший для того, чтобы, когда наполнят его из проведенных кранов горячей водою, мог в нем купаться Мисаил Григорьевич Железноградов.

И вот он купается, воображая себя Наполеоном. А на мраморных ступеньках перед ним – тяжелая, не лишенная величия фигура метрдотеля с крупным и полным бритым лицом. Лицом римского сенатора, хотя звали этого пожилого внушительного человека Трофимом Агапычем. Много видел на своем веку Трофим Агапыч и у каких только господ не служил! На самых пышных званых обедах он, как опытный полководец, одними глазами и движением бровей искусно руководил целой армией лакеев.

Славился еще Трофим Агапыч умением своим готовить французский салат. Кажется, не хитрая штука, – зелень, уксус, горчица, прованское масло, а между тем у Трофима Агапыча получалась целая поэма вместо салата, и в этом отношении он не знал никого себе равного в Петербурге...

По горло в теплой воде, – Мисаил Григорьевич спросил:

– А чем бы нам поразнообразить закуску? Свежая икра, семга, балык, разные там горячие, салат «оливье», все это банально.

– Приготовить разве амуретки, ваше превосходительство? И вкусно, и под водку хорошо, и не так, можно сказать, избито.

– Амуретки, что такое амуретки?

– Это, ваше превосходительство, черный солдатский хлеб ромбиками, прожаренный в масле и выдолбленный. И в этих углублениях – мозги из костей запеченные.

Мисаил Григорьевич нахмурился.

– Черный солдатский хлеб, мозги, это грубо!..

– Не знаю, – пожал широкими плечами своими Трофим Агапыч, – у покойного Петра Аркадьевича Столыпина амуретки всегда к столу подавались, и все одобряли, а теперь у Бориса Петровича Башинского, и ничего... Даже заграничные посланники одобряли.

– Ну, хорошо, если у Столыпина – хорошо. Пусть будут! Ну а как насчет жаркого?

– Насчет жаркого? Не худо рябчики по-сибирски с кедровыми орешками, такая нежность получается; хоть ложкой извольте кушать. Борис Петрович Башинский очень такие рябчики одобряют. Даже в печать попали, раз дядя Михей по вкусу их с «Османом» сравнил.

– Дядя Михей, дядя Михей... Что мне такое дядя Михей? – фыркнул Мисаил Григорьевич, погружаясь в теплую воду по самый подбородок, – но если Бащинский... Что это такое? – прислушался Железноградов, – кого это черт так поздно принес? Звонок на парадной.

Резкое, сухое дребезжанье неслось по всей квартире и докатилось до самого черномраморного саркофага Аписа. И что-то назойливое, властное было в этом неумолкаемом длительном дребезжании...

22. Суета сует

Мисаил Григорьевич насторожился. Ему вдруг показалось, что теплая, достигавшая подбородка вода стала холодной.

– Что это значит? Я же не велел никого принимать!

Трофим Агапыч молчал, переступая с ноги на ногу, молчал с неподвижным «сенаторским» лицом. Звонки и все прочее – это не его дело. Это его не касается.

Торопливые шаги. Появился камердинер Железноградова, слегка побледневший, слегка испуганный, и, споткнувшись на верхней ступеньке, доложил:

– Барин, – впервые назвал он Мисаила Григорьевича «барин», вместо «ваше превосходительство»; – барин, там какие-то военные пришли.

– Что значит военные? Ни военных, ни штатских! Теперь уже сколько? Первый час ночи? Я никого не принимаю? Слышишь? И не желаю никого видеть! Так и передай! Кому нужно – завтра по телефону, так и передай! Видишь, я купаюсь, ты даже не смеешь докладывать мне! – горячился Мисаил Григорьевич, этой горячностью своею пытаясь загасить какое-то внутреннее беспокойство.

Камердинер глотал воздух, делая какие-то неопределенные движения руками.

– Генеральша спят?

– Никак нет, она вышедши в капоте.

– Ну, чего ж ты стоишь? Иди скажи, что я тебе приказал!

Камердинер, то ли нерешительно, то ли нехотя, покинул ванную комнату.

– А как же, ваше превосходительство, насчет рыбы? – молвил степенно, как ни в чем не бывало, Трофим Агапыч.

Этот вопрос, минуту назад понятный, необходимый, теперь прозвучал дико и странно для слуха Мисаила Григорьевича.

– Отстаньте вы от меня с вашей рыбой! Какая тут рыба! Идите на кухню или куда там... Видите, пришли...

– Это будет воля ваша, – обиженно сказал Трофим Агапыч и, не торопясь, уверенно унес твердыми шагами свое крупное, раскормленное тело.

Железноградов – один, не зная, что ему делать, оставаться ли, выйти ли из бассейна. Мягкая, приятным разнеживающим теплом омывавшая его вода теперь казалась колючей, жесткой.

Опять шаги, опять камердинер.

– Барин, вас требуют, непременно, чтобы сейчас вышли.

– Кто меня требует? Кто меня смеет требовать?

– Они так и сказали, скажи, мол, твоему барину, что его требуют немедленно полковник Тамбовцев.

– Полковник Тамбовцев! Давай простыню, халат. Нет, не надо халата.

Чтобы вылезть из глубокого саркофага, надо было высоко занести ногу под острым углом.

И вот Мисаил Григорьевич стоит на мраморе, и вода струйками сбегает по его мягкому, рыхлому телу, а камердинер трет это розовое, теплое тело, мохнатой простыней, и оно вспыхивает красными пятнами.

– Туфли, рубашку...

Мисаил Григорьевич, долго не попадая, в рукава, облачился в длинную, до колен, в продольных полосках ночную с отложным воротником рубаху.

Камердинер держал наготове один из смирнских купальных халатов.

Мисаил Григорьевич, глядя мимо халата, думая о чем-то другом, сказал:

– Не надо, возьми...

И в полосатой рубашке и в туфлях на босую ногу направился через все комнаты в кабинет.

И не узнал своего кабинета. Словно все чужое, все подменили сразу. Хотя все было как всегда и на обычном своем месте. Он даже не узнал Сильфиды Аполлоновны, как-то съездившейся, уменьшившейся в своем красном капоте. И хотя он был целомудренно застегнут до самого горла, она так держала у своей полной, белой шеи руку, точно ей было холодно. Ее в самом деле знобило.

Но самое страшное – этот самого мирного и скромного вида полковник в защитном кителе с портфелем, остриженный ежиком, как теперь почти не стригутся. С ним два офицера и еще кто-то.

Сделав судорожно приветливую улыбку, Мисаил Григорьевич поклонился. Тамбовцев ответил вежливым, корректным поклоном, обратив внимание, что у Железноградова при полной фигуре с животиком слишком тонкие ноги.

– Чем обязан удовольствием? – спросил Железноградов, и эта «светскость» была неуместной при его голых ногах и полосатой до колен рубашке.

– Я получил предписание произвести в вашей квартире обыск.

– Обыск? Но это, вероятно, господин полковник, ошибка? Несомненно ошибка! – судорожно улыбался Мисаил Григорьевич. – Я – Железноградов, банкир Железноградов. Это ошибка...

– Уверю вас, что это вовсе не ошибка, речь идет именно, о вас, банкир Железноградов.

– Но позвольте, господин полковник, в чем же меня обвиняют? Я ни в чем не замешан, вся моя деятельность на виду, так сказать...

– Я не говорю, что вас обвиняют в чем-нибудь, я только обязан выполнить свой долг. Соболаговолите дать мне ключи от письменного стола, шкафов.

– Но как же так? Почему обыск? Я генеральный консул республики Никарагуа и, пользуясь правом экс... экс... – от волнения. Мисаил Григорьевич не мог сразу выговорить трудное слово, – экстерриториальности...

– Это не имеет никакого значения, – улыбнулся Тамбовцев. – Решительно никакого! Вы – русский подданный... Но, быть может, вы слегка приоденетесь?

– Да, да... ничего, ничего... это потом... потом успею... Так что... вам угодно?

– Ключи!

– Но это же недоразумение, это мы сейчас выясним... Вы мне позвольте, господин полковник, сказать два слова по телефону?

– Кому?

– Елене Матвеевне Лихолетевой.

– Это бесполезно, тем более, что вы с ней скоро увидите, – загадочно прибавил Тамбовцев.

– Увижусь? Где увижусь?

– Это не могу вам сказать.

Камердинер принес банкиру панталоны; Мисаил Григорьевич надел их и почувствовал себя как-то бодрее, смелее.

– Господин полковник, вы мне позвольте написать телеграмму?

– Попробуйте.

Мисаил Григорьевич подсел к письменному столу, испортил несколько бланков, нервничая, комкая, бросая, и, наконец, написал.

– Сию же минуту на телеграф! – протянул он бледно-синий бланк своему камердинеру.

– Дай сюда! – приказал Тамбовцев. Камердинер повиновался, Тамбовцев пробежал телеграмму.

– Нельзя отправить, ее необходимо приобщить к делу.

Телеграмма была адресована одному влиятельному, хотя и не занимающему официального положения лицу. Мисаил Григорьевич, сообщая о случившемся, просил посодействовать скорейшему выяснению «недоразумения».

– Сильфида, хорошо, что у нас нет детей...

Она молча ответила ему растерянным жалким взглядом. Она вся была растерянная, жалкая....

Обыск продолжался два часа – до утра. Целая кипа частных и деловых писем и документов скопилась.

Портфель Тамбровцева не мог вместить весь этот обильный материал. Пришлось вернуть его в пакет из газетной бумаги. Пакет готов, плотно обвязан бечевкою.

В тусклой дымке раннего утра осунувшееся лицо Мисаила Григорьевича казалось каким-то серо-землистым. Но мало-помалу утраченная уверенность возвращалась к нему, и в Мисаил Григорьевич подошел к жене, продолжавшей держать руку у горла, и неизвестно зачем и почему сказал: в конце концов он почти спокойно спросил Тамбровцева:

– Это все, господин полковник?

– Нет не все, я должен подвергнуть вас задержанию.

– Вам хочется меня арестовать?

– Лично мне, уверяю вас, ничего не хочется. Я исполняю свой долг.

Мысль, что его арестуют накануне вечера или даже, вернее, в самый день званого вечера, на который по всему городу разослано двести семьдесят приглашений, показалось Железнодорогову нелепо-чудовищной. И вслух как-то наивно, совсем по-детски он выразил эту мысль:

– Но позвольте, господин полковник, завтра, то есть даже сегодня, у меня большой прием, должны съехаться. Соберется самое блестящее общество...

– Сожалею, но помочь решительно не могу ничем. Быть может, ваша супруга даст себе труд оповестить приглашенных по телефону, – до вечера еще много времени, – а сейчас потрудитесь одеться как следует. Через четверть часа вы должны покинуть свой дом.

Стоя посреди кабинета, Мисаил Григорьевич задумался. Он думал об амуретках, подававшихся у Петра Аркадьевича Столыпина, о рябчиках по-сибирски с кедровыми орешками, подающимися у Бориса Петровича Башинского. До чего все это теперь глупо, ненужно, лишне...

23. К новой жизни

Вот уж действительно, как с неба свалилась.

– Труда, милая Труда, какими судьбами?

Вера была в одинаковой степени изумлена и обрадована появлением сильной и мощной латышки.

Как это странно, после всего пережитого, сгинувшего, как бессонный кошмар, после противного Шписса с его решетчатым казематом, после неудачного побега в зимнюю ночь, после всего этого они опять вместе, Вера и Труда, в этой мансарде на Васильевском острове, где так спокойно льется мягкий свет в косое окно.

Труда, вооружившись скудным запасом русских, так потешно искажаемых ею слов, описала «балисне» всю свою эпопею, до бегства из Лаприкена с узлом на спине включительно.

– Бедная, натерпелись мы!

– Нисего, балисня, зато теперь будет хорошо. Я от вас не уйду, хосу вам слусить.

– Милая Труда, я сама этого хочу. Вы были таким близким другом, так утешали меня в моем горе, но дайте устроиться. Мы сами еще пока на бивуаках.

– Я подосту, нисего, я подосту, – покорно согласилась монументальная латышка.

– А откуда вы узнали, что я здесь?

– А мне сказал этот сорный господин с бородой.

– Криволицкий! А помните, Труда, как мы вместе с вами думали, что он повезет меня на какие-нибудь новые мытарства? А он оказался хорошим, он вам нравится?

Труда смущенно потупилась.

Подъехал Загорский.

Это уже не был солдат-кавалерист, это не был заросший бородою военнопленный-беглец, это был прежний Загорский, выбритый, с моноклем. Черная визитка, сидела на нем как облитая.

Хотя и произведенный в корнеты, Дмитрий Владимирович, по особому ходатайству Арканцева, имел право носить и штатское платье. И так как за время войны ему порядком-таки надоело тянуться и козырять, он охотно пользовался выхлопотанным для него правом.

– Вот – «подруга дней моих суровых», – представила Вера Труду своему Дмитрию.

– Но «не голубка дряхлая твоя», – в тон по Пушкину ответил Загорский, – а цветущая дева Латвии. Дева, которая, наверное, не давала спуска немцам! Труда, вы не любите немцев?

– Васеши проклятые!

– Так их, каналов! А теперь я вас от души благодарю за все, что вы сделали в такие тяжелые минуты для Веры Клавдиевны, – и он пожал руку этой стройной, невзирая на свои мощные пропорции, богатырше, которая, казалось, заполнила собой всю мансарду, увещанную творениями должников почтенной Марии Тихоновны.

– Я нисего такого не сделала, балисня очень добрая и нарочно меня хвалит.

– Словом, Труда, как только мы мало-мальски устроимся с Верой Клавдиевной, вы будете у нас служить, это вопрос уже решенный.

– Я так рада, я так хосу слусить у вас!..

– Ну, вот, значит, все к обоюдному согласию...

Труда ушла. Дима, только что вернувшийся от короля Кипрского, был опечален его безнадёжным состоянием.

– Он угасает, старик... Высох, до того высох, напоминает Сатурна... Слаб, еле движется, с трудом произносит слова... Но до сих пор еще величав... Бедняга сознался мне – какая драма, – что продал последние фамильные миниатюры... Его гнали из комнаты, какой ужас! Питался по-прежнему молоком и яичницей. Одинокий, заброшенный, жаловался, что ему не

хватало твоей заботы и ласки... Хочет видеть... Завтра мы к нему съездим... Какая жалость, именно теперь, когда нам так нетрудно пригреть старика, помочь ему, он угасает...

– Неужели... умрет?

– Я думаю, его хватит на несколько дней... Протянет пару недель, самое большое... Смотришь на него, говоришь и чувствуешь, как слабеет и уходит жизнь!.. У него отросли и борода, и великолепная седая грива. Вот чудесный грим был бы для короля Лиры...

Снизу раздался звонок, а через минуту, нетерпеливо постучавшись в дверь, бомбой влетел «ассириец».

– Вера Клавдиевна, поздравляю вас!

– С чем?..

– Вы богатая невеста... С двухсоттысячным приданым!

– Полно вам шутить.

– Какие там шутки, самая очевидная реальность! Вообще вы станете меня каким-то неисправным шутником. Помните, когда я увозил вас из Лаприкена; говоря, что везу вас к свободе, вам тоже казалось, что я шучу...

– Говорите же толком, не мучьте...

– Извольте, не буду мучить... Но какая у него прекрасная душа! Обо всех думает, заботится, а на вид ходячая броня, ледяная какая-то... Вы догадываетесь, о ком?.. Нет, мне адски нравится этот его последний номер. Вызвал вашу сестрицу и, понимаете, с места в карьер: «Вы ограбили Веру Клавдиевну, а поэтому не угодно ли вам без всяких процессов выдать ей из отцовского наследства двести тысяч!..» Сестрица ваша нахалка изрядная, но тут обалдела. Леонид Евгеньевич Арканцев – фигура! С ним шутки плохи. Захочет, мигом вышлет и ее, и этого мерзавца Калибанова в придачу... В результате Леонид Евгеньевич сам торжественно вручит вам, чек на двести тысяч... Недурно, для начала новой жизни в особенности... Я рад, что мне выпала роль доброго вестника... Что вы на это все скажете?..

– Что я скажу? Это так неожиданно... Право, точно в сказке. Слышишь, Дима?..

– Слышу, – спокойно отозвался Загорский.

– Что ты скажешь?..

– Скажу, что деньги никогда не мешают, в особенности если они наши по праву. Я счастлив за тебя, Вера.

– Но какой он славный, Леонид Евгеньевич, вот золотое сердце!

– В ледяном панцире, – добавил «ассириец», которому понравилось это его собственное сравнение.

* * *

Через несколько дней Вера и Дмитрий, встретившиеся для новой жизни своей, проводили в таинственную вечность Лузиньяна, короля Кипрского и Иерусалимского.

Загорский хоронил его на свой счет. Похороны вышли если и не царственные, подобающие коронованному покойнику, то во всяком случае – достойные.

На всем траурном пути по дороге к католическому кладбищу на Выборгской люди в белых livреях и цилиндрах разбрасывали лапчатые ветки остропахучей хвои.

За колесницей под балдахином с пышными кистями, увозившей нарядный гроб, шли двое – Загорский и Вера. И больше никого.

Процессию обогнал темно-зеленый глухой тюремный автомобиль, быстро мчавший Мисаила Григорьевича Железноградова навстречу разным пестрым случайностям, неожиданностям и, во всяком случае, тоже навстречу новой, совсем новой для него жизни.

КОНЕЦ

1916